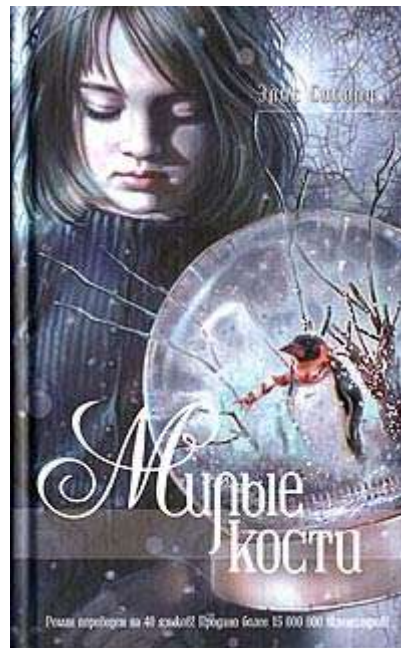


## Элис Сиболд Милые кости



OCR alzo

Оригинал: Alice Sebold, "The Lovely Bones", 2002  
Перевод: Е. Петрова

## Аннотация

*«Шестого декабря тысяча девятьсот семьдесят третьего года, когда меня убили, мне было четырнадцать лет» – так начинается самый поразительный бестселлер начала XXI века, трагическая история, написанная на невероятно светлой ноте.*

*«Милые кости» переведены на сорок языков, разошлись многомиллионным тиражом и послужат основой для следующего, после «Властелина колец» и «Кинг-конга», кинопроекта Питера Джексона. В этом романе Сюзи Сэлмон приспосабливается к жизни на небесах и наблюдает сверху, как ее убийца пытается замести следы, а семья – свыкнуться с утратой...*

## Элис Сиболд Милые кости

*У моего отца на письменном столе стоял стеклянный шар, а в нем – утопающий в снегу пингвин с красно-белым полосатым шарфиком на шее. Когда я была маленькой, папа сажал меня к себе на колени, придвигал поближе эту вещьцу, переворачивал ее вверх дном, а потом резко опускал на подставку. И мы смотрели, как пингвина укутывают снежинки. А мне не давало покоя: пингвин там один-одинешенек, жалко его. Поделившись этой мыслью с отцом, я услышала в ответ: «Не горюй, Сюзи, ему не так уж плохо. Ведь он попал в идеальный мир».*

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Меня звали Сюзи, фамилия – Сэлмон, что, между прочим, означает «лосось». Шестого декабря тысяча девятьсот семьдесят третьего года, когда меня убили, мне было четырнадцать лет. В середине семидесятых почти все объявленные в розыск девочки выглядели примерно одинаково: цвет кожи – белый, волосы – пышные, каштановые. Лица, похожие на мое, смотрели с газетных полос. Это уж потом, когда стали пропадать и мальчишки, и девчонки, и черные, и белые – все подряд, их фотографии начали помещать и на молочных пакетах, и на отдельных листовках, которые опускали в почтовые ящики. А раньше никто такого даже представить не мог.

В седьмом классе я записала в свой ежедневник слова одного испанского поэта, на которого указала мне сестра. Его имя – Хуан Рамон Хименес, а изречение было такое: «Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек». Мне оно понравилось по двум причинам: во-первых, в нем выражалось презрение к заведенному распорядку, когда все делается как в школе – по звонку, а во-вторых, это же не какая-нибудь идиотская цитата из популярной рок-группы, а значит, меня кое-что выделяло из общей массы. Я с удовольствием занималась в шахматном клубе и посещала факультатив по химии, зато на уроках домоводства, к ужасу миссис Дельминико, у меня пригорало все, что ставилось на огонь. Моим любимым учителем был мистер Ботт, который на своих уроках биологии развлекался тем, что учил нас препарировать лягушек и раков, а потом при помощи электродов заставлял их дергаться.

Сразу скажу: убил меня вовсе не мистер Ботт. Не стоит думать, будто каждый новый человек, о ком здесь пойдет речь, окажется в числе подозреваемых. Вовсе нет. Просто чужая душа – потемки. Мистер Ботт пришел на мою панихиду (там, кстати, собралась почти вся школа – раньше я и мечтать не могла о такой популярности) и даже прослезился. У него тяжело болела дочка. Это ни для кого (не составляло тайны, и когда он смеялся своим собственным шуткам, которые уже всем приелись за сто лет до нашего поступления в школу, мы тоже хохотали, порой даже через силу, чтобы только не обидеть учителя. Его дочери не стало через полтора года после меня. У нее была лейкемия. Но в моем небесном краю мы ни разу не встретились.

Тот, кто меня убил, жил в нашем квартале. Мама восхищалась его цветочными бордюрами, и отец как-то у него поинтересовался, чем их лучше удобрять. Оказалось, убийца использовал только старые, проверенные средства, такие как яичная скорлупа и кофейная гуща; сказал, что этому его научила матушка. Вернувшись домой, отец с ехидной улыбкой приговаривал: цветочки – дело хорошее, спору нет, но в жару от них пойдет такой дух, что небесам будет тошно.

Впрочем, шестого декабря тысяча девятьсот семьдесят третьего года еще падал снег, и я побежала из школы самым коротким путем, через поле. Тьма была – хоть глаз выколи, потому что зимой смеркается рано; помню, я то и дело спотыкалась о сломанные кукурузные стебли. Снежинки мельтешили перед глазами, будто крошечные мягкие лапки. Я дышала носом, но вскоре из него потекло в три ручья, и пришлось глотать воздух ртом. В двух шагах от того места, где стоял мистер Гарви, я высунула язык, чтобы поймать холодную звездочку.

– Только не пугайся, – произнес мистер Гарви.

В сумерках, посреди безлюдного поля – конечно, я перепугалась.

Уже после смерти меня осенило: а ведь над полем витал едва уловимый запах одеколона, но я не обратила на это внимания, а может, решила, что его принесло ветром из ближайшего дома.

– Мистер Гарви, – выдохнула я.

– Ты ведь старшая сестричка Сэлмон, верно?

– Верно.

– Как поживают твои родные?

При том, что в семье я действительно была старшей из детей, а в школе щелкала трудные контрольные, как орешки, рядом со взрослыми мне почему-то становилось не по себе.

– Нормально, – выдавила я, дрожа от холода, но из уважения к его возрасту словно приросла к земле, тем более что он жил по соседству и папа недавно беседовал с ним об удобрениях.

– А я тут кое-что соорудил, – сказал он. – Хочешь посмотреть?

– Вообще-то я замерзла, мистер Гарви, – ответила я. – И потом, мне мама не разрешает гулять, когда темно.

– Сейчас так и так темно, Сюзи, – возразил он.

Почему я тогда ничего не заподозрила? До сих пор не могу себе этого простить. Откуда ему было знать мое имя? Наверно, подумала я, папа рассказал ему какую-нибудь ненавистную мне байку – из тех, что считал свидетельством его любви к детям. Мой отец был из тех, кто фотографирует трехлетнюю дочку голышом и держит этот снимок в ванной, на погляденье гостям. Слава богу, в нашей семье эта участь выпала моей младшей сестре Линдси. Я, по крайней мере, была избавлена от такого позора. Зато папа обожал всем рассказывать, как после рождения сестры меня обуяла такая ревность, что в один прекрасный день, пока он говорил по телефону, я подкралась по дивану к переносной колыбельке, где спала Линдси (а он следил из другой комнаты), и попыталась описать новорожденную. Об этом отец поведал сначала пастору нашей церкви, потом соседке, миссис Стэд, чтобы та высказала свое профессиональное суждение как врач-психотерапевт, и, наконец, всем знакомым, которые говорили: «Сюзи у вас бойкая!»

– «Бойкая!» – подхватывал отец. – Вы еще не все знаете! – И с ходу пускался в подробности о том, «как Сюзи пописала на Линдси».

Но, как выяснилось позже, отец вообще не упоминал нас в разговоре с мистером Гарви и уж тем более не рассказывал ему, «как Сюзи пописала на Линдси».

Впоследствии мистер Гарви, повстречав на улице мою маму, сказал ей такие слова:

– До меня дошли слухи об этой страшной, чудовищной трагедии. Напомните, как звали вашу девочку?

– Сюзи, – бодрясь, ответила мама, придавленная этим грузом, который, по ее наивным расчетам, мог со временем стать легче.

Ей было неизвестно, что боль останется на всю жизнь, делаясь с годами все более изощренной и жестокой. На прощанье мистер Гарви, как водится, сказал:

– Надеюсь, этого мерзавца скоро поймут. Примите мои соболезнования.

В это время я уже была на небесах и пыталась приспособиться к другому состоянию, но от такого бесстыдства просто взвилась. «У этого гада нет ни капли совести», – воззвала я к Фрэнни, которая стала мне наставницей. «Точно», – подтвердила она и ограничилась этим простым словом. В моем небесном краю не принято было снисходить до всякой дряни.

Мистер Гарви пообещал, что это займет буквально одну минутку, и я пошла за ним чуть дальше, туда, где кукурузные стебли высились в полный рост, потому что никто из ребят не ходил этой дорогой. Как-то раз мой братишка Бакли заинтересовался, почему никто не ест местную кукурузу, и мама объяснила, что это несъедобный сорт. «Такими початками кормят лошадок. Люди это не едят», – сказала она. «А собачки?» – спросил Бакли. «Собачки тоже не едят». – «А динозаврики?» – не унимался Бакли. И так до бесконечности.

– Я здесь соорудил тайное убежище, – сказал мистер Гарви.

Тут он остановился и повернулся ко мне.

– В упор не вижу, – сказала я.

От меня не укрылось, что мистер Гарви как-то странно сверлит меня взглядом. С тех пор как я вышла из детского возраста, пожилые дядьки частенько бросали на меня такие взгляды, но вряд ли кого-нибудь могло всерьез заинтересовать чучело в длинной синей куртке на меху и в теплых желтых брюках, расклешенных книзу. Поблескивая маленькими круглыми стеклышками в золотой оправе, мистер Гарви смотрел на меня поверх очков.

– А ты, Сюзи, приглядиись получше – и увидишь, – сказал он.

Больше всего мне хотелось приглядеться и увидеть дорогу домой, но из этого ничего не вышло. Почему? Фрэнни объяснила, что такие вопросы лишены смысла: «Не вышло – и все тут».

Не стоит этим терзаться. Что толку? Ты умерла, и с этим надо смириться».

– Вторая попытка, – сказал мистер Гарви, опустился на корточки и постучал по земле.

– А что тут особенного? – не поняла я.

У меня мерзли уши. Я терпеть не могла пеструю шапку с помпоном и бубенчиками, которую мама когда-то связала мне к Рождеству. Этот шутовской колпак был засунут в карман куртки.

Помню: я сделала шаг вперед и потопала на месте. Под ногами было что-то твердое, но не похожее на мерзлую землю.

– Доски, – сказал мистер Гарви. – Чтобы вход не обвалился. Здесь у меня землянка.

– Какая еще землянка? – спросила я, забыв и про холод, и про мужской взгляд. Можно было подумать, меня занесло на урок биологии: мне стало любопытно.

– Залезай, погляди.

Внутри было не повернуться, он и сам это признал, когда мы втиснулись в землянку. Но моим вниманием уже завладел искусно сделанный дымоход, который позволял при необходимости разводить под землей огонь, поэтому я уже и думать не думала, как неудобно было забираться внутрь и каково будет вылезать наружу. К тому же я не имела понятия, что значит спастись бегством. Убегать мне случалось разве что от Арти, мальчишки из нашей школы. Его отец был владельцем похоронного бюро, и Арти вечно делал вид, будто таскает с собой шприц для бальзамирования. Даже на своих тетрадях он рисовал иголки, с которых капает темная жидкость.

– Супер-дупер! – сказала я мистеру Гарви.

Сгорбившись, он стал похож на Квазимодо из «Собора Парижской богоматери» – мы это читали на уроках французского. Но мне уже было все равно. Я впала в детство. Превратилась в своего братишку Бакли, которого было не оторвать от огромных скелетов в Музее естествознания в Нью-Йорке, куда его возили на экскурсию. Выражение «супер-дупер» я вообще выбросила из своей речи, когда окончила начальную школу.

– Как будто у ребенка отняли конфетку, – сказала Фрэнни.

До сих пор вижу перед собой эту яму, словно дело было вчера, – впрочем, ничего удивительного. Теперь для меня жизнь – это вечное вчера. Землянка была размером с чулан: у нас дома примерно в таком же закутке хранились плащи и резиновые сапоги, но мама еще ухитрилась втиснуть туда стиральную машину, а на нее водрузила сушильный шкаф. В землянке я стояла почти в полный рост, а мистер Гарви сгибался в три погибели. Вдоль стенок выступом тянулась земляная скамья, на которую он сразу сел.

– Оцени, – сказал он.

Как замороженная, я уставилась на полочку-нишу в стене, где разглядела коробок спичек, аккумулятор и люминесцентную лампу, которая работала от батареек, излучая слабое свечение – позже, когда он на меня навалился, черты его лица были почти неразличимы в этом жутковатом свете.

Еще в той нише лежали бритвенные принадлежности и зеркало. Это меня удивило. Не проще ли бриться дома? Но, видимо, я решила, что наш сосед – малость «ку-ку», если он, живя в солидном двухэтажном доме, роет на отшибе землянку. Для таких, как он, у моего отца было обтекаемое выражение: «Большой оригинал!»

Вот я, наверно, и подумала, что мистер Гарви – большой оригинал, но землянка у него получилась на славу, там было тепло, и мне захотелось разузнать, как он ее выкопал, чем укрепил и где всему этому научился.

Но через три дня, когда собака Гилбертов притащила домой мою руку от локтя до кисти, с присохшей кукурузной шелухой, землянка мистера Гарви уже бесследно исчезла. Что до меня, в то время я была еще на перепутье. Мне не довелось увидеть, как он забрасывал яму землей, вытаскивал деревянные опоры и запихивал в мешок улики, в том числе и части моего тела, забыв одну руку. А когда я, возникнув заново, обрела способность наблюдать за происходящим на Земле, меня волновали только мои родные и больше никто.

Мама, раскрыв рот, сидела на жестком стуле у входной двери. Бледная, как никогда. Синие глаза уставились в одну точку. Отец, наоборот, горел жадной деятельностью. Чтобы ничего не упустить, он вызвался прочесывать кукурузное поле вместе с полицейскими. Я по сей день благодарю судьбу за то, что нам был послан скромный детектив по имени Лен Фэнермен. Это он приставил к отцу двух сержантов и отправил их в город – осматривать места, где я часто бывала

с подружками. В течение всего первого дня сержанты таскались за моим отцом по торговому центру. Линдси держали в неведении, хотя в свой тринадцать лет она могла бы разобраться, что к чему; Бакли, которому было четыре года, тем более ничего не знал, да и впоследствии, честно говоря, мало что понял.

Мистер Гарви спросил, не хочу ли я чего-нибудь вкусенького. Именно так и сказал. Я ответила, что тороплюсь домой.

– Хотя бы из вежливости возьми кока-колу, – настаивал он. – Другие бы не отказались.

– Какие еще другие?

– Землянка сделана для ребят. Чтобы им было, где потусоваться.

Вот это уже была полная лажа. Мне сразу почудилось вранье, причем какое-то убогое. Я про себя решила, что он совсем одинок. На занятиях по охране здоровья мы читали про таких людей. Бывают мужчины, которые не могут найти себе жену, питаются всухомятку и настолько боятся быть отвергнутыми, что даже не решаются завести собаку или кошку. Мне стало его жаль.

– Ну, ладно, – уступила я. – Давайте кока-колу.

Немного погодя он спросил:

– Тебе не жарко, Сюзи? Может, расстегнешь куртку?

Я так и сделала. Потом он сказал:

– Ты настоящая красавица, Сюзи.

– Спасибо, – отозвалась я, хотя сама, как мы говорили в таких случаях со школьной подружкой Клариссой, чуть не обделалась.

– У тебя есть мальчик?

– Нет, мистер Гарви. – Я давилась кока-колой, но никак не могла допить. – Мне пора, мистер Гарви. У вас тут здорово, но мне пора.

Встав со скамьи, он опять скрючился, как горбун, возле шести земляных ступенек, которые вели на белый свет.

– С чего ты взяла, что я тебя отпущу?

Дальше я что-то говорила только для того, чтобы отогнать от себя мысль: мистер Гарви – не просто «большой оригинал». Когда он загородил выход, на меня повеяло какой-то сальной мерзостью.

– Мистер Гарви, мне в самом деле пора домой.

– Раздевайся.

– Что?

– Раздевайся, – повторил мистер Гарви. – Хочу проверить, сохранила ли ты девственность.

– Сохранила, мистер Гарви.

– Вот я и проверю. Твои родители скажут спасибо.

– Мои родители?

– Родители любят только хороших девочек.

– Мистер Гарви, – бормотала я, – отпустите меня, пожалуйста.

– Никуда я тебя не отпущу, Сюзи. Теперь ты моя.

В те годы мало кто посещал фитнес-клубы; слово «аэробика» и вовсе было пустым звуком. Тогда считалось, что девочки должны быть слабыми, а тех немногих, которые в спортзале могли лазать по канату, мы за глаза обзывали гермафродитками.

Я отчаянно сопротивлялась. Сопротивлялась изо всех сил, чтобы не поддаться мистеру Гарви, но всех моих сил оказалось недостаточно, ничтожно мало, и вскоре я уже лежала на полу, вся облепленная землей, а он навалился сверху, пыхтя и обливаясь потом, и только лишь потерял очки, пока мы боролись.

Но как-никак я была еще жива. Мне казалось: ничего не может быть ужаснее, чем лежать навзничь, придавленной потным мужским туловищем. Биться в подземной ловушке, о которой не знала ни одна душа.

Я думала о маме.

Не иначе как она то и дело поглядывала на таймер кухонной плиты. Плиту купили совсем недавно, и мама не могла нарадоваться на этот таймер.

– Теперь у меня все рассчитано по минутам, – похвасталась она своей матери, которую меньше всего на свете интересовали кухонные плиты.

Мама наверняка беспокоилась, что меня долго нет, вернее, не столько беспокоилась, сколько сердилась. Вот отец, приехав с работы, вышел из гаража, и она засуежилась, смешивая для него коктейль, а сама с досадой приговаривала:

– Видишь, опять их в школе задерживают. Может, у них праздник весны?

– О чем ты, Абигайль? – отвечал ей отец. – Какой праздник весны в такую метель?

Чтобы змять свою оплошность, мама, скорее всего, вытолкала Бакли из кухни в комнату, бросив ему «Поиграй с папой», а сама, без свидетелей, тоже приложила к хересу.

Мистер Гарви накрыл мне рот своими мокрыми, склизкими губами; я чуть не закричала, но была уже вконец обессилена и раздавлена страхом. До сих пор меня целовал только тот, кто мне нравился. Его звали Рэй, он был родом из Индии. Смуглый, говорил с акцентом. Считалось, что мы с ним не пара. За его большие глаза, смотревшие из-под полуопущенных век, Кларисса дала ему прозвище «Верблюдик», но на самом деле это был хороший парень, умный, один раз он Даже бросил мне «шпору» на экзамене по алгебре, да так ловко, что никто не заметил. Он поцеловал меня в Коридоре, как раз накануне того дня, когда нужно было сдавать фотографии для школьного ежедневника. В начале учебного года каждому ученику вручался такой ежедневник, и я подсмотрела, что в строчку со стандартными словами «Мое сердце принадлежит...» Рэй вписал: «Сюзи Сэлмон». Губы у него, помню, были совсем сухими.

– Не надо, мистер Гарви, – выдавила я, а потом уже повторяла только одно слово: «Нет». И время от времени еще «умоляю». Если верить Фрэнни, перед смертью почти все твердят «умоляю».

– Я хочу тебя, Сюзи, – прохрипел он.

– Умоляю, – шептала я. А потом опять. – Нет.

Время от времени я соединяла эти два слова. «Умоляю, нет» или «Нет, умоляю». Это все равно что дергать дверь, когда заело замок, или кричать «ловлю, ловлю, ловлю», когда мяч у тебя над головой летит на трибуны.

– Умоляю, нет.

Но ему осточертело слушать нытье. Запустив руку в карман моей куртки, он вытащил связанную мамой шапку, скомкал ее и заткнул мне рот. После этого от меня исходил только один звук – слабый звон бубенчиков.

Осклизлые губы мусолили то мои щеки, то шею, а жадные руки начали шарить под блузкой. Тут я расплакалась. Задержалась всем телом. Разбредила воздух и тишину. Рыдала и билась, чтобы только ничего не чувствовать. А он, не найдя «молнию», которую мама аккуратно вшила в боковой шов, рванул на мне брюки.

– Белые трусики, – выдохнул он.

Какая-то мерзость стала распирать меня изнутри. Я вмиг превратилась в зловонное море, куда он влез, чтобы нагадить. Самые дальние уголки моего тела проваливались внутрь и тут же выворачивались наизнанку, как веревочная «колыбель для кошки», которую обожала Линдси. А он толчками пригвождал меня к земле.

– Сюзи! Сюзи! – так и слышался мне мамин крик. – Домой!

А он в это время был во мне. И стонал.

– На обед баранина с фасолью!

Он толчками вгонял в меня кол.

– Твой брат нарисовал картинку. Яблочный пирог стынет!

Из-за того, что мистер Гарви навалился сверху, мне приходилось слушать и его сердцебиение, и мое собственное. У меня сердце по-кроличьи трепыхалось, а у него бухало кувалдой, но глухо, как через подушку. Наши тела соприкасались, меня трясло, и тут нахлынуло осознание главного. После такого кошмара я осталась жива. Вот так. Я дышала. Слушала его сердце. Чувствовала, как смердит у него изо рта. От черной земли тоже исходила вонь – отвратительная вонь сырой грязи, где копошатся черви и прочие твари. От этого хотелось орать сутки напролет.

Теперь я знала, что он меня убьет. Только не догадывалась, что на самом деле уже умираю, как загнанное животное.

– Может, пора вставать? – Мистер Гарви откатился в сторону, а потом навис надо мной.

Его голос успокаивал и ободрял – прямо как голос любовника, проспавшего до полудня. И слова прозвучали не как приказ, а как совет.

Мне было не пошевелиться. И уж тем более не встать.

Поскольку я не шелохнулась – неужели только по этой причин, неужели только потому, что я его не послушалась? – он, наклонившись вбок, нащупал нишу, где хранились бритвенные принадлежности. Рука извлекла откуда-то нож. Прямо перед моими глазами кривой ухмылкой мелькнуло голое лезвие.

Вытащив у меня изо рта вязаную шапку, он потребовал:

– Скажи, что любишь меня.

И я сказала, только очень тихо. Неизбежное все равно случилось.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Попав на небеса, я первое время считала, что там всем без исключения видится одно и то же. Спортивная площадка, в отдалении – футбольные ворота, на травке атлетически сложенные девушки занимаются метанием копья и толканием молота. Все здания похожи на гимназию второй ступени, какие в шестидесятые годы возводились в каждом городке на северо-востоке Штатов. Эти неуклюжие, приземистые постройки, располагавшиеся на унылых пустырях, неизменно украшались крытыми переходами и сквозными арками, чтобы вид был посовременней. Мне ужасно нравилось, что стены таких зданий всегда красили в бирюзовый и оранжевый цвета, в точности как у нас в городе. Иногда, еще на Земле, когда отец катал меня на машине, я просила его непременно проехать мимо гимназии, а сама представляла, как стану старшеклассницей.

После седьмого, восьмого и девятого класса средней школы поступление в десятый класс гимназии сулило новую жизнь. Я уже планировала, как в старших классах потребую, чтобы меня называли Сюзанной. Воображала, как буду носить распущенные волосы или красивый узел на затылке. Как при виде моей шикарной фигуры мальчишки свихнутся, а девчонки умрут от зависти, но при этом у меня будет такой хороший характер, что одноклассников замучит совесть, и в конце концов ко мне потянутся все без исключения. Я любила представлять, как на перемене, в кафетерии, буду вступаться за обиженных. Например, кто-нибудь начнет дразнить Клайва Сондерса, что у него бабская походка, а я тут же расправлюсь с обидчиком, двинув ему ногой в самое чувствительное место. Или, скажем, мальчишки станут издеваться над Фиби Харт, у которой бюст растет не по дням, а по часам, а я их срежу: смейтесь-смейтесь, у самих-то нигде ничего не растет. При этом я совершенно упускала из виду, что и сама не без греха – когда Фиби шла к доске, я строчила на полях тетрадки: «Ура! Буфера!», «Молочная Ферма», «Два арбуза до пуза». Наконец, в мечтах я видела, как буду блаженствовать на заднем сиденье автомобиля, а отца найму к себе водителем. Буквально во всем я буду безупречна. Колледж окончу в считанные дни, не торчать же там годами. И между делом получу «Оскара» за лучшую женскую роль.

Вот такие мечты были у меня на Земле.

Через пару дней до меня дошло, что и толкательницы ядра, и девушки с копьями, и парни-баскетболисты на выщербленном асфальте – все они обитают в собственных небесных сферах. Эти сферы всего лишь примыкали к моей: полного соответствия не было, но какие-то мелочи совпадали.

На третий день я познакомилась с Холли – мы стали соседками по комнате. Она сидела на качелях. (Я не сомневалась, что старшеклассникам положены качели – в этом, среди прочего, состояла неземная притягательность гимназии второй ступени. К тому же сиденья должны быть не простые дощатые, а удобные, в форме скорлупки, сделанные из прочного черного каучука, они даже слегка пружинят, пока не начнешь раскачиваться.) При этом Холли читала книжку, написанную причудливыми закорючками; примерно такие же я видела на пакетах, в которых папа приносил домой свинину с рисом из вьетнамского ресторанчика «Поджарка» – Бакли приходил в восторг от этого названия и вопил во все горло: «Поджарь-ка! Поджарь-ка!» Теперь, поднаторев во вьетнамском, я знаю, что владелец «Поджарки» не имел никакого отношения к Вьетнаму и раньше звался совсем иначе, а когда приехал из Китая в Штаты, взял себе имя Герман Джейд. Это Холли меня просветила.

– Привет, – сказала я. – Меня зовут Сюзи.

Позже она призналась, что позаимствовала свое имя из фильма «Завтрак у Тиффани». Но в тот день оно запросто слетело у нее с языка:

– А меня – Холли. – Поскольку она всегда мечтала избавиться от акцента, на небесах у нее



был идеальный выговор.

Мне было не оторваться от ее черных волос, блестящих, как на рекламной картинке.

– Давно ты здесь? – спросила я.

– Три дня.

Присев на соседние качели, я резко развернулась боком, чтобы закрутить цепи, потом еще и еще. После этого можно было раскручиваться сколько угодно, до полной остановки.

– Как тебе тут? – спросила она.

– Фигово.

– По-моему, тоже.

Так все начиналось.

На небесах у каждой из нас исполнились самые простые желания. Школа обходилась без учителей. Уроки можно было посещать под настроение, обязательными предметами считались только рисование (для меня), и джазовая музыка (для Холли). Мальчишки не щипали нас пониже спины и не обзывались. Учебниками служили журналы «17», «Гламур» и «Вог». Мы подружились, и наши небесные сферы стали шириться. Многие желания у нас полностью совпадали.

Уму-разуму нас учила Фрэнни, моя первая наставница. По возрасту – ей было слегка за сорок – она годилась нам в матери, и мы с Холли не сразу сообразили, что в ней тоже воплотилось наше желание: чтобы рядом находилась мама.

В своей небесной сфере Фрэнни отдавала себя служению другим, и наградой ей были их успехи и признательность. На Земле она занималась социальной работой среди бедняков и бездомных. Ее благотворительная организация, при церкви Девы Марии, занималась раздачей бесплатных обедов, но помогала только женщинам и детям. Фрэнни поспевала везде: когда надо, отвечала на телефонные звонки, когда надо, боролась с тараканами, причем врукопашную, как каратистка – просто ударом ребра ладони. Ее убил выстрелом в лицо какой-то тип, искавший свою жену.

Фрэнни подошла к нам с Холли на пятый день и протянула каждой из нас по огромному стакану зеленой цитрусовой шипучки, которую мы с удовольствием выпили.

– Чем смогу, буду вам помогать, – сказала она.

Заглянув в ее маленькие синие глаза, окруженные смешливыми морщинками, я решила сказать правду:

– Тут дикая скука.

Холли, высунув язык, пыталась разглядеть, насколько он позеленел.

– А чего бы вам хотелось? – спросила Фрэнни.

– Откуда я знаю, – вырвалось у меня.

– Стоит вам чего-то пожелать, причем очень сильно и с умом, главное – с умом, и ваше желание сбудется.

Это было слишком уж просто. Но именно таким способом мы с Холли получили дом на двоих, с двумя отдельными входами.

На Земле я терпеть не могла наш стандартный дом. Не переваривала родительскую мебель и вид из окон: точно такой же двухэтажный дом, за ним еще один, еще и еще. Похожие, как близнецы, они теснились на склоне. Теперь у нас под окнами зеленел парк, а в отдалении – достаточно близко, чтобы нам не страдать от одиночества, и в то же время ненавязчиво – светились окна других домов.

Со временем мне захотелось большего. Как ни странно, меня охватило сильное желание познать то, чего я не испытала на Земле. Я жаждала повзрослеть.

– Когда люди живут, они становятся старше, – поделилась я с Фрэнни. – Мне охота жить.

– Исключено, – отрезала она.

– А можно хотя бы смотреть на живых? – спросила Холли.

– Вы и так на них смотрите, – был ответ.

– Ты не поняла, – вмешалась я. – Она имеет ввиду целую жизнь, с начала до конца, – интересно узнать, как там все складывается. Какие у них секреты.

Тогда мы хотя бы понарошку к ним приблизимся.

– Но сами ничего подобного не испытаете, – уточнила Фрэнни.

– Вот спасибо тебе, Умная Голова, – сказала я, но как-никак наши небесные сферы стали

расширяться.

Школьное здание осталось на прежнем месте – точная копия гимназии «Фэрфакс», но, по крайней мере, от него в разные стороны дотянулись тропы.

– Ходите этими дорогами, – посоветовала Фрэнни, – и найдете то, что нужно. С тех пор мы с Холли уже не сидели на месте. В нашей небесной сфере обнаружилось кафе-мороженое, где в любой момент можно было заказать пломбир со свежей мятой и не выслушивать в ответ: «Сейчас не сезон». Более того, там выходила газета, которая частенько публиковала наши фотографии – ни дать ни взять, местные знаменитости. Нас окружали эффектные мужчины и красивые женщины, потому что мы обе увлекались модными журналами. Порой я замечала у Холли отсутствующее выражение лица, а иногда и вовсе не могла ее докричаться. Это происходило в тех случаях, когда она переносилась в собственную небесную сферу, отдельную от моей. В одиночестве я тосковала, но моя тоска была какой-то притуплённой, потому что в ту пору до меня уже дошло значение слова «никогда».

Самая большая моя мечта оставалась несбыточной: чтобы мистер Гарви подох, а я ожила. На небесах тоже бывает хреново. Но я пришла к выводу, что при желании и сосредоточенности смогу повлиять на жизнь тех, кого любила на Земле.

Девятого декабря, когда раздался телефонный звонок, трубку взял отец. Это было началом конца. Он сообщил полицейским мою группу крови и по их просьбе уточнил, что у меня довольно бледная кожа. Они спросили про особые приметы. Папа начал подробно описывать мое лицо, но все время сбивался. Детектив Фэнермен его не торопил – слишком жуткая весть ожидала нашу семью. Наконец он произнес:

– Мистер Сэлмон, мы нашли одну часть тела.

Отец разговаривал по телефону из кухни; на него накатила озноб с тошнотой. Как сообщить Абигайль?

– То есть у вас нет полной уверенности, что она погибла? – спросил он.

– Полной уверенности не бывает, – отозвался Лен Фэнермен.

Эту фразу отец передал маме:

– Полной уверенности не бывает.

Вот уже три вечера он не мог придумать, как подступиться к маме и что сказать. Раньше они не ведали общего горя. Время от времени кому-то одному бывало нелегко, но чтобы обоим сразу – такого еще не случалось: тот, кто оказывался сильнее, всегда подставлял плечо. И никогда прежде они не понимали в полной мере, что значит слово ужас.

– Полной уверенности не бывает, – повторяла мама, ухватившись за эту мысль, как и рассчитывал отец.

Мама была единственной, кто помнил наперечет все подвески на моем браслетике – откуда какая ко мне попала и чем понравилась. Она составила подробнейший список одежды, в которой я ушла из дому, и всего, что у меня было с собой. Мол, если какой-нибудь предмет обнаружится за многие мили от города, отдельно от всего прочего, это даст наводку местным полицейским.

А я, наблюдая, как мама перечисляет мои вещи, в том числе и самые любимые, испытывала то светлую печаль, то сожаление о напрасных надеждах, которые она возлагала на эту затею. Неужели случайный прохожий, найдя карандашную резинку с героями мультика или значок с портретом рок-звезды, сообщит об этом куда следует?

После звонка из полиции отец взял маму за руку, и они долго сидели на кровати, глядя перед собой. Мама молча перебирала в уме вещи из того списка, а отцу казалось, что перед ним разверзлась темная пропасть. Потом стал накрапывать дождь. У них на уме – я знала. – было одно и то же, но оба молчали. Думали: а вдруг я брожу где-то под дождем. Целая и невредимая. Ищу сухое и теплое место, чтобы спрятаться.

Кто уснул первым, они и сами не знали; от напряжения у них ломило все кости, дремота сморила обоих сразу, и проснулись они тоже вместе, с тягостным чувством вины. Ночью, когда холодало, дождь то прекращался, то начинался вновь и к утру сменился градом, который забарабанил по крыше и вмиг разбудил моих родителей.

Они не произнесли ни слова. Только переглянулись в тусклом свете ночника. Мама расплакалась, отец прижал ее к себе, стал вытирать ей слезы и бережно целовать в глаза.

Когда родители обнялись, я сразу отвела глаза. Окинула взглядом кукурузное поле, чтобы высмотреть какую-нибудь мелочь, которую поутру могли бы найти полицейские. Град пригнул

кукурузные стебли и разогнал живность. Совсем неглубоко под землей прятались мои любимцы, гроза соседских грядок и цветников – дикие кролики, которые то и дело рисковали принести домой какую-нибудь отраву. Если такое случалось, то под землей, вдали от садоводов, посыпавших клумбы ядовитой химией, умирал, сбившись в кучку, целый кроличий выводок.

Утром десятого числа отец вылил в раковину бутылку виски. Линдси не поняла, зачем так делать.

– Иначе я все это выпью, – сказал он.

– А кто звонил? – спросила моя сестра.

– Не помню, чтобы кто-то звонил.

– Я же слышала, как ты расписывал улыбку Сюзи. Ты всегда так говоришь: «будто вспыхивают звездочки».

– Разве я такое говорил?

– Зачем ты прикидываешься? Это ведь из полиции звонили, верно?

– Сказать тебе правду?

– Скажи, – потребовала Линдси.

– Нашли какую-то часть тела. Не исключено, что она принадлежала Сюзи.

Это было как удар подвздох.

– Но полной уверенности не бывает, – выдавил отец.

Линдси опустила на кухонный стул.

– Меня тошнит.

– Тебе плохо, малышка?

– Папа, договаривай до конца. Что за часть тела?

Пусть уж меня сразу вырвет.

Отец вынул из шкафа металлический тазик для теста, поставил его на стол, придвинул поближе к Линдси и только после этого сел рядом с ней.

– Ну, – поторопила она, – говори.

– Рука, от локтя до кисти. Собака Гилбертов раскопала.

Папа накрыл ее ладонь своей, и тут у Линдси хлынула рвота – прямо в блестящий серебристый тазик.

За утро погода прояснилась; кукурузное поле неподалеку от нашего дома обнесли красно-белым ленточным ограждением, и полицейские начали прочесывать местность. Земля разбухла; под ногами чавкало от дождя, слякоти, града и снега, и все же в одном месте остались явственные следы от работы лопатой. Там и начали копать.

Кое-где, как впоследствии показала экспертиза, концентрация моей крови была довольно высока, но сейчас никто не мог этого знать: сыщики, постепенно теряя надежду, долго перекапывали холодную, мокрую землю в поисках трупа.

На почтительном расстоянии от ленточного ограждения, у края спортивной площадки, топталась горстка встревоженных соседей: у них на глазах люди в теплых синих куртках осторожно разгребали почву лопатами и граблями, будто медицинскими инструментами.

Мои родители остались дома. Линдси не выходила из своей комнаты. Бакли на пару дней забрала к себе семья его приятеля Нейта – в последнее время моего братишку все чаще отправляли туда поиграть. Ему сказали, что я в гостях у Клариссы.

Мне-то было известно, где находится мое тело, но подать знак я не могла. Оставалось только следить за происходящим и ждать вместе со всеми. Гром грянул ближе к вечеру – один из полицейских, вскинув над головой грязную, сжатую в кулак руку, выкрикнул:

– Сюда! – И остальные бросились к нему.

К тому времени соседи разошлись по домам – все, кроме миссис Стэд. Полицейские посоветовались между собой, и от их темного кружка отделился детектив Фэнермен.

– Миссис Стэд! – окликнул он из-за ограждения.

– Я здесь.

– У вас есть дети школьного возраста?

– Есть.

– Подойдите, пожалуйста.

Один из молодых офицеров приподнял красно-белую ленту и, поддерживая миссис Стэд под руку, повел ее по буграм и рытвинам туда, где стояли люди в темном.

– Миссис Стэд, что вы об этом скажете? – спросил Лен Фэнермен, показывая ей книжку «Убить пересмешника», дешевое карманное издание. – Это проходят у нас в школе или нет?

– Да. – Ее побелевшие губы только и смогли выдать одно короткое слово.

– Не припомните ли, в каком классе... – начал детектив.

– В девятом, – сказала она, глядя в его синевато-серые глаза. – Где училась Сюзи.

Врач-психотерапевт, миссис Стэд умела выслушивать плохие вести и всегда учила своих пациентов здраво рассуждать о житейских бедах, но теперь сама бессильно повисла на руке молодого офицера. Я чувствовала, как она клянет себя за то, что не ушла вместе с остальными: сидела бы сейчас дома с мужем или гуляла с сыном.

– Кто у них преподает литературу?

– Миссис Дьюитт. Ребята с удовольствием читают Харпер Ли после «Отелло».

– После «Отелло»?

Она была в курсе школьных дел, и сейчас это пришлось кстати: детективы ловили каждое ее слово.

– Миссис Дьюитт старается разнообразить программу. Перед Рождеством делает упор на Шекспира. Потом, в виде поощрения, дает Харпер Ли. Если Сюзи носила с собой «Убить пересмешника», значит, она уже сдала сочинение по «Отелло».

Все точно, как в аптеке.

Полицейские сделали несколько телефонных звонков. Круг поисков расширился, и я это видела. Мое сочинение лежало у миссис Дьюитт. Потом она прислала его по почте нам домой, не сделав ни единой пометки. «Думаю, вы захотите это сохранить, – написала она в сопроводительном письме. – Мне очень, очень горько». Сочинение осталось у Линдси, потому что маме было слишком тяжело его читать. «Отринутый и одинокий» – так я его озаглавила. «Отринутый» – это с подачи Линдси, а второе слово я добавила сама. Сестра пробила на полях три дырочки, вставила исписанные моей рукой страницы в чистый блокнот и спрятала у себя в шкафу, под чемоданчиком от куклы Барби и коробкой, в которой – мне на зависть – хранились новехонькие лоскутные куклы Энн и Энди.

Детектив Фэнермен позвонил моим родителям. Сказал, что найдена книга, которую, по их расчетам, мне выдали в школе в тот самый день.

– Мало ли чья это книжка, – говорил отец маме во время очередной бессонной ночи. – А может, она ее просто обронила по дороге.

Никакие доводы здравого смысла их не убеждали.

Еще через два дня, двенадцатого декабря, полицейские нашли мою тетрадь по биологии. Она валялась далеко от того места, где первоначально была закопана, – эксперты взяли образцы почвы. На обрывках бумаги в клеточку, которые выпали из разоренного кошкой вороньего гнезда, можно было разобрать умные слова, нацарапанные под диктовку мистера Ботта, но так и оставшиеся для меня китайской грамотой. Клочки этих страниц уже были вплетены в стенки гнезда, вместе с листьями и веточками. Полицейским удалось отделить бумагу в клетку от полосок другой бумаги, нелинованной и более хрупкой.

Моя одноклассница (у нее за домом росло то самое дерево с вороньим гнездом) по обрывкам опознала почерк. Да только не мой – так писал Рэй Сингх, которому я нравилась. Взяв у матери особую рисовую бумагу, он написал мне признание в любви, но я так и не успела его прочесть. В среду, когда заканчивалась лабораторка по биологии, он вложил этот листок мне в тетрадь. Почерк у него был аккуратный, не то что у меня. Детективам пришлось восстанавливать не только мой конспект, но и любовную записку Рэя.

– Рэй приболел, – сказала его мать, когда к ним домой нагрянули из полиции.

Впрочем, она сама рассказала все, что требовалось. Рэй только кивал, когда она повторяла ему вопросы полицейского. Да, это он написал Сюзи Сэлмон записку любовного содержания. Да, это он вложил листок в ее тетрадь, когда Сюзи по просьбе учителя собирала лабораторные работы. Да, это он подписался «Мавр».

Рэй Сингх стал первым подозреваемым.

– Этот славный парнишка? – переспросила мама у отца.

– Рэй хороший, – твердила за ужином моя сестра.

Мне было ясно: они не обманываются. Рэй Сингх тут ни при чем.

Однако полицейские не оставляли его в покое, капали на мозги, строили нелепые домыслы.

В их глазах для доказательства вины хватало смуглой кожи и независимой манеры держаться, а уж его мать – та просто приводила сыщиков в ярость своей чересчур экзотической красотой и неприступностью. Но у Рэя было алиби. Это могла подтвердить даже международная общественность. Его отец, преподаватель новой истории в Пенсильванском университете, выступал с докладом в Интернациональном клубе и затребовал туда сына в качестве живого примера подросткового опыта, причем именно в тот день, когда меня не стало.

Рэй тогда промотал уроки, и все решили, что дело нечисто, но вскоре организаторы семинара «Вдали от столиц: американский опыт» прислали в полицию список с фамилиями сорока пяти участников, видевших Рэя на трибуне, и копы волей-неволей признали его невиновность. И все равно они топтались возле его дома и отламывали веточки от живой изгороди. Уж больно им хотелось решить дело единым махом, как по волшебству, ведь улики буквально свалились на них с неба, точнее, с дерева. Между тем по городу поползли слухи, и Рэю, который едва успел сдружиться с кем-то из одноклассников, объявили настоящий бойкот. После уроков он сразу бежал домой.

Я просто сходила с ума. Все видела – и не имела возможности указать полицейским на зеленый дом, в двух шагах от нашего, где мистер Гарви преспокойно выпиливал украшения в готическом стиле для макета, который собирал у себя в саду. Он смотрел новости, пролистывал газеты и прикрывался невиновностью, как уютным старым халатом. Поначалу его нутро сотрясал ураган, но теперь наступил полный штиль.

Чтобы как-то отвлечься, я стала наблюдать за нашим псом по кличке Холидей. Без него мне было скучно, но по родителям и брату с сестрой я скучала совсем по-другому. Просто не могла поверить, что мне уже не бывать рядом с ними; пускай это звучит глупо, но я не допускала такой мысли – отказывалась верить, и все тут. Ночами Холидей не отходил от Линдси, а днем, когда каждый стук в дверь приносил новые вопросы, держался рядом с нашим отцом. Если мама собиралась тайком перекусить, не упускал случая составить ей компанию. Терпел, когда Бакли, запертый в четырех стенах, таскал его за хвост и за уши.

На земле было слишком много крови.

Пятнадцатого декабря опять раздался стук в дверь, как сигнал всем домашним стиснуть зубы и впустить в дом посторонних: либо добрых, но назойливых соседей, либо настырных, безжалостных репортеров. Однако теперь отцу пришлось поверить в худшее.

На пороге стоял Лен Фэнермен, который все время щадил его чувства, а рядом – офицер в форме.

Они вошли и, уже зная расположение комнат, направились, как в таких случаях просила мама, напрямик в гостиную, подальше от детских глаз и ушей.

– Мы нашли одну вещь, которая принадлежала Сюзи.

Лен был осторожен в выражениях. Я видела, насколько тщательно он подбирает слова. Это известие он изложил так, чтобы родители не подумали, будто найдено мое тело, а значит, меня определенно нет в живых.

– Какую вещь? – нетерпеливо спросила мама, сложив руки на груди, и приготовилась в очередной раз отместить несущественную деталь, которой все придавали излишнее значение.

Мама была непошибаема. Тетрадь – ну и что? Книжка – ну и что? Ее дочь могла выжить и без руки. Большое количество крови? Ну, допустим, большое количество крови. Это же не труп. Вот Джек говорит, и она совершенно с ним согласна: «Полной уверенности не бывает».

Но когда ей показали прозрачный пакет с вязаной шапкой, это ее подкосило. Надежная стена из толстого стекла, которая защищала ее сердце и притупляла рассудок, разлетелась вдребезги.

– С помпоном, – вставила свое слово Линдси.

Она прокралась в гостиную через кухню, не замеченная никем, кроме меня.

У мамы вырвался странный крик, а рука сама собой потянулась к пакету. Этот крик был похож на жалобный металлический скрежет, с каким ломается человек-машина, когда отказывает мотор.

– Мы сделали анализ волокон, – сказал Лен. – Судя по всему, нападавший использовал данный предмет одежды в ходе совершения преступления.

– Как это? – беспомощно спросил отец.

То, что ему сообщили, не укладывалось в голове.

– В качестве кляпа. Шапка пропитана ее слюной, – вмешался офицер в форме, до той поры хранивший молчание.

Выхватив у Лена пакет, мама, под звяканье пришитых к помпону бубенчиков, рухнула на колени и согнулась над шапкой, которую связала для меня своими руками.

Я видела, как Линдси замерла в дверях. Она не узнавала родителей, она уже не узнавала никого и ничего.

Отец проводил к выходу добряка Фэнермена и офицера в форме.

– Мистер Сэлмон, – произнес Лен Фэнермен, – учитывая большое количество крови, которое, как ни прискорбно, свидетельствует о насилии, а также наличие других вещественных доказательств, уже вам известных, мы должны исходить из того, что ваша дочь убита.

Линдси это подслушала, хотя и так все знала, причем целых пять дней – с того самого момента, когда отец рассказал ей про мою руку. Мама протяжно завывала.

– Дело об исчезновении переквалифицировано в дело об убийстве, – сказал Фэнермен.

– Но ведь тело не нашли, – возразил отец.

– Все указывает на то, что вашей дочери нет в живых. Очень тяжело об этом говорить.

Офицер в форме, избегая умоляющего взгляда моего отца, смотрел куда-то в сторону. Вначале я подумала, что этому учат в полицейской академии. Но Лен Фэнермен не стал отводить глаза.

– Вечером позвоню, сказал он.

Отец вернулся в гостиную совершенно раздавленным, он даже не нашел в себе сил обнять маму, сидевшую прямо на полу, и мою сестру, застывшую рядом. Чтобы они не видели его лица, он сразу прошел наверх, к себе в кабинет, ожидая найти там Холидея. Пес все так же лежал на ковре. Обняв его за шею и уткнувшись лицом в мягкую, густую собачью шерсть, отец дал волю слезам.

Остаток дня все трое молча ходили на цыпочках, как будто стук шагов мог скрепить печатью страшную весть. Мать Нейта привела домой Бакли и долго колотила в дверь, но никто ей не открыл. Она поняла: в этом доме, точь-в-точь похожем на соседские, что-то изменилось. Тогда она придумала заговор – сказала моему братишке, что они сейчас по секрету от всех побегут лакомиться мороженым, а потом откажутся от обеда.

В четыре часа родители наконец-то столкнулись в гостиной, войдя через разные двери.

Моя мама подняла глаза на отца и выдавила: «Надо маме...» Он молча кивнул и позвонил маминной маме, бабушке Линн, единственной нашей родственнице старшего поколения.

Я беспокоилась, как бы моя сестра, оставшись без присмотра, не сотворила какую-нибудь глупость. Она сидела на старой кушетке, которую родители за ненадобностью перетащили к ней в комнату, и тренировала силу воли: Глубоко вдохни, удержи дыхание. Как можно дольше сохраняй неподвижность. Сожмись, представь, что ты – камень. Подбери и спрячь все лишнее.

Мама не заставляла ее ходить в школу – до Рождества так или иначе оставалась всего неделя, но Линдси приняла решение сама.

В понедельник с утра был классный час. Когда Линдси шла к своему месту, все взгляды устремились на нее.

– Директор хочет с тобой поговорить, милая, – тихонько сообщила ей миссис Дьюитт.

Моя сестра не столько смотрела на учительницу, сколько практиковалась в искусстве смотреть сквозь собеседника. Тут мне впервые пришло в голову, что Линдси неизбежно отсекает многие возможности. Миссис Дьюитт была не просто учительницей английского: что гораздо важнее, она была женой мистера Дьюитта, который тренировал школьную команду мальчиков по футболу и настаивал, чтобы Линдси попробовала свои силы в этом виде спорта. Моя сестра ничего не имела против Дьюиттов, но теперь она смотрела прямо в глаза только тем, кому готовилась дать отпор.

Она собирала свои учебники и тетради, а со всех сторон ползли шепотки. Уже в дверях она явственно услышала, как Дэнни Кларк нашептывает что-то Сильвии Хенли. Кто-то уронил на пол карандаш. Не иначе как нарочно – чтобы под этим предлогом встать с места и на ходу посплетничать про девчонку, у которой убили сестру.

Шагая по коридорам, Линдси держалась поближе к рядам шкафчиков, чтобы в любой момент можно было нырнуть в сторону, если кто-то пойдет навстречу. Больше всего мне хотелось шагать рядом с ней и вполголоса передразнивать директора, который все свои выступления в ак-

товом зале начинал одинаково: «Директор – друг детей, дающий директивы!» У меня выходило очень похоже, она бы смеялась до колик.

В коридорах, к счастью, она никого не встретила, зато в приемной директора, к несчастью, встретила сочувственные взгляды дурочек-секретарш. Ну, ничего. Домашние тренировки не пропали даром. Она была вооружена до зубов против любых проявлений жалости.

– Линдси, – начал директор Кейден, – сегодня утром мне звонили из полиции. Сочувствую твоему горю.

Моя сестра смотрела на него в упор. Это был не взгляд, а луч лазера.

– Какому горю?

Директор считал, что кризисные ситуации надо обсуждать с детьми напрямую. Он поднялся из-за стола и подвел Линдси к дивану, который ученики между собой называли «директорский лежак». Впоследствии «директорский лежак» заменили двумя стульями, потому что нагрянувшие с проверкой чиновники сказали: «Дивану здесь не место, в кабинете должны быть стулья. Диван вызывает сомнительные ассоциации».

Мистер Кейден уселся на диван; Линдси примостилась рядом. Хочется верить, в тот момент, несмотря на свою подавленность, она все же ощутила некое волнение: не каждому доводится посидеть на «директорском лежаке». Хочется верить, я не лишила ее приятных переживаний.

– Мы всеми силами будем тебе помогать. – Мистер Кейден старался быть на высоте.

– Мне ничего не нужно, – отрезала моя сестра.

– Не хочешь об этом говорить?

– О чем «об этом»? – переспросила Линдси дерзким тоном. Это было папино выражение: «Сюзи, оставь свой дерзкий тон».

– У тебя большая потеря, – ответил директор, протянул руку и дотронулся до ее коленки. Линдси обожгло, как каленым железом.

– Вроде бы я ничего не теряла. – Титаническим усилием воли она демонстративно ощупала карманы блузки и юбки.

Мистер Кейден пришел в замешательство. Годом раньше другая ученица, Вики Курц, которая переживала смерть матери, билась в истерике у него на груди. С него тогда сошло семь потов, но теперь, задним числом, эпизод с Вики Курц выглядел образцом его педагогического мастерства. Он подвел Вики к дивану... впрочем, нет, Вики сама, без приглашения, плюхнулась на диван и, услышав «Сочувствую твоему горю», лопнула, как мыльный пузырь. Он ее обнял, а она все рыдала и рыдала. Костюм, правда, пришлось отнести в химчистку.

Но с Линдси Сэлмон этот номер не прошел. Девочка была незаурядная, ее в числе двадцати лучших учеников школы отобрали для участия в слете юных дарований. За ней числился только один проступок, да и тот пустяковый: в начале учебного года у нее нашли непристойную книжку – «Страх полета»<sup>1</sup>.

«Надо ее растормошить, – пыталась подсказать я. – Посмотрите вместе с ней хорошую комедию, подсуньте ей подушку, которая пугает, покажите, какие у вас прикольные трусы – с чертиками, пожирающими сосиски!» Я только и могла давать советы, но на Земле никто меня не слышал.

Во всех школах ввели обязательное тестирование, чтобы определить, у кого есть способности, а у кого нет. Я не раз поддразнивала сестру, говоря, что хорошие способности – это ерунда, а главное ее достоинство – хорошие волосы. Мы обе родились с густыми светлыми волосами, но у меня они скоро сменились невыразительной копной какого-то мышинного цвета. А Линдси так и осталась беленькой и по этой причине превратилась чуть ли не в мистическую фигуру. В нашей семье она была единственной натуральной блондинкой.

Впрочем, стремление отличиться возникло у нее только после успешно пройденного тестирования. Она начала запирается у себя в комнате и читать толстые книги. Пока я домучивала «Ты там, Господи? Это я, Маргарет»<sup>2</sup>, она читала Камю – «Соппротивление, восстание и смерть».

<sup>1</sup> Выпущенный в 1973 г. роман Эрики Джонг, обогативший английский язык идиомой «zipless fuck»

<sup>2</sup> Популярная книга Джуди Блум для девочек-подростков, выпущена в 1972 г.

Уж не знаю, много ли она оттуда почерпнула, но Камю всегда был при ней, и окружающие, включая учителей, ее зауважали.

– Линдси, хочу тебе сказать: нам всем не хватает Сюзи, – произнес мистер Кейден.

Моя сестра не ответила. Директор сделал еще один заход:

– Она была такой умницей.

Линдси смотрела пустыми глазами.

– Теперь это ляжет на тебя. – Мистер Кейден и сам понял, что брякнул какую-то несуразность; но молчание было бы равносильно полному поражению. – Теперь из двух сестер Сэлмон осталась ты одна.

Не сработало.

– А знаешь, кто ко мне сегодня заходил? – На крайний случай у мистера Кейдена была припасена козырная карта. – Мистер Дьюитт. У него есть задумка собрать команду девочек. – Директор воодушевился. – Но реализация этой идеи зависит от тебя. Он знает твой уровень подготовки: ты нисколько не уступаешь мальчишкам, и, по его мнению, тебя надо сделать капитаном, тогда в команду потянутся и другие ученицы. Что ты на это скажешь?

Сердце Линдси сжалось, как кулак.

– На это я скажу, что мне запахло гонять мячик в двух шагах от того места, где, по всей видимости, убили мою сестру. Получи! У мистера Кейдена отвисла челюсть.

– Еще вопросы будут? – выговорила Линдси.

– Нет, я только... – Мистер Кейден снова протянул руку. Оставалась последняя ниточка – путь к пониманию. – Только хочу, чтобы ты знала: мы скорбим вместе с тобой.

– Я на урок опаздываю, – сказала Линдси.

В этот момент сестра напомнила мне героев Дикого Запада – наш отец увлекался вестернами, и мы вместе смотрели ночной канал. В этих фильмах всегда бывает такой жест: герой, сделав удачный выстрел, подносит к губам еще не остывший пистолет и дует на легкую струйку дыма.

Линдси встала и с достоинством удалилась. Неторопливые уходы давали ей возможность хоть как-то расслабиться. В приемной оставались директорские помощницы, у доски расхаживал учитель, за партами сидели ученики, дома были родители – ждали полицейских. Она не проронила ни слезинки. Наблюдая за сестрой, я успела выучить реплики, которые она в одиночестве репетировала снова и снова. Все нормально. Своим чередом. Да, действительно, умерла, но люди умирают каждый день, это в порядке вещей. Выходя из кабинета директора, она, как могло показаться, смотрела в глаза секретаршам, но на самом деле видела только размазанную помаду и аляповатые крепедешиновые костюмчики.

Вечером она растянулась на ковре у себя в комнате и зацепилась носками за низ секретера. Десять раз села из положения лежа. Потом перевернулась на живот и приготовилась отжиматься. Не по-девчоночьи. От мистера Дьюитта она знала, как отжимаются морские пехотинцы: с высоко поднятой головой, причем либо на одной руке, либо с хлопком в ладоши между отжиманиями. Десять раз отжалась от пола. Встала, взяла с книжной полки два толстенных тома: словарь и атлас мира. Начала делать вращательные движения – тренировала бицепсы, пока не заныли руки. Главное – техника дыхания. Вдох. Выдох.

На главной площади небесной сферы в моем распоряжении оказалась наблюдательная башенка (на Земле у наших соседей, О'Дуайеров, была такая же – предмет моей жуткой зависти), откуда я смотрела, как сестра умиротворяет ярость.

За несколько часов до моей смерти мама прикрепила к холодильнику картинку, которую нарисовал Бакли. На ней между небом и землей проходила жирная синяя черта. Потом я пару дней глядела сверху, как мои родные мечутся перед этой картинкой, и утверждалась в мысли, что; жирная синяя черта обозначает Межграницье, реально существующее место, в котором небесный горизонт сходится с земным. И переносилась туда, где васильковая голубизна акварели, синева, бирюза, небо.

Я часто отмечала, что простые желания выполняются здесь почти сразу. Сокровища в меховой упаковке сами идут в руки. Это я о собаках.

В моем небесном краю через парк под окном ежедневно пробегали собаки разнообразнейших пород. Можно было открыть дверь и рассмотреть их вблизи – упитанных и веселых, тощих и пушистых, поджарых и совсем голых. По травке катались питбули; у сук были набухшие, тем-



ные соски, так и манившие к себе обласканных солнцем щенят. Мимо трусили бассеты, наступая на собственные уши и время от времени утыкаясь носами в зады такс, лодыжки гончих и головы пекинесов. А когда Холли брала свой тенор-саксофон и прямо с порога начинала играть блюз, псы рассаживались полукругом и подвывали. Тут поочередно распахивались все остальные двери, и в парк выходили наши соседки, кто в одиночку, кто парами. Меня оттесняли в сторону, Холли снова и снова играла на бис, а когда солнце клонилось к закату, мы устраивали танцы, причем вместе с собаками. Играли с ними в догонялки – сначала мы бегали за собаками, потом они за нами. Напоследок водили хороводы, держась за собачьи хвосты. Платья у нас у всех были разные: в горошек, цветастые, в полоску, гладкие. Когда на небе поднималась луна, музыка умолкала. Танцы прекращались. Мы замирали.

Тогда миссис Бетель Утемайер, старейшина моей небесной сферы, выносила скрипку. Холли ненавязчиво аккомпанировала. Они играли дуэтом: молчаливая старуха и совсем еще девочка. Их размеренные движения приносили нам какое-то непостижимое, психоделическое успокоение.

Падая с ног от усталости, соседки расходились. Музыка еще дрожала в воздухе; Холли в последний раз подхватывала тему, а миссис Утемайер, молчаливая и прямая, как древняя статуя, на прощанье выдавала джигу.

Такова была наша Всенощная, после которой дом погружался в сон.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Поразительное зрелище открывалось на Земле, если смотреть сверху. В дополнение к ожидаемой картинке «вид с небоскреба на муравейник», повсюду, куда ни глянь, можно было увидеть, как из тел вырываются души.

Мы с Холли пользовались возможностью беглого просмотра Земли: в любой повседневной сценке старались за пару секунд высмотреть что-нибудь удивительное. Так вот, мы не раз наблюдали, как душа летит мимо живого человека, мягко касается его щеки или плеча, а потом продолжает свой путь на небо. Живые не видят мертвых, но многие люди, как мне кажется, наделены особым чутьем и потому ощущают малейшие перемены. Такой человек говорит: повеяло холодком. Если у него умер кто-то из близких, то по утрам, пробудившись ото сна, он видит знакомый силуэт в изножье кровати или у порога спальни, а на улице замечает, как призрачная тень входит в автобус.

Покидая Землю, я дотронулась до одной девчонки из нашей школы, ее звали Рут. Мы все годы учились вместе, но никогда не были подругами. Когда моя душа с отчаянным криком улетала с Земли, я не удержалась и легонько задела эту девочку. У меня только-только отняли жизнь, да еще с такой страшной жестокостью, и мне было не под силу контролировать каждое свое движение. Времени на размышления не оставалось. Когда на тебя обрушивается насилие, думаешь только о том, чтобы спастись. Но, дойдя до последней черты, когда жизнь уплывает, словно лодка от берега, начинаешь хвататься за смерть, как за спасательный трос, в котором и есть твое избавление: ты просто уцепись покрепче и дай унести себя далеко-далеко от того места.

Мое легкое прикосновение резануло Рут Коннорс, как телефонный звонок из тюремной камеры. Не туда попали, неправильно набран номер. Она остановилась возле автомобиля мистера Ботта: это был проржавевший красный «фиат». Пролетая мимо, я коснулась ее лица, мелькнувшего в самом конце моего земного пути, чтобы напоследок ощутить связь с Землей через эту девочку, не похожую на других.

Утром седьмого декабря Рут пожаловалась матери, что видела страшный сон, который слишком уж смахивал на правду. Когда мать стала выяснять подробности, Рут сказала:

– Иду я через учительскую парковку и вдруг вижу: со стороны стадиона прямо на меня несется бледное привидение.

Помешивая овсянку, миссис Коннорс не сводила глаз с дочери, которая шевелила тонкими пальцами, унаследованными от отца.

– Привидение вылетело из кукурузных зарослей, – продолжала Рут. – Чувствую: это молодая девушка. Глазницы пустые. Все тело скрывает тонкий, как марля, белый покров. Но лицо просвечивает, можно различить и нос, и глаза, и волосы.

Мать сняла с плиты овсянку и убавила пламя.

– У тебя воображение разыгралось, дочка.

Рут прикусила язык. Она больше ни словом не обмолвилась про этот сон (а может, и не сон), даже через десять дней, когда по школе поползли сплетни о моей смерти, которые тут же обрастали домыслами, как и положено страшным историям. Мои ровесники из кожи вон лезли, чтобы припугнуть ужасом и без того ужасное известие. Но подробностей все равно никто не знал: место и время преступления, личность убийцы – это были пустые лохани, куда сливались догадки. Логово сатанистов. Полночь. Рэй Сингх.

При всем желании я не могла направить мысли Рут к той вещице, которую так и не нашли, – к моему серебряному браслету-цепочке. Он был на виду: только руку протяни, только распознай в нем улику. Но лежал вдали от кукурузного поля.

Рут начала писать стихи. Если даже родная мать и наиболее отзывчивые из учителей не желали слышать о темных сторонах того явственного видения, оставалось только облечь память в стихи.

Как же мне хотелось, чтобы Рут зашла к моим родным! Скорее всего, они – за исключением Линдси – даже не знали ее имени. По физкультуре Рут была на предпоследнем месте во всей школе. Когда на нее летел волейбольный мяч, она втягивала голову в плечи, мяч стучался об пол у ее ног, а команда и учитель едва сдерживались.

Моя мама сидела на жестком стуле в прихожей и смотрела, как отец снует туда-сюда, придумывая себе разные обязанности: теперь он направил свою энергию на маленького сына, жену и единственную оставшуюся дочку. А Рут совсем замкнулась, держа при себе нашу случайную встречу на автостоянке.

Просмотрев старые школьные ежедневники, она разыскала фотографию моего класса, а также снимки внеклассных занятий, в том числе химического кружка, и поработала над ними полукруглыми ножничками для рукоделия, взятыми у матери. Ее полностью захватило это наваждение, но я не спускала с нее глаз, и вот за неделю до Рождества она заметила в школьном коридоре такую сценку.

В углу обжимались моя подруга Кларисса и Брайан Нельсон. Когда-то я дала Брайану прозвище «Пугало»: у него были широченные плечи, от которых тащились наши девчонки, но физиономия напоминала холщовый мешок, набитый соломой. Мало этого – он носил хипповую кожаную шляпу, а в школьной курилке забивал косяки. По словам моей мамы, пристрастие Клариссы к небесно-голубым теням для век наводило на тревожные мысли, но мне это как раз нравилось. Кларисса вообще делала все то, что мне запрещалось: перекрасилась в блондинку, расхаживала в туфлях на платформе, после уроков курила.

Рут подошла к ним совсем близко, но осталась незамеченной. Она тащила стопку толстых томов, выданных учительницей обществоведения. Это была ранняя феминистская литература, поэтому Рут несла фолианты корешками к животу, чтобы не светить названиями. Ее отец, строительный подрядчик, принес ей пару прочных резиновых ремешков, специально для книг. Этими ремешками и были стянуты феминистские трактаты, которые она собиралась прочесть за каникулы.

Кларисса и Брайан хихикали. Он залез к ней под блузку. Всякий раз, когда его рука двигалась вверх, Кларисса заливалась смехом, но пресекала эти поползновения, либо уворачиваясь, либо слегка отодвигая его ладонь. Рут, как всегда и во всем, ничем себя не обнаруживала. В другой раз она бы прошла мимо, привычно опустив голову и отведя взгляд, но Кларисса – ни для кого не секрет – была моей подругой, поэтому Рут невольно остановилась. И стала смотреть, что будет дальше.

– Ну что ты, солнышко, – приговаривал Брайан. – Дай потрогать твой холмик. Хотя бы один.

Мне было видно: Рут брезгливо скривилась. И я – точно так же, только на небесах.

– Не здесь же. Нашел место, Брайан.

– Пошли на поле, – шепнул он.

Кларисса ответила нервным смешком, но при этом положила голову ему на плечо и ткнулась носом в шею. До поры до времени она собиралась его поддинамить.

После этого кто-то разворотил ее шкафчик.

Среди похищенного оказались альбом с вырезками и записями, разные картинки, прилеп-

ленные к дверце, и весь принадлежавший Брайану запас марихуаны, спрятанный там без ведома Клариссы. Рут никогда в жизни не пробовала наркотики, но в тот вечер она методично вытряхивала табак из длинных коричневых сигарет, которые курила ее мать, и набивала их травкой. Пробравшись в сарай, она зажгла фонарик, разложила перед собой мои фотографии и выкурила столько дури, сколько не снилось даже завзятым школьным «торчкам».

Миссис Коннорс в это время мыла посуду и унюхала дымок, прилетевший из сарая через кухонное окно.

– Видимо, Рут все же нашла общий язык с одноклассниками, – сообщила она мужу, сидевшему с вечерней газетой за чашкой кофе. До предела выматываясь на работе, он к вечеру мало что сообщал.

– Это хорошо, – ответил он.

Будем надеяться, не такая уж она бука. – Будем надеяться, – подтвердил отец. К ночи Рут приплелась домой. От тусклого луча фонарика и от восьми косяков у нее затуманились глаза, но мать ни словом ее не упрекнула и даже предложила попробовать пирог с черникой, который остывал на кухне. Только через пару дней, поработав над источниками, не связанными напрямую с Сюзи Сэлмон, Рут сообразила, каким образом смогла умять весь пирог за один присест.

На небесах иногда пахло скунсом – правда, совсем чуть-чуть. В земной жизни я любила этот запах. Вдыхала его – и как бы пробовала на ощупь. В нем смешивались и животный страх, и сила, и терпкий, неотвязный мускус. Впрочем, в небесной сфере у Фрэнни пахло дорогим марочным табаком. А у Холли – плодами кумквата.

Я могла сидеть в наблюдательной башне дни и ночи напролет, обозревая Землю. Не пропустила момент, когда Кларисса выбросила меня из головы – в угоду Брайану. Видела, как Рут следит за ней из-за угла на занятиях по домоводству или же со стороны медицинского кабинета, когда та была в кафетерии. На первых порах меня пьянила возможность беспрепятственно наблюдать за всем, что происходит в школе. Мне было видно, как помощник тренера по футболу анонимно подбрасывает шоколадки замужней учительнице физики, а первая красавица из группы поддержки буквально лезет в штаны двоечнику, которого столько раз вышибали из самых разных школ, что он и сам сбился со счета. Я подсмотрела, как учитель художественного воспитания и его любовница занимаются сексом в мастерской, прямо у печи для обжига керамики, а директор пускает слюнки, мечтая о помощнике тренера по футболу. Я пришла к выводу, что в средней школе «Кеннет» на этого помощника тренера многие положили глаз, хотя его квадратный подбородок был совершенно не в моем вкусе.

Возвращаясь в свою половину дома, я проходила под старинными фонарями, какие видела только раз в жизни, когда ходила с родителями на спектакль «Наш городок». С железных столбов полукружьями свешивались желтые шарики. Они мне врезались в память, потому что на сцене эти фонари казались наливными ягодами, истекающими светом. На небесах я придумала себе игру: выбирала под фонарями такие места, где моя тень на ходу сшибала ягоды.

Как-то раз, понаблюдав за Рут, я столкнулась с Фрэнни, которая застучала меня за этой игрой. На площади никого не было, только ветер кружил опавшие листья. Я остановилась и посмотрела ей в лицо, на добрые морщинки у глаз и в уголках рта.

– Да у тебя озноб, – заметила Фрэнни.

Хотя в воздухе висела холодная сырость, причина была не в этом.

– Все время думаю о маме, – сказала я.

Сжав ладонями мою левую руку, Фрэнни улыбнулась.

Мне захотелось легонько поцеловать ее в щеку или сделать так, чтобы она меня обняла, но пришлось просто глядеть ей вслед, провожая глазами голубое платье. Я ведь знала, что она мне чужая, а притворяться не умела.

Развернувшись, я зашагала обратно, в сторону башенки. От влаги, скопившейся в воздухе, руки-ноги покрывались гусиной кожей. Мне вспомнились утренние паутинки с бриллиантовыми каплями росы, которые я когда-то бездумно стряхивала легким движением запястья.

Когда мне исполнилось одиннадцать лет, я проснулась на рассвете. Все еще спали, а может, так показалось. На цыпочках спустившись вниз, я заглянула в столовую, где рассчитывала найти подарки. Но нет. На столе было пусто. Я поплелась обратно, и вдруг мой взгляд упал на мамин письменный стол в гостиной. Его затейливая столешница всегда была отполирована до зеркального блеска. «Столик для квитанций» – так его называли родители. Сейчас там лежал раскрытый

бумажный сверток, а в нем – вещь, которую я клянчила давно и без всякой надежды: фотоаппарат. Подойдя вплотную, я стала разглядывать его сверху. Это был «инстаматик», а к нему три дополнительные пленки и коробочка с четырьмя вспышками. До этого у меня вообще не было никакой техники. А тут появился ключик, открывающий двери в профессию моей мечты, фото-сафари.

Я покрутила головой. Никого. Выглянула на улицу сквозь полуопущенные реечки жалюзи (мама всегда оставляла их в таком положении: «нам скрывать нечего, а напоказ выставлять – тем более») и увидела, что с нашим домом вот-вот поравняется Грейс Таркинг, которая жила на той же улице, но училась в частной школе. Сейчас она шла спортивным шагом, со специальными отягощениями на лодыжках. Я торопливо зарядила фотоаппарат и стала ее подкарауливать, как в будущем собиралась подкарауливать слонов и носорогов. Пока еще меня скрывали оконные рамы и жалюзи, но в моем воображении это были высокие заросли тростника. Подобрав свободной рукой подол длинной ночной рубашки, я затаила дыхание (в голове крутилось: «чтобы себя не выдать») и не пропускала ни одного ее движения – крадучись перешла из гостиной в холл, а потом и в чулан, выходящий окном на другую сторону. Спортивная фигура стала удаляться, и тут меня осенило: побегу-ка я на задний двор, оттуда можно следить за ней без помех.

На цыпочках я побежала к черному ходу – и обнаружила, что дверь на крыльцо распахнута настежь.

Увидев маму, я мгновенно забыла про Грейс Таркинг. Боюсь, не смогу это вразумительно объяснить, но я никогда прежде не видела ее в неподвижности, с каким-то отсутствующим взглядом. Она сидела на складном алюминиевом стуле, лицом во двор. У нее в руке было блюдце, а на нем – ее любимая кофейная чашка. В то утро на краях чашки не было следов помады, потому что мама еще не успела навести красоту для... кого? Мне никогда не приходил в голову такой вопрос. Для папы? Для нас? Холидей, со счастливой мордой сидевший у пруда, меня не замечал. Он смотрел только на мою маму. А она смотрела в бесконечность. В тот миг она была даже не мамой, а каким-то отдельным от меня существом. Я уставилась на это отдельное существо, которое прежде мыслилось только как Мамочка, и разглядела мягкую, матовую кожу – матовую не от пудры, мягкую не от крема. Глаза и брови образовывали единый контур. «Глаза-океаны», – подлизывался к ней папа, чтобы получить хоть одну вишню в шоколаде из заветной коробки, которая хранилась в баре специально для мамы. Теперь я понимаю, почему он так говорил. Раньше я думала – потому, что у нее глаза синего цвета, но в тот миг мне стало ясно: они бездонные. Это меня и напугало. Повинуясь какому-то инстинкту, а не голосу рассудка, не дожидаясь, пока меня увидит или учует Холидей, пока рассеется над травой росистый туман, окутавший мою настоящую маму, и она проснется такой, как всегда, я сделала первый кадр новехонькой фотокамерой.

Когда из фотоателье «Кодак» доставили увесистый пакет с проявленной пленкой и отпечатанными снимками, я мгновенно уловила разницу. Только на одной-единственной фотографии получилась Абигаиль. На самой первой, где она была застигнута врасплох, еще не разбуженная щелчком затвора и не превратившаяся в маму именинницы, владелицу счастливого пса, жену любящего мужа, маму еще одной дочки и последнего, позднего ребенка – сына. Хозяйка дома. Любительница цветов. Приветливая соседка. Глаза-океаны, а в них крушение. Я-то думала, у меня впереди целая жизнь, еще успею разобраться, но оказалось, на это отпущен только один день – тот самый. Только единожды в земной жизни она предстала передо мной как Абигаиль, а потом я без труда отправила тот непонятный случай на задворки памяти: для меня куда важнее была настоящая мама, которая по-настоящему окружала меня собой.

Пока я сидела в башенке, вспоминая тот первый кадр и размышляя о маме, Линдси среди ночи встала с постели и прокралась в холл. Я следила за ней, как за киношным грабителем, который рыщет по незнакомому дому. Вот она взялась за ручку моей двери, и я уже знала: дверь сейчас откроется. Я уже знала: она войдет ко мне в комнату, но с какой целью? Моя неприступная крепость и так стала ничейной территорией. Мама там ничего не трогала. Даже кровать осталась незастеленной – в день своей смерти я убежала второпях. Просторная пижама в цветочек валялась среди простыней и подушек, а на одеяле были разбросаны скомканные вещи, которые я в последний момент забраковала – предпочла желтые расклеванные брюки.

Ступая по мягкому ковру, Линдси подошла к моей кровати и пощупала темно-синюю юбку, а потом вязаный крючком голубой джемпер – надоевшие тряпки. У нее был точно такой же

джерсер, только оранжевый. Ее руки подняли и бережно расправили голубой ком. Отстой. И в то же время – драгоценность. Мне было видно, как сестра его гладит.

Линдси обвела пальцем лоток для украшений, стоявший у меня на комод: я складывала туда значки избирательных кампаний и школьных праздников. Предметом особой гордости был найденный на школьной стоянке розовый кружаш с надписью: «Хиппи за любовь». Правда, мама взяла с меня обещание никогда его не носить. Лоток давно переполнился, но значки во множестве красовались еще и на огромной войлочной эмблеме Индианского университета, который заканчивал папа. Я заподозрила, что Линдси сейчас разживется парочкой значков, но она этого не сделала. Даже не притронулась. Просто обвела кончиками пальцев содержимое лотка. Тут ей на глаза попался плотный белый уголок, торчащий снизу. Она потянула.

Это было то самое фото.

Линдси резко выдохнула из себя весь воздух и с раскрытым ртом села на пол, не выпуская из рук снимок. Мир вокруг нее всколыхнулся и затрепетал, как палатка, сорванная ветром. Она, как и я в свое время, впервые увидела в маме незнакомку. На следующих кадрах мама была запечатлена с усталой улыбкой. В тени кизилового дерева, вся в солнечных бликах. Рядом с Холлидеем. И я не хотела, чтобы кто-то еще в семье знал мою маму совсем другой – чужой и непонятной.

Впервые я пробилась к ним в тот день, когда случилось крушение. 23 декабря 1973 года. «Бакли еще спал. Мама повезла Линдси к зубному. Они всей семьей договорились посвящать каждый день Згой недели какому-нибудь полезному делу. Папа обязался расчистить верхнюю гостевую спальню, которую Давно занял под свои нужды.

У своего отца он научился мастерить парусники в бутылках. Мои брат с сестрой и мама проявляли полное равнодушие к этим поделкам. А я была до них сама не своя. В мастерской стояла целая флотилия.

На работе папа целый день занимался цифрами – страховая компания «Чаддс Форд» требовала от своих служащих предельной сосредоточенности, – а по вечерам, чтобы расслабиться, мастерил парусники или читал книги про войну Севера и Юга. Приготовившись поднять паруса, он всякий раз призывал меня. Судно уже было приклеено к бутылочному стеклу. Я входила; папа требовал поплотнее закрыть дверь. Нередко мне казалось, что мама только и ждет этого момента, чтобы тут же позвать нас ужинать, – ее шестое чувство пресекало любые занятия, не имеющие к ней прямого отношения. Но когда шестое чувство ее подводило, мне выпадала честь держать бутылку.

– Смирно! – командовал папа. – Назначаю тебя первым штурманом.

С величайшей осторожностью он дергал за единственную нитку, которая еще торчала из бутылочного горлышка, и – алле-оп! – все паруса разом поднимались, хоть на простом баркасе, хоть на клипере. Судно могло отправляться в плавание. Меня так и тянуло захлопать в ладоши, но нельзя было выпускать из рук бутылку. Папа действовал быстро: раскалял в пламени свечи проволоку от металлической вешалки и пережигал нить у самого основания. Одно неосторожное движение – и вся работа насмарку; хорошо еще, если не вспыхнут крошечные бумажные паруса. Кому охота держать в руках бутылку, полную огня?

Со временем папа освободил меня от обязанностей первого штурмана, соорудив подставку из пробкового дерева. Линдси и Бакли никогда не разделяли моего восторга. Не добившись одобрения домашних, папа мрачнел и ретировался в мастерскую. А им что один парусник, что другой – никакой разницы.

Почему-то в тот день, разбирая свою коллекцию, папа обращался ко мне.

– Сюзи, дочурка, морячок мой, – приговаривал он, – тебе больше всего нравились вот эти, небольшие.

Я смотрела, как он расставляет парусники на верстаке, снимая их с полок. Для вытирания пыли использовалась старая мамина рубашка, разорванная на полоски. Под верстаком хранились батареи пустых бутылок, которые мы запасали впрок. Стенной шкаф тоже был забит парусниками: одни он мастерил вместе со своим отцом, другие – сам, третьи – уже со мной. Некоторые выглядели как новенькие, только паруса потемнели, иные со временем просели, а кое-какие и вовсе завалились набок. А один был особенный: тот, что вспыхнул за неделю до моей гибели.

Папа разбил его первым.

У меня екнуло сердце. А он повернулся и обвел взглядом вереницу парусников, как вере-

ницу лет, вспоминая руки, которые к ним прикасались. Руки покойного отца, руки покойной дочери. У меня на глазах он расколотил всю флотилию. Бутылки разбивались о стены и о деревянный табурет, возвещая мою смерть, а на полу росли горы битого стекла. Осколки сыпались впережку с бумажными парусами и щепками. Папа остался на месте кораблекрушения. Уж не знаю, как не знаю, как меня получилось, но я обнаружила свое присутствие. В каждом осколке, в каждом обрывке, в каждом обломке я запечатлела свое лицо. Опустив голову, папа посмотрел вокруг. Безумие. Длилось оно не более секунды – после этого я исчезла. Папа на мгновение замер, а потом разразился хриплым утробным смехом. От такого рокота меня на небесах пробрал озноб.

Выйдя из мастерской, он прошел по узкому коридору мимо двух других комнат и оказался перед моей спальней. Эта дверь ничем не отличалась от других, такая же хлипкая – кулаком выбить можно. Ему хотелось расколотить зеркало над комодом, содрать ногтями обои, но вместо этого он рухнул на мою кровать и, сотрясаясь от рыданий, вцепился в сиреневую простыню.

– Папа? – окликнул Бакли, держась за дверную ручку.

Обернувшись на детский голос, отец не смог унять слезы. Он соскользнул на пол, не выпуская из пальцев простыню, и лишь немного погодя развел руки в стороны. Бакли не сразу решился броситься в отцовские объятия, хотя обычно не заставлял себя упрашивать.

Папа закутал Бакли в простыню, еще хранившую мой запах. Ему вспомнилось, как я просила оклеить мою комнату лиловыми обоями. Вспомнилось, как он перенес ко мне старые номера «Нэшнл Джографик» и сложил на нижних полках стеллажей (я ведь планировала заняться съемкой диких животных). Вспомнилось то недолгое время, до рождения Линдси, когда в семье был только один ребенок.

– Ты у меня особенный, дружище, – сказал папа, прижимая его к себе.

Бакли вырвался и стал изучать опухшее отцовское лицо с блестками слез. Потом с серьезным видом кивнул и поцеловал отца в щеку. Такого божественного зрелища и на небесах не придумаешь: младенец утешает мужчину. Поплотнее завернув Бакли в простыню, папа вспомнил, как я падала с высокой кровати на пол и даже не просыпалась. Он сидел в зеленом кресле у себя в кабинете и читал книгу, всякий раз вздрагивая от глухого стука, когда приземлялось мое тело. Тут он вставал с кресла и спешил ко мне. Ему нравилось смотреть, как я сплю – так крепко, что меня не могли разбудить ни страшные сны, ни полеты с кровати на твердый пол. В такие минуты он божился, что его дети станут королями или диктаторами, художниками или фотоохотниками – кем увидят себя во сне.

В последний раз он нашел меня на полу за несколько месяцев до моей смерти, но тогда вместе со мной под одеялом лежал Бакли: одетый в пижаму, с любимым плюшевым медведем под мышкой, он свернулся калачиком, уткнувшись мне в спину, и мирно сосал палец. Тогда у папы впервые промелькнула грустная мысль о бренности отцовства. Впрочем, он дал жизнь трем детям, и это утешало. Что бы ни случилось с ним самим или с Абигаиль, эти трое будут друг другу опорой. В этом смысле начатая им линия жизни представлялась вечной, как уходящая вдаль стальная проволока: даже если когда-нибудь, в глубокой, убеленной сединами старости, ему суждено соскользнуть вниз, она все равно не порвется.

Теперь Сюзи воплотилась в его маленьком сыне. Люби живых. Так он повторял себе раз за разом, твердил эти слова в уме, но мое присутствие было для него неподъемным грузом, который все время тянул назад, назад, назад. Он посмотрел в упор на ребенка, прижатого к груди. – Кто ты? – помимо своей воли спросил он. – И откуда?

Я не сводила глаз с отца и брата. Истина оказалась совсем не такой, как нам объясняли в школе. Истина заключалась в том, что граница, разделяющая живых и мертвых, подчас бывает смутной и зыбкой.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В первые часы после убийства, пока мама обзванивала знакомых, а отец обходил соседские дома, мистер Гарви поспешил засыпать землянку и унес с поля мешок с моим расчлененным телом. Он прошел в двух домах от того места, где папа беседовал с мистером и миссис Таркинг. Пробираясь вдоль узкой межи, старался не повредить зимостойкие живые изгороди: у О'Дуайеров – самшит, у Стэдов – золотарник. Неизбежно задевал жесткие листья, оставляя за собой след

моего запаха, по которому собака Гилбертов потом нашла мою руку, но за пару дней дождь и слякоть уничтожили все следы, а сразу привести розыскных собак никому не пришлось в голову. Он принес меня к себе и оставил на полу, пока мылся под душем.

Когда дом выставили на продажу, покупатели досадливо цокали языками при виде темного пятна в гараже. Женщина из агентства по недвижимости заверяла, что это обычное масляное пятно, но на самом деле оно осталось от меня – просочилось из мешка, брошенного на цементный пол. Это был мой первый тайный знак миру.

Вы, конечно, сообразили, но до меня это дошло не сразу: я была далеко не первой жертвой мистера Гарви. Он уже приновился оттаскивать улики с места Преступления. Приновился выбирать погоду: непременно дожидался осадков, от умеренных до сильных, чтобы не оставлять никаких зацепок полиции. И все же сыщики переоценили его изворотливость. Он не заметил, как выронил мою руку; окровавленные останки сложил в брезентовый мешок; попадись он кому-нибудь на глаза, любой заподозрил бы неладное: зачем сосед крадется по узкой меже, где даже играющим детям не развернуться?

Под душем, в стандартной ванной комнате, точно такой же, какой пользовались мы с Линдси и Бакли, он неспешно, без лишней суеты тер себя мочалкой. Со струями воды на него снисходило спокойствие. Он не включал свет, и в темноте благодатный ливень смывал меня с его тела, но в мыслях он со мной не расставался. Слушал мои приглушенные крики. Ни с чем не сравнимый предсмертный стон. Разглядывал не тронутую солнцем кожу, безупречно белую, как у новорожденного младенца, аккуратно вспоротую лезвием ножа. Его то и дело охватывала дрожь, по рукам и ногам пробегали мурашки. Сложив меня в брезентовый мешок, он бросил туда же тюбик мыльного крема и бритву с земляной полки, потом книжку сонетов и напоследок – окровавленный нож. Эти предметы липли к моим коленям, к пальцам рук и ног, но он напомнил себе, что нужно будет ночью их вытащить, пока кровь не застыла. Во всяком случае, сонеты и нож у него сохранились.

Какие только собаки не прибегали к нам во время Всенощной! Причем некоторые – из числа моих любимцев – всегда держали нос по ветру, учуяв что-нибудь особенное. Какой бы ни был запах – отчетливый или едва уловимый, неузнаваемый или, наоборот, хорошо знакомый (тогда у них в мозгах крутилось: «Ням-ням, где-то жарится бифштекс!»), они непременно добивались до его источника. До предмета. До сути. А уж там решали, как быть дальше. Всегда действовали по такому правилу. Пусть даже запах был гадкий, пусть его источник таил опасность – это их не останавливало. Они шли по следу. Как и я.

Мистер Гарви повез бурый мешок с моими останками в мусорный коллектор, за восемь миль от нашего квартала. Раньше вокруг этого колодца был пустырь, прорезанный железнодорожной веткой. Поодаль стояла мастерская по ремонту мотоциклов. У него в фургоне играла радиостанция, которая в декабре крутила только рождественские песни. Насвистывая знакомые мелодии, он поздравлял себя с успешным исходом дела и наслаждался приятной сытостью. Яблочный прог, чизбургер, кофе с мороженым. Наелся до отвала. Как-никак, он постоянно шел вперед, придумывал новые способы, не повторялся, каждый раз устраивал себе сюрприз, делал подарок.

Воздух в машине разве что не звенел от мороза. С каждым выдохом у мистера Гарви вылетал пар, и от этого мне хотелось заткнуть свои окаменевшие легкие.

Громоздкий фургон еле умещался на узкой дорожке между двумя новыми строительными площадками. На какой-то рытвине автомобиль резко бросило в сторону, и металлический ящик, в котором лежал мешок с моими останками, ударился о пластиковое гнездо запаски, пробив в нем трещину. «Черт», – ругнулся мистер Гарви, но не перестал насвистывать рождественскую песенку.

Помню, отец как-то решил прокатить нас по этой самой дороге; Бакли, в нарушение правил, сидел у меня на коленях – мы были пристегнуты одним ремнем. В тот день папа спросил: мол, ребята, кто хочет посмотреть, как исчезает холодильник?

– Его проглотит земля! – объявил он, надевая шляпу и лайковые перчатки, испанские: от таких я бы и сама не отказалась. Ясное дело, перчатки носят только взрослые, а мелюзга бегает в варежках. (На Рождество семьдесят третьего года мама приготовила для меня пару перчаток. Потом их отдали моей сестре, но она не забывала, кому они предназначались. Однажды, по дороге из школы домой, Линдси аккуратно оставила их на краю кукурузного поля. Она часто так

делала – приносила мне подарки.)

– Разве у земли есть рот? – спросил Бакли.

– У земли есть огромная круглая пасть, только губы не выросли, – ответил папа.

– Джек, – засмеялась мама, – прекрати сейчас же. Ребенок и так рычит на львиный зев, я сама видела!

– Чур, я с тобой, – вызвалась я.

По рассказам отца, за городом когда-то была заброшенная шахта, которая в конце концов обвалилась и стала использоваться как мусорный коллектор. Но мне это было до лампочки; просто хотелось посмотреть – кто бы отказался? – как земля проглотит такой солидный кусок.

Поэтому, глядя, как мистер Гарви везет меня к шахте, я отметила его точный расчет. Мешок был засунут в металлический сейф, и я находилась внутри этой тяжелой штуковины.

Время было позднее. Оставив сейф в машине, он направился к дому Флэнагенов, которые жили рядом с шахтой и взимали плату за сброс бытовых приборов.

На стук мистера Гарви из дверей оштукатуренного домика появилась женщина. У меня на небесах сразу пахнуло бараниной с розмарином; этот же запах ударил в нос приезжему. В глупине сторожки за кухонным столом сидел хозяин.

– Вечер добрый, сэр, – сказала миссис Флэнаген. – Решили от старья избавиться?

– Сейчас фургон подгоню. – Мистер Гарви уже держал наготове двадцатку.

– А что привезли-то – труп, небось? – пошутила миссис Флэнаген.

Это она ляпнула не по злобе. Чего злобиться – крыша над головой есть, в тесноте да не в обиде. Муж есть – и по дому поможет, и слова ей поперек не скажет, потому как на работе не перелаывается. И сынок есть, несмышленный еще, мать для него первый человек.

Мистер Гарви ухмыльнулся, и пока эта ухмылка расплывалась по физиономии, я не отводила глаз.

– Старый сейф, еще от папаши остался. Давно пора выбросить, – сказал он. – Просто руки не доходили. Кода все равно никто не помнит.

– А внутри-то есть что?

– Затхлость.

– Ну, подгоняйте машину задом. Может, вам подсобить?

– Было бы здорово, – сказал он.

Флэнагены и помыслить не могли, что девочка, чье имя еще долго не сходило с газетных полос («ИСЧЕЗНУВШАЯ – ЖЕРТВА НАСИЛИЯ?»; «СОБАКА НАШЛА РУКУ»; «КУКУРУЗНОЕ ПОЛЕ – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ МЕСТО УБИЙСТВА 14-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ»; «ДЕВУШКИ, БУДЬТЕ ОСМОТРИТЕЛЬНЫ»; «ПЛАНИРУЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИМЫКАЮЩИХ К ШКОЛЕ ТЕРРИТОРИЙ»; «ЛИНДСИ СЭЛМОН, СЕСТРА ПОГИБШЕЙ, ПРОИЗНОСИТ РЕЧЬ НА ВЫПУСКНОМ ВЕЧЕРЕ»), находилась в сером несгораемом шкафу, который под покровом темноты сбросил в шахту одинокий мужчина, заплатив за это двадцать долларов.

Возвращаясь к машине, мистер Гарви сунул руку в карман. Там лежала серебряная цепочка с моего запястья. Он уже не помнил, как ее снимал. Не смог бы уточнить, когда именно положил ее в карман чистых брюк. Сейчас его рука перебирала одну за другой все подвески. Мясистая подушечка большого пальца ощупывала золотую эмблему Пенсильвании, подошву балетной туфельки, крошечный наперсток и крутящиеся велосипедные колесики со спицами. У шоссе номер 202 он свернул на обочину, съел припасенный бутерброд с ливерной колбасой, а потом поехал на стройку, к югу от Даунингтауна. На площадке не было ни души. В те годы строительные объекты в провинциальных городках обходились без охраны. Он припарковался возле будки-уборной. Надумай кто-нибудь потребовать объяснения, оно было наготове.

Перед моим мысленным взором возникала именно эта сцена, когда я думала о мистере Гарви, – как он, огибая земляные отвалы, затерялся среди сонных бульдозеров, грозно маячивших в темноте. В день моей смерти небо над землей было темно-синим; открытая местность просматривалась на многие мили вокруг. Мне взбрело в голову остановиться рядом и тоже поглядеть во все стороны. Я решила за ним проследить. Снегопад прекратился. Стало ветрено. Подчиняясь интуиции строителя, он приблизился к котловану, который, по его расчетам, вскоре должен был заполниться водой, и напоследок ощупал каждый брелок. Сама я больше всего любила миниатюрный велосипедик, но мистера Гарви явно привлекала эмблема Пенсильвании – замковый камень, на котором папа выгравировал мои инициалы: эта подвеска была тут же ото-



рвана от цепочки и возвращена в карман. Остальные вместе с браслетом полетели в будущее ручьёвое озеро.

За два дня до Рождества я увидела, как мистер Гарви читает книгу о племенах догон и бамбара, населяющих государство Мали. Дойдя до описания их жилищ, сделанных из холста и веревок, он загорелся одной мыслью. Решив, что пора снова заняться строительством, поэкспериментировать, как с той землянкой, он остановил свой выбор на ритуальном шатре, показанном в книге. Материалы совсем немудрящие, а собрать такую красоту на заднем дворе можно за пару часов.

Там и застал его мой отец, после того как уничтожил парусники.

Несмотря на холод, мистер Гарви был в одной тонкой рубашке. В тот год ему исполнилось тридцать шесть, и он решил перейти на контактные линзы. С непривычки у него покраснели глаза, из чего соседи, в том числе и папа, сделали вывод, что он спивается.

– Что это вы делаете? – спросил отец.

Хотя все Сэлмоны по мужской линии страдали сердечными заболеваниями, папа отличался недюжинной силой. К тому же благодаря своему росту он выглядел настоящим здоровяком – каким и предстал перед мистером Гарви, обойдя зеленый, обшитый вагонкой дом и оказавшись на заднем дворе, где заметил вбитые в землю колья, похожие на стойки футбольных ворот. У него еще гудело в голове после того, как мое лицо проступило в осколках стекла. Я не спускала с него глаз, когда он, срезая путь, двинулся напрямик через лужайку, как мальчишка по дороге в школу, и едва удержался, чтобы не провести ладонью по живой изгороди из бузины.

– Что это вы делаете? – повторил он.

Мистер Гарви прервался ровно настолько, чтобы встретиться с ним взглядом, а потом вернулся к работе.

– Шатер из прутьев.

– А зачем?

– Мистер Сэлмон, сочувствую вашему горю.

Взяв себя в руки, папа ответил, как требовали приличия:

– Благодарю. – У него словно ком застрял в горле.

Наступило молчание, и мистер Гарви, понимая, что наблюдатель не собирается уходить, предложил ему немного поработать.

Так и получилось, что у меня на глазах мой родной отец помогал моему убийце.

Папа особенно не вникал в суть. Он понял, что надо прикрепить к стойкам пучок гибких прутьев, а потом подвести под них другие прутья, чтобы две полукруглые дуги располагались крест-накрест. Понял, что прутья надо привязать к поперечинам. Понял, что мистер Гарви читал книжечку про туземцев-имедзурегов и вознамерился построить точную копию их жилища. Все в округе считали этого соседа чудаковатым, и папа лишний раз убедился, что молва не лжет. Вот, пожалуй, и все.

Примерно через час работы, когда остов был уже закончен, мистер Гарви, не говоря ни слова, удалился к себе. Папа решил, что настало время перекусить. Что мистер Гарви сейчас заварит кофе или вынесет во двор чайник.

Ничего подобного. Уйдя в дом и поднявшись наверх, мистер Гарви преследовал совсем другую цель: проверить кухонный нож, спрятанный в спальне. Нож хранился в ящике ночного столика, прямо у кровати, а на столешнице лежал блокнот, в котором бессонными ночами удобно было делать наброски. Он заглянул в мятый бумажный пакет. Лезвие почернело от моей крови. Перебрав в уме свои действия, он вспомнил, как описывается в одной книжке некое племя, жившее в древности на юге области Эйр. У туземцев была такая традиция: при строительстве брачного шатра женщины племени ткали для него полог, вкладывая в эту работу все свое искусство.

На улице пошел снег. Впервые после моей смерти. И папа это отметил.

– Слушаю тебя, родная, – молча произнес он. – Что ты хочешь сказать?

Вся сила моих мыслей устремилась на сухой куст герани, черневший у него перед глазами. Я подумала: если сумею сделать так, чтобы герань распустилась, это и будет ответ. У меня на небесах герань тут же зацвела буйным цветом. У меня на небесах лепестки уже начали осыпаться, я в них утопала по пояс. А на Земле ничего не изменилось.

Но даже сквозь снегопад я заметила: отец по-прежнему смотрит на зеленый дом. Что-то его

насторожило.

Мистер Гарви появился во дворе, одетый в теплую фланелевую рубашку, но папе бросилось в глаза другое: сосед вынес из дому охапку белых льняных простыней.

– Это еще зачем? – спросил отец.

Тут он перестал различать мое лицо.

– Вместо брезента, – объяснил мистер Гарви. Передавая простыни отцу, он коснулся ладонью его пальцев. Папу словно ударило током.

– Вам что-то известно, – сказал отец.

Мистер Гарви молча выдержал его взгляд.

Они продолжили работу, невзирая на подгоняемый ветром снег. С каждым движением у отца подскакивал адреналин. Он хотел убедиться в том, что и так знал. Спросил ли хоть кто-нибудь у этого типа, где он был в тот день, когда я пропала? Неужели никто не видел его в поле? Ведь полицейские опрашивали всех соседей. Методично переходили от дома к дому.

Натянув одну простыню на сплетенный из веток купол, папа с мистером Гарви закрепили ее в углах квадрата, образованного поперечинами. Остальные простыни свободно висели на рейках, спускаясь до самой земли.

Работа подошла к концу; на полукруглых льняных сводах боязливо примостились клочки снега. В складки отцовской рубашки тоже забился снег, даже по верхней кромке ремня пролегла белая полоса. Меня пронзила тоска. Я осознала, что никогда больше не выбегу на снег с Холиде-ем, никогда не буду катать Линдси на санках, никогда не покажу брату, как лучше всего лепить снежки – утрамбовывая их пяточкой ладони. Меня окружало море ярких лепестков. А на Земле опускалась завеса из мягких, девственно-чистых снежинок.

Зайдя в шатер, мистер Гарви представил, как непорочную невесту везут на верблюде к жениху-имедзурегу. Стоило моему отцу пошевелиться, как он остановил его упреждающим жестом:

– На сегодня хватит. Не пора ли вам домой?

Отец должен был хоть что-то сказать. Но у него на языке вертелось только одно слово: «Сюзи». Оно прозвучало совсем тихо, с каким-то змеиным шипением.

– Шатер получился на славу, – сказал мистер Гарви. – Все соседи видели, как мы с вами трудились.

Отныне будем друзьями.

– Вам что-то известно, – повторил отец.

– Ступайте домой. Ничем не могу вам помочь.

Мистер Гарви не улыбнулся, не сделал движения навстречу. Он скрылся в брачном шатре, опустив за собой полог – белую льняную простыню с вышитой монограммой.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Какая-то частица моего сознания жаждала немедленной расправы, требовала, чтобы папа сделался – наперекор своему характеру – беспощадным мстителем. Так всегда бывает в кино, и еще в книжках, которые идут нарасхват. Простой человек вооружается пистолетом или ножом, чтобы прикончить убийцу своих близких. Сплошной Чарльз Бронсон; публика ревет от восторга.

А на деле было так.

По утрам волей-неволей приходилось вставать. В полудреме он еще оставался прежним, самым собой. Мысли пробуждались медленно, будто по жилам растекался яд. Подняться удавалось не сразу. Он долго лежал в кровати, придавленный тяжестью. Зато потом спасительной соломинкой казалось движение, и он двигался, двигался, двигался, но не мог убежать от себя. На нем была вина, сверху обрушивалась карающая десница: Почему тебя не было рядом с дочерью?

Когда отец направлялся к мистеру Гарви, мама сидела в холле рядом с купленной по случаю фигуркой святого Франциска. Вернувшись, папа вошел в пустой холл. Он окликнул маму, троекратно повторил ее имя, заклиная не отзываться, а потом бесшумно поднялся к себе в кабинет, чтобы сделать очередную запись в блокноте на пружинке: «Пьет? Напоить. Возможно, разговорится». И дальше: «Думаю, Сюзи за мной наблюдает». Тут я запрыгала от восторга у себя на небесах: бросилась обнимать Холли, бросилась обнимать Фрэнни. Отец все понял, думала я.

Линдси громче обычного хлопнула дверью, и папа обрадовался, услышав этот стук. Он

страшился погружения в свои записки, боялся доверять слова бумаге. Стук входной двери, эхом прокатившийся сквозь неопределенность дневного времени, вернул его в настоящее, привел в движение, не дал утонуть. Мне это было понятно, хотя – не стану кривить душой – и обидно тоже, оттого что придется довольствоваться незримым присутствием и молча выслушивать, как Линдси за ужином докладывает моим родителям о своих успехах: контрольную написала лучше всех, учитель истории собирается представить ее к награждению почетной грамотой, – впрочем, Линдси была живой, а живые тоже заслуживают внимания.

Она затопала по лестнице. Деревянные сабо стукали о каждую сосновую ступеньку, да так, что сотрясался весь дом.

Не отрицаю, мне было завидно, что ей достанется все папино внимание, но я восхищалась ее выдержкой. Из всей нашей семьи она единственная столкнулась с таким отношением, которое Холли называла «синдром ходячего покойника» – это когда люди смотрят на живых, а видят мертвых.

Когда люди (в том числе и мама с папой) смотрели на Линдси, они видели меня. Не избежала этого наваждения и сама Линдси. Она за версту обходила зеркала. Даже мылась под душем в темноте.

В темноте она выбиралась из-под горячих струй, ощупью находила полотенце. Без света ей ничто не угрожало – влажный пар, поднимавшийся от кафельного пола, обволакивал ее с головы до ног. Неважно, стояла ли в доме тишина, или снизу доносились приглушенные голоса, она знала: здесь ее никто не побеспокоит. В такие минуты она мысленно обращалась ко мне, причем делала это двумя способами. Либо молча твердила одно-единственное слово, «Сюзи», и потом не сдерживала слезы, бегущие по мокрым и без того щекам, потому что была скрыта от посторонних глаз, которые могли увидеть в этих предательски соленых ручьях знак скорби; либо воображала, как я спасаюсь бегством, как ее захватывают вместо меня, а уж она дерется что есть сил и вырывается на свободу. Она гнала от себя мучительный вопрос: Где сейчас Сюзи? Папа слушал, что происходит у Линдси в комнате. Грохот – захлопнулась дверь. Глухой удар – на пол брошены книги. Скрип – застонала кровать. Тук-тук – с ног слетели сабо. Через пару минут он уже стоял у нее под дверью.

– Линдси, – позвал папа.

Ответа не было.

– Линдси, можно к тебе?

– Уходи, – отрезал ее голос.

– Прошу тебя, милая, – умолял он.

– Уходи!

– Линдси, – у папы перехватило дыхание, – почему ты меня не впускаешь? – Он осторожно прижался лбом к ее двери. Дерево холодило кожу, и он на мгновение забыл, что у него стучит в висках, а душу бередит неотвязное подозрение: Гарви, Гарви, Гарви.

Линдси бесшумно подкралась к порогу, ступая в одних носках, и отперла дверь – папа едва успел отшатнуться и принять такой вид, который, по его расчетам, говорил: «Не прячься».

– Что? – спросила она. Ее лицо было оскорбительно неподвижным. – Что такое?

– Хотел узнать, как у тебя дела, – сказал папа.

Он не мог забыть, как между ним и мистером Гарви опустилась завеса, как потерялась некая зацепка, ускользнула лежавшая на поверхности вина. Но ведь его родные вынуждены из дня в день выходить на улицу, отправляться в школу или еще куда – и волей-неволей проходят мимо зеленого дома, обшитого вагонкой. Успокоить обескровленное сердце могли только дети.

– Мне надо побыть одной, – сказала Линдси. –

Неужели непонятно?

– Если что – я рядом.

– Послушай, папа, – моя сестра пошла на единственную уступку, – я способна обходиться без посторонней помощи.

Что тут будешь делать? Он, конечно, мог нарушить неписанный кодекс и сказать: «А я – нет, я не способен, ты меня не отталкивай», но вместо этого чуть помешкал и отступил назад.

– Понимаю, – сказал он, прежде чем уйти, хотя ничего не понимал.

Мне захотелось взять его на руки. В альбомах по искусству я видела такие статуи: женщина держит на руках мужчину. Спасение наоборот. Дочка говорит отцу: «Ничего, ничего. Скоро

заживет. Вот подую – и все пройдет».

Но вместо этого я могла только наблюдать, как он звонит Лену Фэнермену.

На первых порах полиция относилась к нашей семье, можно сказать, трепетно. В захолустных городках исчезновение и убийство девочки было в те годы из ряда вон выходящим событием. Но время шло, а следствию так и не удавалось найти мое тело или напасть на след убийцы. Полицейские занервничали. Существует определенный временной промежуток, в пределах которого, как правило, обнаруживаются улики; этот промежуток уменьшался с каждым днем.

– Не считите за бред, инспектор Фэнермен... – начал отец.

– Зовите меня просто Лен.

У него в кабинете, под настольным пресс-папье, лежала школьная фотография, полученная от моей мамы. Когда об этом еще никто не заговаривал, Лен уже знал, что меня нет в живых.

– Я уверен: одному соседу что-то известно, – сказал папа, глядя из окна мастерской в сторону кукурузного поля. Землевладелец заявил журналистам, что до поры до времени оставит поле под паром.

– Кто этот сосед и откуда у вас такая уверенность? – спросил Лен Фэнермен, достав из ящика стола карандашный огрызок.

Мой отец рассказал ему про сооружение шатра, про то, как мистер Гарви его выпроваживал, как реагировал на мое имя, а потом добавил, что в округе все считают этого субъекта странным – на работу не ходит, детей нет.

– Непременно проверю, – сказал Лен Фэнермен, но, скорее, по обязанности. Такая уж ему отводилась роль в этом спектакле. Сведения, которые сообщил мой отец, не давали ни малейшей зацепки.

– Никому об этом ни слова; сами туда больше не ходите, – предостерег Лен.

Когда отец положил трубку, на него нахлынула непонятная пустота. Совершенно выжатый, он переступил порог мастерской и тихо прикрыл за собой дверь, а потом еще раз позвал из коридора:

– Абигаиль.

Запершись в нижней ванной, она в это время украдкой поедала миндальное печенье, которое папина фирма неизменно присылала нам к Рождеству. В маминых движениях сквозила жадность; миндальные кругляши, похожие на солнышки, стремительно исчезали у нее во рту. Когда мама была мной беременна, она целое лето ходила в одном и том же просторном клетчатом платье, чтобы не тратить лишние деньги, но зато ела все, что душе угодно, поглаживая живот и приговаривая: «Спасибо, малыш», а на грудь падали шоколадные крошки.

В дверь ванной постучали, только где-то внизу, почти у порога.

– Мамуля!

Торопливо дожевывая печенье, она спрятала пакет в аптечку.

– Мамуля! – сонным голосом повторил Бакли.

– Маму-у-у-ля!

Она терпеть не могла, когда ее так называли.

Стоило ей открыть дверь, как Бакли обвил ручонками ее колени.

Отец поспешил на шум и столкнулся с мамой в кухне. Чтобы отвлечься, они вдвоем захлопотали вокруг Бакли.

– А где Сюзи? – спросил Бакли, когда папа делал бутерброды. Для себя, для мамы и для четырехлетнего сына.

– Игрушки не забыл сложить? – ушел в сторону отец, не понимая, почему надо избегать этой темы в разговоре с единственным человеком, который задает вопросы напрямую.

Что такое с мамулей? – спросил Бакли. Мама тупо смотрела в пустую кухонную раковину. – Давай-ка съездим на этой неделе в зоопарк, – предложил отец, ненавидя себя. За увертки, за подкуп, за обман. Но как объяснить ребенку, что его старшая сестра лежит неизвестно где, разрезанная на части?

Слово «зоопарк» и все, что с ним связано (для моего братишки это значило: «Ура! Обезьяны!»), возымело действие, и Бакли опять ступил на зыбкую дорожку забвения длиной в один день. Темные стороны жизни пока обходили стороной его маленькую фигурку. Он знал, что я сейчас далеко; а кто далеко, тот скоро вернется.

Добросовестно обходя наш квартал, Лен Фэнермен не обнаружил ничего подозрительного

в доме Джорджа Гарви. В настоящее время мистер Гарви жил один, но как было сказано, первоначально планировал перебраться сюда с женой. Она умерла незадолго до переезда. Он зарабатывал на жизнь изготовлением архитектурных макетов, которые сдавал в специализированные магазины. Это ни для кого не было секретом. Нельзя сказать, что соседи набивались к нему в друзья, но относились к нему сочувственно. В каждой избушке свои погремушки. Лен Фэнермен знал это, как никто другой. Но, похоже, у Джорджа Гарви погремушки были особенные.

Нет, говорил Гарви, он мало знаком с семейством Сэлмонов. Детей их видел. Сразу заметно, в какой семье есть дети, а в какой нет, продолжал он, слегка понурившись и свесив голову на левый бок. «Во дворе игрушки разбросаны. Дома выглядят более живыми, что ли», – говорил он дрогнувшим голосом.

– Как я понимаю, на днях вы беседовали с мистером Сэлмоном, – сказал ему Лен Фэнермен, вторично явившись в темно-зеленый дом.

– Да, верно, а что случилось? – спросил мистер Гарви. Он прищурился, глядя на детектива, и тут же осекся. – Схожу за очками, – сказал он. – У меня сейчас кропотливая работа, из эпохи Наполеона Третьего.

– Наполеона Третьего? – переспросил Лен.

– Рождественские заказы сдал, теперь экспериментирую для души, – объяснил мистер Гарви.

Лен проследовал за ним в дом и увидел придвинутый к стене обеденный стол. На нем десятками рядов были разложены какие-то мелкие предметы, напоминающие миниатюрные панели для отделки стен.

«И вправду, не от мира сего, – отметил про себя Фэнермен, – но это еще не повод обвинять его в убийстве».

Надев очки, мистер Гарви сразу оживился.

– Действительно, мистер Сэлмон вышел пройтись и помог мне соорудить брачный шатер.

– Соорудить брачный шатер?

– Каждый год это делаю, – подтвердил мистер Гарви. – В память о Лин. Так звали мою жену; она скончалась.

Лену показалось, что он сует нос в личную жизнь этого человека и его сокровенные ритуалы.

– Понимаю, понимаю, – кивнул он.

– Кошмарная история приключилась с этой девочкой, – сказал мистер Гарви. – Я пытался выразить мистеру Сэлмону свои соболезнования. Впрочем, по опыту знаю: скорбящий человек мало что воспринимает.

– Значит, вы сооружаете такой шатер каждый год? – спросил Лен Фэнермен.

Об этом, по крайней мере, можно будет расспросить соседей.

– Раньше ставил его внутри дома, а нынче решил вынести на свет. Мы ведь поженились зимой. Кто ж мог знать, что будет столько снега.

– Где именно внутри дома?

– В подвале. Если хотите, могу показать. У меня и вещи покойной жены там хранятся.

Но Лен отказался.

– Я и без того отнял у вас время, – сказал он. – Просто решил вторично обойти квартал.

– Кстати, как продвигается расследование? – спросил мистер Гарви. – Что-нибудь нашли?

Лен не выносил подобных вопросов, хотя признавал, что люди имеют на них право, коль скоро и сам он вторгается в их личную жизнь.

– Я так считаю: улики ждут своего часа, – сказал он. – Когда захотят, тогда и обнаружатся. – Этот загадочный, поистине конфуцианский ответ в большинстве случаев производил неотразимое впечатление на обывателей.

– А сына Эллисов допросили? – спросил мистер Гарви.

– Мы беседовали с этой семьей.

– Говорят, он форменный живодер.

– Мальчишка, похоже, не подарок, я согласен, – сказал Лен, – но в тот день он подрабатывал в торговом центре.

– И свидетели есть?

– А как же.

– Больше ничего в голову не приходит, – сказал мистер Гарви. – Ума не приложу, как вам помочь.

Лену показалось, это было сказано искренне.

– Да, мозги у него набекрень, – сказал по телефону Лен моему отцу, – но нам нечего ему предъявить.

– А что он сказал насчет шатра?

– Утверждает, что посвятил его Лии, покойной жене.

– Но я точно помню: миссис Стэд говорила Абигайль, что его жену звали Софи, – настаивал отец.

Лен сверился со своими заметками.

– Нет – нет – Лия. У меня записано.

Тут папа усомнился в своей памяти. Откуда всплыло это имя – Софи? Он был уверен, что слышал его из первых уст, но уже давно, на местном празднике, где нужно было по-соседски поддерживать беседу, поэтому люди сыпали именами жен и детей, как пригоршнями конфетти, а по ходу дела хвастались новорожденными младенцами и представляли гостей, которых на другой день никто не вспоминал.

Впрочем, насколько ему помнилось, мистер Гарви на тот праздник не пришел. Он вообще избегал подобных сборищ. Соседи приписывали такую нелюдимость его чудаковатой натуре, но отец не видел в этом ничего особенного. Он и сам чувствовал себя не в своей тарелке, когда приходилось на людях изображать веселье.

Папа сделал в блокноте запись: «Лия?» Потом дописал: «Софи?» Сам того не подозревая, он вел список жертв.

В рождественские дни нашей семье уютнее было бы на небесах. В моей небесной сфере Рождеству не придавалось особого значения. Кто хотел, наряжался в белое и порхал, как снежинка, но этим празднества и ограничивались.

На Рождество к нам домой заявился Сэмюел Хеклер. Разумеется, не в костюме снежинки. Он был одет в кожаную куртку, доставшуюся от старшего брата, и в армейскую робу с чужого плеча.

Бакли с головой ушел в новые игрушки. Мама благодарила судьбу, что купила подарки заранее. Линдси получила перчатки и вишневый блеск для губ. Папа – пять белых носовых платков, давным-давно заказанных ею по почте. Так или иначе, всем, кроме Бакли, подарки были не в радость. В сочельник никто даже не думал включать елочную гирлянду. Горела лишь одинокая свеча – в отцовской мастерской, на подоконнике. Папа зажигал ее с наступлением сумерек, но мои брат с сестрой и мама теперь не выходили из дому в темное время суток. Огонек видела только я.

– Кто-то пришел! – закричал мой братишка. Он строил небоскреб и не мог дождаться, когда же его постройка рухнет. – С чемоданом!

Мама оставила традиционный яичный коктейль на кухне и подошла к дверям. Линдси, совершая над собой огромное усилие, сидела с родителями – в праздники это святое дело. Они с папой играли в «монополию», вернее сказать, в поддавки, не принимая в расчет плохие карточки. «Налог на предметы роскоши» отменили, «банкротство» не признавали.

В прихожей мама ладонями разгладила юбку. Поставив перед собой Бакли, положила руки ему на плечи:

– Подождем, пусть он постучится.

– Скорее всего, это преподобный Стрик, – высказался папа, обращаясь к Линдси и забирая свои пятнадцать долларов за второе место на конкурсе красоты.

– Сюзи была бы не в восторге, – решила Линдси.

Папа мысленно ухватился за эту фразу, в которой прозвучало мое имя. Линдси выпал двойной ход, и она перебралась в «Марвин-Гарденс»

– Двадцать четыре доллара, – сказал папа. – Но, так и быть, уступлю за десятку.

– Линдси! – позвала мама. – Это к тебе.

Выбравшись из-за стола, Линдси направилась к дверям. Папа смотрел ей вслед. И я тоже. В тот миг мы с ним сидели рядом. Я была призраком на игровой доске. Папа уставился на фишку-башмачок, лежавшую на боку в коробке. Если бы только я могла ее поднять, сделать так, чтобы она перепрыгнула с «Бордуока» на лиловое поле «Балтик», где, как я всегда считала, живут са-

мые интересные люди... «Просто ты – фанатка лилового», – говорила Линдси. А папа добавлял: «Могу гордиться, что моя дочь не заражена снобизмом».

– Железная дорога, Сюзи, – сказала папа. – Ты всегда старалась получить железную дорогу.

Чтобы подчеркнуть выступающий на лоб мысок и в то же время укротить вихры, Сэмюел Хеклер всегда зачесывал волосы назад. Из-за этого в свои тринадцать лет, упакованный в черную кожу, он смахивал на юного вампира.

– С Рождеством тебя, Линдси. – Он протянул моей сестре маленькую коробочку в голубой подарочной обертке.

Я все видела: Линдси начала сжиматься, как пружина. У нее ушло немало сил, чтобы отрезать от себя всех, всех без исключения, однако Сэмюель Хеклер был парнем ее мечты. У нее затвердело сердце, будто спрятанное на хранение в ледник, но, как бы она ни переживала мою гибель, ей было тринадцать лет, и Сэмюел Хеклер, парень ее мечты, пришел к ней на Рождество.

– Говорят, тебя посылают на слет юных дарований, – выдал он, потому что все остальные молчали. – Меня тоже.

Тут у моей мамы в голове что-то щелкнуло – это включился автопилот образцовой хозяйки.

– Заходи, пожалуйста, посиди с нами! – сказал голос. – У меня как раз готов яичный коктейль.

– С удовольствием, – ответил Сэмюел Хеклер и, к нашему с Линдси несказанному изумлению, согнул руку в локте, чтобы проводить мою сестру к столу.

– А это что? – Бакли семенил сзади, тыча пальцем в футляр, который он принял за чемодан. – Альт, сказал Сэмюел Хеклер. – Что такое альт? – не понял Бакли. – Сэмюел играет на альт-саксофоне, – бросила Линдси.

– Только учусь, – сказал Сэмюел.

Мой братишка не знал, что означает «саксофон», зато он знал, что означает ледяной тон Линдси. Она частенько перед ним заносилась – я в таких случаях говорила: «Не дуйся, Бакли, это у Линдси колючки растут». С этими словами я принималась его щекотать, а потом бодала лбом в живот и приговаривала «злючки-колючки», пока он не заливался хохотом.

Увязавшись за старшими на кухню, Бакли задал вопрос, который возникал у него каждый день, и не по одному разу:

– А где Сюзи?

Все молчали. Сэмюел посмотрел на Линдси.

– Бакли, – позвал папа из соседней комнаты, – давай-ка сыграем с тобой в «монополию».

Моему брату еще никогда не предлагали сыграть в «монополию». Все твердили, что он слишком мал, но на Рождество всегда случаются чудеса. Он бросился к папе, и тот посадил его к себе на колени.

– Видишь этот башмачок? – спросил папа.

Бакли кивнул.

– Слушай внимательно, что я тебе расскажу, ладно?

– Про Сюзи? – Каким-то образом брат соединил одно с другим.

– Да. Я тебе расскажу, где сейчас Сюзи.

У себя на небесах я залилась слезами. Что мне еще оставалось?

– Когда Сюзи играла в «монополию», она всегда выбирала себе этот башмачок, – сказал папа. – Я, например, беру себе машинку или тачку. Линдси берет утюжок, а твоя мама, когда садится играть, выбирает пушку.

– А это собачка?

– Да, породы колли.

– Чур, моя!

– Договорились. – Папа запасся терпением. Он придумал, каким способом можно все объяснить. Вот так, посадив к себе на колени сынишку, беседуя с ним, ощущая его маленькое тельце, такое человеческое, такое теплое, полное жизни. Папа и сам находил в этом успокоение. – Отныне колли будет твоей фишкой. Ну-ка, скажи еще разок, где фишка Сюзи?

– Башмачок, – ответил Бакли.

– Верно. Значит, автомобиль – это я, утюжок – твоя сестра, а пушка – это наша мама.

Мой брат изо всех сил пытался сообразить, что к чему.

– Первым делом фишки ставятся на поле, так? Помогай.

Бакли набрал пригоршню фишек, потом еще одну, и высыпал их на доску, между карточками «Шанс» и «Общественная казна».

– Ну вот, а другие фишки будут нашими друзьями.

– Как Нейт?

– Да хоть бы и как Нейт. Он у нас будет шляпой. А поле – это весь мир. Теперь представь себе вот что: я брошу кубики – и одна фишка исчезнет с поля. Что это будет означать? Что она больше не играет? Верно,

– А почему? – спросил Бакли, подняв глаза на отца. Тот содрогнулся.

Почему? – еще раз спросил мой брат.

Папа не стал говорить «потому что жизнь – несправедливая штука» или «потому что так». Он хотел Найти подходящие слова, чтобы объяснить четырехлетнему человеку, что такое смерть. Папина рука легла на спину Бакли.

– Сюзи умерла, – только и выговорил он, не сумев связать это с правилами игры. – Понимаешь?

Протянув руку, Бакли накрыл ладонью башмачок. А потом поднял глаза на папу, чтобы найти подтверждение.

Отец кивнул.

– Больше ты ее не увидишь, малыш. Никто из нас больше ее не увидит.

Отца душили рыдания. Бакли смотрел на него, силясь понять происходящее.

Башмачок перекочевал в комнату Бакли и долго хранился у него на комод, а потом исчез, и все поиски оказались напрасными.

Допив свой яичный коктейль, мама извинилась и ушла из кухни в столовую. Она методично выкладывала у каждой тарелки по три разных вилки, а потом соответствующие ножи и ложки, следя, чтобы они «располагались лесенкой», как ее учили в магазине для новобрачных, где она подрабатывала до моего рождения. У нее было два желания: выкурить сигарету и чтобы оставшиеся в живых дети хоть какое-то время не путались под ногами.

– Может, посмотришь подарок? – предложил Сэмюел Хеклер моей сестре.

Они стояли возле посудомоечной машины, прислонясь к встроенному комоду с полотенцами и скатертями. В комнате справа от кухни сидел отец с моим братишкой; по другую сторону от кухни мама пыталась принять решение по поводу сервировки: флорентийский – «веджвуд» и кобальтовое стекло, или королевский «вустер» и «маунтбэттен», или же «ленокс» и «этернал».

Линдси с улыбкой потянула за белую ленту, которой был перетянут маленький сверток.

– Это моя мама завязала такой бант, – признался Сэмюел Хеклер.

Под голубой бумагой обнаружилась черная бархатная коробочка. Линдси бережно поддерживала ее на ладони. Я у себя на небесах сгорала от нетерпения. Когда мы с сестрой играли в куклы, у нас Барби и Кен всегда женились в шестнадцать лет. В нашем представлении, у человека могла быть только одна настоящая любовь – никаких компромиссов, никаких повторений.

– Открой, – сказал Сэмюел Хеклер.

– Страшно.

– Не бойся.

Он положил руку ей на локоть: с ума сойти – что я в этот миг испытала! Линдси осталась наедине с мальчиком, который ей нравился (даром что смахивал на вампира). Вот это новость, вот это открытие – теперь у нее не могло быть от меня секретов. По доброй воле она бы никогда со мной не поделилась.

Подарок, лежавший в коробочке, можно было назвать и безделушкой, и разочарованием, и сказкой – это как посмотреть. Безделушкой – потому, что его преподнес тринадцатилетний мальчишка; разочарованием – потому, что это было не обручальное кольцо; еще оставалась сказка. Линдси увидела половинку золотого сердечка. Сэмюел Хеклер расстегнул ворот пестрой рубашки и вытащил вторую половинку медальона. На кожаном шнурке. Линдси вспыхнула; я у себя на небесах – точно так же.

У меня мигмом вылетело из головы, что за одной Стенкой сидит отец, а за другой – мама перебирает столовое серебро. Я увидела, как Линдси потянулась Сэмюелу Хеклеру, И поцеловала его. Это было ни с чем не сравнимо. Я почти ожила.



## ГЛАВА ШЕСТАЯ

За две недели до гибели я замешкалась перед выходом из дому и, добравшись до школы, увидела, что стоянка автобусов уже опустела.

Дежурный учитель из дисциплинарной комиссии записывал фамилии опоздавших, которые пытались проскользнуть через главный вход после первого звонка. Мне совершенно не улыбалось, чтобы меня потом сдернули с урока и посадили на скамью возле кабинета мистера Питерфорда, который – это все знали – пригибал провинившемуся голову и охаживал по заднице деревянной линейкой. Учитель труда по его просьбе просверлил в этой линейке отверстия для уменьшения сопротивления при замахе, чтобы сподручнее было лупить по джинсам.

За мной не водилось значительных опозданий или других проступков, которые наказывались линейкой, но я, как и все ученики, настолько живо представляла себе эту экзекуцию, что у меня заранее начинали ныть ягодицы. Кларисса говорила, что «торчки», как называли у нас в школе наркоманов, пробираются за кулисы актового зала через дверь черного хода, которая никогда не запирается – по недосмотру сторожа-уборщика Клео, не осилившего, по причине своей постоянной обдолбанности, даже среднюю школу.

Так вот, в тот день я пробиралась на цыпочках через черный ход, стараясь не споткнуться о кабели и провода. Остановилась у каких-то высоких подмостков и опустила на пол сумку, чтобы расчесать волосы. Каждое утро я покорно натягивала связанный мамой шутовской колпак с бубенчиками, но стоило мне скрыться за домом О' Дуайеров – и у меня на голове оказывалась черная фуражка, которую прежде носил отец. От этого маскарада волосы жутко электризовались, поэтому я первым делом шла в туалет, где можно было нормально причесаться.

– Сюзи Сэлмон, ты красивая, – неведомо откуда Прозвучал чей-то голос.

Я стала озиаться.

– Посмотри сюда, – позвал все тот же голос. Задрав голову, я увидела Рэя Сингха, который, свесившись вниз, смотрел на меня с верхнего яруса.

– Привет, – сказала я.

Рэй Сингх – я это знала – был ко мне неравнодушен. Раньше их семья жила в Англии, хотя Кларисса говорила, он родом из Индии. У меня не укладывалось в голове, что внешность можно взять у одной страны, говор – у другой, а потом переселиться в третью. Такое сочетание сразу меня зацепило. Плюс ко всему, он был в сотни раз умнее других и притом запал не на кого-нибудь, а на меня. Время шло, и мне стало ясно, что он выделяется: то придет на уроки в смокинге, то принесет какие-то экзотические сигареты (стыренные у матери), но поначалу я принимала это за изысканные манеры. Он знал и подмечал больше остальных. В то утро от звука его голоса у меня захолонуло сердце.

– Звонка еще не было? – спросила я.

– У нас классный час, сегодня мистер Мортон ведет.

Тут все стало ясно. Мистер Мортон вечно приходил с похмелья и на первом уроке просто отдавал концы. Он никогда не устраивал переключку.

– С чего это тебя наверх понесло?

– Забирайся – посмотришь. – Он выпрямился; голова и плечи скрылись из виду.

На это еще надо было решиться.

– Залезай, Сюзи.

Меня потянуло на подвиги; вернее, я сделала вид, будто мне все нипочем. Поставила ногу на нижнюю ступеньку лесов и ухватила за перекладину.

– Вещи не оставляй, – посоветовал Рэй.

Прихватив сумку, я стала неловко карабкаться наверх.

– Давай помогу. – Он подхватил меня под мышки, и я смутилась, хотя на мне была теплая куртка.

Свесив ноги вниз, я осталась сидеть на краешке верхнего яруса.

– Так не пойдет, – сказал он. – Еще увидит кто-нибудь.

Я поджала ноги под себя, как он сказал, и только тогда посмотрела ему в глаза. И почувствовала себя полной идиоткой – зачем я туда полезла?

– Долго собираешься тут сидеть? – спросила я.

– Пока английский не кончится.

– Мотаешь английский! – возмутилась я, как будто он, по меньшей мере, ограбил банк.

– Я ходил в Королевский Шекспировский театр на все спектакли, – сказал Рэй. – Чему эта овца может меня научить?

Мне стало обидно за миссис Дьюитт. Если обзывать ее овцой – тоже подвиг, то это без меня.

– «Отелло» мне понравился, – неуверенно сказала я.

– Да что она смыслит? Разглагольствует с умным видом, вот и все. У нее что мавр, что «Чернокожий, как я»<sup>3</sup> – никакой разницы.

Рэй был умный. Да к тому же индус, а приехал из Англии; по меркам Норристауна – настоящий инопланетянин.

– Тот чудак, который его играл в кино, прикольно смотрелся в черном гриме, – вспомнила я. – Сэр Лоренс Оливье<sup>4</sup>.

Мы помолчали. Звонок возвестил окончание классного часа, а через пять минут прозвенел второй звонок, и это значило, что мы должны быть на первом раже, в классе миссис Дьюитт. С каждой секундой, которая отдаляла нас от этого звонка, меня все сильнее охватывал жар, а Рэй все дольше задерживал на мне свой взгляд, от которого не укрылись синяя куртка с капюшоном, болотного цвета мини-юбка и теплые колготки в тон. Приличная сменная обувь лежала у у меня в сумке, а на ногах были сапоги под замшу, отороченные по верхнему краю и боковым швам требухой грязного искусственного меха. Знать бы, что мне предстоит главное романтическое свидание в моей жизни, я бы подготовилась – хотя бы мазнула губы землянично-банановым бальзамом для поцелуев.

Я почувствовала, как Рэй подался ко мне, и от этого движения под нами скрипнули доски. «Он из Англии», – вертелось у меня в голове. Его губы оказались совсем близко, и доски застонали. У меня все поплыло перед глазами в ожидании первого поцелуя, и вдруг до нашего слуха донесся какой-то шум. Мы так и похолодели.

Как по команде рухнув навзничь, мы с Рэем уставились в хитросплетение проводов и арматуры. Дверь распахнулась, и за кулисы вошел мистер Питерфорд в компании с учительницей рисования – мы узнали обоих по голосам. С ними был кто-то третий.

– На первый раз мы не будем применять дисциплинарные меры, но впредь спускать не намерены, – говорил мистер Питерфорд. – Мисс Райан, вы принесли материалы?

– Принесла.

Мисс Райан прежде работала в католической школе; ей предложили у нас в «Кеннете» должность методиста по художественному воспитанию после того, как у ее предшественников, парочки бывших хиппи, взорвалась печь для обжига керамики. У нее на уроках мы сначала делали какие-то идиотские опыты с расплавленным металлом и комьями глины, а потом без конца рисовали с натуры деревянные фигурки в неестественных позах, которые она расставляла в классе перед началом занятий.

– Что задавали, то я и делала, – проговорила Рут Коннорс.

Я узнала ее по голосу, и Рэй тоже. Нам всем сейчас полагалось быть на уроке английского у миссис Дьюитт.

– Вот этого, – произнес мистер Питерфорд, – вам не задавали.

Рэй, протянув руку, стиснул мои пальцы. Мы оба поняли, о чем речь. На днях в библиотеке ходила по рукам ксерокопия ее рисунка, и когда она попала к мальчишке, стоявшему перед каталогом, библиотекарьша выхватила у него листок.

Если мне не изменяет память, – процедила мисс Райан, – у наших анатомических моделей груди отсутствуют. Изображенная на рисунке женщина лежала на спине, закинув ногу на ногу. Она ничем не напоминала деревянную фигурку с конечностями на шарнирах. Это была настоящая женщина, и ее прорисованные углем глаза – то ли по замыслу, то ли по случайности – горе-

<sup>3</sup> Выпущенная в 1964 г. Карлом Лернером экранизация автобиографической книги Джона Говарда Гриффина о путешествии белого человека по американскому югу в негритянском гриме.

<sup>4</sup> Речь идет об экранизации «Отелло», выпущенной Стюартом Бёрджем в 1965 г. с Лоренсом Оливье и Мэгги Смит в главных ролях.

ли таким вожделением, что кому-то из ребят становилось стыдно, а кому-то в кайф.

– Нос и рот тоже отсутствуют, – сказала Рут, – но вы сами сказали: проработать лицо.

Рэй опять сжал мне руку.

– Не умничай, – отрезал мистер Питерфорд. – У фигуры такая поза, что Нельсон сразу потащил этот рисунок на ксерокс. – А я-то при чем?

– Из-за твоего рисунка начались неприятности.

– Но при чем тут я?

– Это бросает тень на всю школу. Впредь будешь рисовать только то, что задает мисс Райан, и без всяких вольностей.

– Леонардо да Винчи вообще рисовал трупы, – тихо сказала Рут.

– Ты все поняла?

– Да, все, – сдалась Рут.

Дверь за кулисы отворилась и захлопнулась, а через мгновение до нас с Рэем донесся плач Рут Коннорс. Рэй одними губами произнес: «Пошли», я подползла к краю настила и свесила ноги вниз, ища какую-нибудь опору.

Через пару дней Рэй поцеловал меня в коридоре, возле шкафчиков. На дощатых подмостках, где он собирался это сделать, нам было не до того. Наш единственный поцелуй остался, можно сказать, случайным, как радужное пятнышко бензина.

Я спускалась спиной к Рут. Она не стала прятаться или убегать, когда я обернулась к ней лицом, а просто осталась сидеть на каком-то деревянном ящике. Слева от нее болтался выцветший занавес. Она следила за мной взглядом, не скрывая слез.

– Сюзи Сэлмон, – только и сказала она, давая знать, что меня заметила.

Мысль о том, что я способна промотать урок, спрятавшись за сценой, была так же невообразима, как вид первой ученицы, которая получает выволочку от дисциплинарной комиссии.

Остановившись перед ней, я комкала в руках шапку.

– Шапка – полный отстой, – сказала Рут.

Я увидела со стороны этот колпак с бубенчиками.

– Сама знаю. Мама связала.

– Ты все слышала?

– Дай-ка поглядеть.

Рут расправила мятую ксерокопию.

Синей шариковой ручкой Брайан Нельсон пририсовал женщине похабную дырку между ног. Я отшатнулась под взглядом Рут. В ее глазах промелькнуло что-то потаенное, какой-то личный интерес, и она, порывшись в своем рюкзаке, вытащила альбом для эскизов, в черной кожаной обложке.

Рисунки оказались бесподобными. В основном женщины, изредка животные и мужчины. Раньше я ничего похожего не видела. Каждая страница была заполнена рисунками. До меня дошло, что Рут – это бомба замедленного действия, но не потому, что на ее рисунках красовалась обнаженная натура, над которой мог поглумиться одноклассники, а потому, что своим талантом она превосходила всех учителей. Тихая бунтарка. И притом беззащитная. – Да у тебя талант, Рут, – сказала я. – Ну, спасибо.

Не отрываясь, я перелистывала альбом и впитывала каждый штрих. Меня и пугало, и влекло то, что было изображено ниже пупка – «детородные органы», как выражалась моя мама.

Когда-то я объявила Линдси, что не собираюсь заводить детей, и в возрасте десяти лет полгода рассказывала всем взрослым, если, конечно, те не отказывались. слушать, как пойду к врачу, чтобы мне перевязали трубы. Я очень смутно представляла такую операцию, но внушила себе, что это суровая необходимость. Папа души хохотал.

До того дня Рут казалась мне какой-то пришибленной, а теперь стала необыкновенной. Рисунки так меня захватили, что я позабыла все правила школьного распорядка, все звонки-свистки, которым полагалось подчиняться.

После того как кукурузное поле обнесли веревочным ограждением, прочесали и забыли, Рут стала ходить туда гулять. Заворачивалась в бабкину шерстяную шаль, сверху надевала видавший виды отцовский бушлат. Очень скоро она поняла, что ее прогулы всем учителям (кроме, разве что, физкультурника) просто-напросто по барабану. Им было даже на руку, что она отсутствует: слишком умная, проблем добавляет. Из-за таких не расслабишься, да и план урока идет

намарку.

Чтобы не садиться в школьный автобус, она стала выезжать из дому со своим отцом. Тот отправлялся на работу затемно и всегда прихватывал с собой металлическую коробку для бутербродов. В детстве Рут кланчила у него этот красный сундучок со скошенной крышкой и устраивала в нем кукольный дом для Барби, а теперь ее отец прятал там бурбон. На пустой стоянке он не спешил выключать обогреватель и, прежде чем посадить дочку, каждый раз говорил одно и то же:

– Все путем?

Рут согласно кивала.

– На посошок?

Тогда она, даже не кивнув, молча протягивала ему коробку для ленча. Он извлекал оттуда бурбон, откупоривал и вливал в себя щедрую порцию горячительного, а потом передавал бутылку дочери. Та, картинно откинув голову, затыкала горлышко языком, чтобы как можно меньше жидкости попало в рот, а если отец смотрел в упор, делала крошечный, обжигающий глоток.

После этого она соскальзывала с высокой подножки грузовика. До восхода солнца на улице стоял холод, жуткий колотун. Ей вспоминалось правило, которое мы затвердили на уроке: в движении человек согревается, без движения замерзает. Она быстрым шагом направлялась в сторону кукурузного поля. По пути разговаривала сама с собой, а иногда вспоминала меня. Нередко останавливалась у цепного ограждения, отделявшего футбольную площадку от беговых дорожек, и смотрела, как пробуждается мир.

Так и получилось, что в первые месяцы мы с ней встречались каждое утро. Над кукурузным полем занимался рассвет, и тогда Холидей, которого мой отец спускал с поводка, начинал гоняться за кроликами, то ныряя в мертвые заросли кукурузы, то выскакивая на обочину. Кролики облюбовали подстриженную травку Легкоатлетического стадиона, и на глазах у Рут вдоль белой разделительной полосы выстраивались темные тушки, будто готовые к забегу. Ей нравилось воображать кроличьи бега, и мне тоже. Она верила, что чучела животных могут бродить по ночам, когда люди спят. Ее все еще преследовало видение, будто в красной отцовской коробке пасутся махонькие телята и овечки, подкрепляясь бурбоном и враньем.

Когда Линдси подарила мне на Рождество перчатки, положив их на дальней кромке футбольного поля, куда подступала кукуруза, первыми их обнаружили кролики. Мне было видно, как они обнюхивают кожу, подбитую мехом их сородичей. А вскоре я заметила, что перчатки подобрала Рут, опередив Холидея. Отвернув кожаный край, она прижала к щеке меховую подкладку, посмотрела на небо и шепнула: «Спасибо». Приятно было думать, что она обращается ко мне. За эти месяцы я привязалась к Рут. У меня было Такое ощущение, что мы, находясь по разные стороны Межграницья, все же рождены для того, чтобы быть рядом, хотя сами не могли бы этого объяснить. Две девчонки, не такие, как все, нашли друг друга в самых невероятных обстоятельствах – когда я пролетала мимо, а ее бросило в дрожь.

Рэй, как и я, не пользовался школьным автобусом – он жил в другом конце нашего квартала, примыкающего к школе. От него не укрылось, что Рут Коннорс бродит в одиночку по футбольному стадиону. После Рождества он старался не задерживаться в школе дольше положенного – приходил к первому звонку и сразу после уроков сматывался. Рэй был заинтересован в поимке убийцы не меньше, чем мои родные. Над ним по-прежнему висели подозрения, хоть у него и было алиби.

Подгадав, когда у отца не будет лекций в университете, Рэй взял его термос и залил туда приготовленный матерью сладкий чай. Он вышел из дому пораньше, расположился в секторе для толкания ядра, усевшись на металлическую скобу, служившую упором для ног, и стал поджидать Рут.

Когда она показалась за ограждением, отделявшим школу от спортивного комплекса и его самой заветной части – футбольного стадиона, Рэй потер ладони и повторил про себя то, что хотел сказать. Ему придавало храбрости вовсе не то, что он уже целовался со мной – к этой цели он шел целый год, ни больше ни меньше, – а то, что в свои четырнадцать лет он мучился от одиночества.

Я наблюдала, как Рут шагает к футбольному стадиону в полной уверенности, что там никого нет. Ее отец, разгребая мусор в каком-то старом доме, идущем на слом, нашел поэтическую антологию – ценную вещь, которая перекликалась с ее новым увлечением. Она на ходу прижи-

мала к себе эту книгу.

Когда Рэй поднялся на ноги, его стало видно издалека.

– Рут Коннорс, привет! – прокричал он, махая руками.

Рут подняла голову и узнала: Рэй Сингх. Ей мало что было о нем известно. Ходили слухи, что его пасут легавые, но Рут помнила, как выразился ее отец: «Это не детских рук дело», поэтому она безбоязненно направилась к нему.

– У меня в термосе чай горячий, сам заварил, – сообщил Рэй.

На небесах я за него покраснела. Про «Отелло» рассуждать горазд, а сейчас – дурак дураком.

– Нет, спасибо, – отказалась Рут. Она стояла перед ним, но вполне могла бы приблизиться еще на пару шагов. Ее ногти впивались в потрепанную обложку поэтического сборника.

– А ведь я тоже был тогда за сценой и слышал, как Сюзи с тобой говорила, – признался Рэй, протягивая ей термос.

Она не ответила и не сдвинулась с места.

– Сюзи Сэлмон, – уточнил он.

– Я поняла.

– Ты пойдешь на панихиду?

– Ничего об этом не знаю, – сказала она.

– Мне-то, наверно, не стоит идти.

Я не сводила взгляда с его губ, покрасневших от холода. Рут сделала шаг вперед.

– Дать тебе бальзам для губ? – предложила она.

Рэй поднес к губам вязаную перчатку, и шерстяная пряжа на миг зацепилась за легкую шершавость, которую не так давно я ощутила в поцелуе. Пошарив в кармане бушлата, Рут выудила тюбик бальзама:

– Держи. У меня таких полно. Возьми себе.

– То, что надо, – сказал он. – Может, хотя бы посидишь со мной, пока автобусы не начали подъезжать?

Они сидели рядышком в секторе для толкания ядра. А я опять видела то, что в другое время было бы от меня скрыто: как они оказались наедине. От этого меня потянуло к Рэю еще сильнее, чем раньше. У него были темно-серые глаза. Глядя с небес, я бросалась в них очертя голову.

У них сложился особый ритуал. В те дни, когда отец Рэя уезжал читать лекции, Рут приносила чуток бурбона в родительской фляжке; в остальные дни они пили сладкий чай. Холод пробирал до костей, но обоим было хоть бы что.

Они обсуждали, каково приезжему жить в Норристауне. Читали вслух стихи из антологии, которую таскала с собой Рут. Делились планами на будущее. Рэй хотел стать врачом. Рут – художницей-поэтессой. Они наметили состав тайного общества чудиков из нашего класса. Среди кандидатов были пресловутые личности, как, например, Майк Бейлз, который вогнал в себя столько наркоты, что непонятно, как его еще не выперли из школы. Или Джереми, переехавший к нам из Луизианы и потому тоже считавшийся иностранцем, почти как Рэй. А были и такие, кого не сразу раскусишь. Да хотя бы Арти, который до одурения мог рассказывать, как используется формальдегид. Или Гарри Орланд, такой застенчивый, что даже спортивные трусы натягивал поверх джинсов. Или Вики Куртц, которая вроде была нормальной, пока у нее не умерла мать, а теперь прирастала ночевать в корыте с сосновыми иголками за школьной электрощитовой – Рут своими глазами ее там видела.

Иногда разговор заходил обо мне.

– Как странно, – сказала Рут. – Мы с ней были знакомы с детского сада, а тогда, за сценой, как будто впервые друг друга увидели.

– Отличная была девчонка, – сказал Рэй. Он помнил, как соприкоснулись наши губы, когда мы оказались наедине в коридоре, возле шкафчиков. Сейчас я улыбнулась с закрытыми глазами и чуть не сбежала. – Как по-твоему, его поймают?

– Наверно, поймают. Представляешь, мы сейчас сидим в какой-то сотне ярдов от того места, где это случилось.

– Я тоже об этом подумал.

Они сидели на узком ребре металлической скобы и, не снимая перчаток, согревались горячим чаем. Кукурузное поле теперь все обходили за версту. Когда туда залетал футбольный мяч,

мальчишки собирались с духом, прежде чем за ним сбегать. В то утро солнечные лучи рассекали безжизненные стебли точно пополам, но теплее пока не стало.

– Между прочим, я их здесь нашла, – сказала Рут, показывая кожаные перчатки.

– Ты ее вспоминаешь? – спросил Рэй.

Они помолчали.

– Все время, – ответила Рут, и у меня по спине пробежал холодок. – Знаешь, иногда мне кажется, что ей повезло. Ненавижу это захолустье.

– Я тоже, – сказал Рэй. – Но я жил и в других местах. Как-никак, здесь временный ад, а там – постоянный.

– Не хочешь ли ты сказать...

– Она сейчас в раю, если, конечно, ты в это веришь.

– А ты веришь?

– Скорее, нет. Нет.

– А я верю, – сказала Рут. – Ну, конечно, не в ангелочков с крылышками, но вообще, мне кажется, рай существует.

– И ей там хорошо?

– В раю? А как же иначе?

– И что там хорошего?

Чай давно остыл, прозвенел первый звонок. Рут улыбнулась в кружку:

– Как сказал бы мой отец: хорошо уже то, что она выбралась из этого дерьма.

Когда мой папа постучался в дом Рэя Сингха, его сразила наповал мать Рэя, Руана. Не то чтобы его приход оказался очень кстати, да и настроение у нее было не самое радужное, но ее черные волосы, серые глаза и непривычные жесты произвели на него неизгладимое впечатление в ту самую минуту, когда она открыла дверь и едва заметно отстранилась.

Он слышал, как о ней походя отзывались полицейские: неприветливая, заносчивая, глядит свысока, ведет себя странно. Такой он себе и представлял хозяйку дома.

– Заходите, располагайтесь, – сказала она, когда папа представился. При звуке фамилии Сэлмон ее зашторенные глаза распахнулись, как манящие темные лабиринты.

Он чудом не споткнулся, пока шел за ней в тесную гостиную их дома. Прямо на полу корешками вверх лежали книги, в три ряда от стены. Мать Рэя была одета в желтое сари, из-под которого выглядывало нечто золотисто-парчовое, похожее на брючки-капри. Ступая по ковру босыми ногами, она подвела гостя к дивану и спросила:

– Выпьете чего-нибудь?

Он кивнул.

– Горячего? Холодного?

– Горячего.

Когда она вышла из комнаты, он опустился на диван с клетчатой обивкой в коричневых тонах. Окна, под которыми тоже выстроились книги, были задернуты длинными миткалевыми занавесками, через которые с немалым трудом пробивался дневной свет. Ему вдруг стало очень тепло; он едва не забыл, зачем пришел по этому пресловутому адресу.

Немного погодя, когда мой отец напомнил себе, что, несмотря на усталость, надо будет зайти в химчистку, как просила мама, и забрать давно готовые вещи, миссис Сингх вернулась с чайным подносом, который опустила прямо на ковер.

– К сожалению, мы пока не обзавелись мебелью. Доктор Сингх еще не зачислен в штат.

Из соседней комнаты она принесла лиловую подушку и села на пол лицом к моему отцу.

– Доктор Сингх преподает в университете? – Спросил он, хотя прекрасно это знал. Он вообще знал больше положенного об этой удивительной женщине ее скудно меблированном доме.

– Да, – только и сказала она, а потом молча разлила чай, протянула ему чашку и добавила: – Рэй был с ним в университете, когда убили вашу дочь.

Она все более притягивала его.

– Видимо, по этому поводу вы и пришли, – продолжила она.

– Именно так, – подтвердил мой отец. – Хотел с ним побеседовать.

– В такое время он в школе, – сказала она. – Вы же знаете.

Она сидела, поджав в одну сторону босые ноги в золотых шароварчиках. Ногти были длинные, без лака, загрубевающие от многолетних занятий танцами.

– Знаю, но специально пришел пораньше: хотел уверить вас, что не желаю ему зла, – сказал мой отец.

Я не спускала с него глаз. Таким я его еще не видела. Он сбрасывал бремя слов – доставленный по назначению груз залежалых имен и глаголов, а сам разглядывал ее ступни, покоящиеся на темном ковре, И маленькое пятнышко приглушенного света, которое, Пробиваясь сквозь занавески, ласкало ее правую щеку.

– На нем нет вины; он любил вашу девочку. Пусть это детское увлечение, но что было, то было.

О детских увлечениях мать Рэя знала не понаслышке. Подросток, который развозил на велосипеде газеты, возле их дома переставал крутить педали: надеялся, что она откроет дверь, заслышав, как на крыльцо со стуком падает свежий номер «Филадельфия Инкуайерер». Надеялся, что она выйдет и, заметив его, помашет рукой. Ей даже не приходилось изображать улыбку, она вообще редко улыбалась на людях – настолько красноречивы были ее глаза, осанка танцовщицы, точно выверенные движения.

Когда в дом нагрянули полицейские, рассчитывая схватить убийцу прямо в темной прихожей, Рэй не успел дойти до верхней площадки, как они уже забыли, зачем пришли: Руана сделала так, что непрошеные гости тут же уселись на шелковые подушки в ожидании чая. Они решили провести беседу в непринужденном ключе – на хорошеньких женщин это действовало безотказно, но чем больше они ей льстили, тем прямее она держала спину, и пока допрашивали ее сына, Руана неподвижно стояла здесь же, у окна.

– Отрадно, что Сюзи нравилась такому славному парнишке, – сказал мой отец. – Хочу поблагодарить вашего сына.

Руана улыбнулась, не размыкая губ.

– Он написал ей любовное послание, – сказал папа.

– Верно.

– Жаль, что я сам этого не сделал. Не сказал ей в Последний день, что люблю ее.

– Понимаю.

– А ваш сын это сделал.

– Да.

На мгновение они встретились глазами. – Не иначе как вы довели полицейских до белого каления, – сказал мой отец и улыбнулся, скорее своим мыслям, чем собеседнице.

– Они пришли, чтобы предъявить обвинение Рэю, – сказала она. – Меня ничуть не волновало, как они отнесутся ко мне.

– Мальчик, видно, натерпелся от них.

– А вот этого не нужно, – сухо произнесла она, опуская чашку на поднос.

Отец, запинаясь, пытался протестовать.

Мать Рэя подняла руки:

– Вы потеряли дочь и пришли сюда с определенной целью. Готова выслушать, но не более того. В нашу жизнь я вас не впускаю.

– Я не хотел вас обидеть, – сказал он. – Просто... Рука снова взметнулась вверх. – Рэй придет из школы минут через двадцать. Мне нужно будет его подготовить, после чего вы сможете побеседовать с моим сыном о вашей дочери.

– Да что я такого сказал?

– Хорошо, что у нас мало мебели. Это позволяет Иве думать, что когда-нибудь мы снимемся с места и уедем отсюда навсегда.

– Надеюсь, вы никуда не уедете, – возразил мой отец.

Его с детства приучили к вежливости, и меня он воспитал в том же духе, но, положив руку на сердце, ему просто не хотелось расставаться с этой женщиной, ледяной, но не холодной, твердой, но не каменной.

– Это очень любезно, – сказала она, – но вы меня совсем не знаете. Мы с вами подождем Рэя вместе.

Отец выходил из дому в разгар ссоры между Линдой и мамой.

Мама настаивала, чтобы Линдси поехала с ней на христианское собрание. Линдси в запальчивости выкрикнула: «Да я лучше сдохну!» На глазах у отца мама остолбенела, потом взо-

рвалась и бросилась в спальню, где завывала в полный голос. Тогда он потихоньку сунул в карман пиджака свой блокнот, снял с крючка ключи от машины и улизнул через задний двор.

Первые два месяца мои родители двигались по разным орбитам. Один сидел дома, другой уходил. Папа засыпал в зеленом кресле у себя в мастерской, а проснувшись, на цыпочках пробирался в спальню, чтобы юркнуть в постель. Если мама подминала под себя одеяла и простыни, он ложился не укрываясь, только подтягивал колени к подбородку, готовый вскочить по первому зову, готовый ко всему.

– Я знаю, кто ее убил, – услышал он свои слова, адресованные Руане Сингх.

– Вы сообщили в полицию?

– Сообщил.

– И что вам ответили?

– Якобы в данный момент ему нечего предъявить, кроме моих подозрений.

– Отцовские подозрения... – начала она.

– ...Будут посильнее материнского чутья.

На этот раз улыбка разомкнула ее губы.

– Он живет в нашем квартале.

– И чем вы в связи с этим занимаетесь?

– Проверяю все зацепки. – Отец понял, как это прозвучало, но было уже поздно.

– А мой сын...

– Тоже зацепка.

– Наверно, тот человек вас всерьез пугает.

– Дело не в этом: не могу же я сидеть сложа руки, – возразил отец.

– Опять все сначала, мистер Сэлмон, – сказала она. – Вы меня не понимаете. Я ведь не говорю, что вы поступили низко, придя к нам в дом. По-своему, вы поступили правильно. В этой истории вам хочется найти хоть что-то теплое, мягкое. Поиски привели вас сюда и это хорошо. Не знаю, правда, хорошо ли это для моего сына.

– Я пришел без всякой задней мысли.

– Как зовут того человека?

– Джордж Гарви. – Папа впервые произнес это имя вслух после разговора с Леном Фэнерменом.

Молча поднявшись с пола, она повернулась спиной подошла сперва к одному окну, потом к другому, чтобы отдернуть занавески. Она впускала в дом свет. Только после окончания уроков. На дороге показался Рэй.

– Рэй уже на подходе. Выйду его встретить. прошу прощения, но мне нужно обуться и накинуть пальто. – Она помолчала. – Мистер Сэлмон, на вашем месте я бы делала то же самое: искала бы встречи с теми, кто мне нужен, не сообщая всем подряд имя этого человека. А утвердившись в своей правоте, – закончила она, – я бы нашла тайный способ его убить.

Отец прислушивался к ее передвижениям. В прихожей что-то звякнуло – это она сняла с металлической вешалки свое пальто. Через пару минут отворилась и захлопнулась входная дверь. С улицы ворвался колючий ветер, потом в окно стало видно, как мать обняла сына. Они не улыбались. Их головы склонились совсем близко. Губы что-то шептали. Рэй должен был привыкнуть к мысли, что дома его поджидает мой отец.

Поначалу и маме, и мне казалось, что вся разница между Леном Фэнерменом и другими стражами порядка видна невооруженным глазом. Он был меньше ростом, чем здоровяки в форме, которые нередко его сопровождали. Но на самом деле не все различия лежали на поверхности: к примеру, он часто погружался в раздумья, избегал шуток и старался быть предельно сосредоточенным, когда говорил обо мне и о подробностях этого дела. Но в беседе с моей матерью Лен Фэнермен проявил основную черту своей натуры: оптимизм. Он верил, что убийца будет пойман.

– Возможно, не сегодня и не завтра, – говорил он, – но когда-нибудь он себя выдаст. Такие типы не способны сдерживать свои наклонности.

Пока отец был у Сингхов, маме пришлось занимать Лена Фэнермена беседой. В столовой, где мама предусмотрительно расстелила оберточную бумагу, были разбросаны фломастеры Бакли. Мой братишка и его приятель Нейт малевали свои каракули до тех пор, пока не начали кле-



вать носом, и мама, взяв в охапку сначала одного, потом другого, перенесла их на диван. Там она уложила их валетом, и они сладко уснули, даже не соприкасаясь ступнями в середине.

Лен Фэнермен тактично перешел на шепот, хотя, по маминым наблюдениям, не отличался особой любовью к детям. Он смотрел, как она переносит мальчишек на диван, но не порывался помочь или высказаться, в отличие от других полицейских, которые судили о матери по ее детям, живым и мертвым.

– Джек хочет с вами поговорить, – сообщила мама. – Но у вас, видимо, нет времени его дожидаться.

– Время пока есть.

Я видела, как у нее из-за уха выбилась непослушная прядь черных волос. От этого ее лицо смягчилось. Лен тоже это заметил.

– Он пошел к этому Рэю Сингху, без вины виноватому, – сообщила мама, убирая прядку за ухо.

– Что поделаешь, пришлось его допросить, – сказал Лен.

– Понимаю. Конечно, никакой подросток не способен... – Она осеклась, и Лен не стал переспрашивать.

У него стопроцентное алиби. [Мама взяла со стола фломастер. Лен следил, как она рисует человечков и собак. Бакли с Нейтом мирно посапывали на диване. Мой свернулся калачиком и, лежа в позе эмбриона, засунул в рот большой палец. Мама всегда говорила, что мы сообща должны помочь ему избавиться от этой привычки. Но сейчас она позавидовала его безмятежности. – Вы – как моя жена, – сказал Лен после долгой паузы, когда мама успела нарисовать оранжевого пуделя и какого-то уродца, похожего на синюю лошадь под пытками.

– Так же неспособна к рисованию?

– Если не о чем говорить, она всегда помалкивала.

Прошло еще несколько минут. Желтый кружок – солнце. Коричневый домик и цветочки у порога – розовые, голубые, лиловые.

– Почему в прошедшем времени?

Стукнула дверь гаража.

– Она умерла вскоре после нашей свадьбы, – сказал Лен.

– Папа! – завопил Бакли и соскочил с дивана, забыв про Нейта и про все на свете.

– Сочувствую вам, – сказала мама Лену Фэнермену.

– Я тоже вам сочувствую, – отозвался он. – Мне очень жаль Сюзи. Честное слово.

У задней двери папа приветствовал Бакли и Нейта оглушительными воплями и криком: «Кислород перекрыли!» Так он говорил каждый раз, когда мы видели у него на шее. Хотя в таком веселье сквозила натужность, ради моего брата он старался поднять себе настроение, и это было лучшей частью долгого дня.

Мама не сводила глаз с Лена Фэнермена, пока отец шел по коридору. Беги к раковине, хотелось мне сказать ей, смотри в сток, смотри в землю. Я внизу – жду. Я наверху – слежу.

Не кто иной, как Лен Фэнермен догадался попросить у мамы мою школьную фотографию, когда полицейские еще думали найти меня в живых. В бумажнике он носил целую стопку таких фотографий. Среди этих погибших детей и неопознанных лиц лежало фото его жены. Когда ему удавалось раскрыть преступление, он записывал дату на обороте соответствующего снимка. Если дело еще предстояло распутывать, хотя по официальным сводкам оно могло быть закрыто, обратная сторона оставалась пустой. На обороте моего снимка не было никаких пометок. Как и на обороте снимка его жены.

– Лен, приветствую, – сказал папа. Холидей терся у его ног в ожидании хозяйской ласки.

– Говорят, вы ходили к Рэю Сингху, – сказал Лен.

– Мальчики, идите-ка в детскую, поиграйте там, – распорядилась мама. – Детективу Фэнермену нужно поговорить с нашим папой.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

– Видишь ее? – спросил Бакли, когда они с Нейтом поднимались по ступенькам в компании Холидея. – Это моя сестра.

– Не-а, – сказал Нейт.

– Она куда-то уезжала, а теперь вернулась. Бежим!

И все втроем – двое мальчишек и пес – преодолели последний пролет с новыми силами. Я никогда не позволяла себе слишком настойчиво думать о Бакли – боялась, как бы он не увидел мое лицо в зеркале или в крышечке от бутылки. Мы все его оберегали. – Он еще слишком мал, – делилась я с Фрэнни.

– А откуда, по-твоему, берутся мечты о верных друзьях? – спрашивала она.

Мальчишки немного посидели в родительской спальне, под висевшим в рамочке на стене оттиском какого-то надгробья. Само надгробье находилось на одном из лондонских кладбищ. Мама рассказывала нам с Линдси историю о том, как они с папой раздумывали, чем бы украсить стены, и во время медового Месяца повстречали некую старушку, которая научила их снимать оттиски с надгробных камней. К тому времени, как мне стукнуло десять лет, большинство этих шедевров отправили на хранение в подвал, а оставшиеся от них пятна на наших мещанских обоях закрыли яркими эстампами, полезными для детского развития. Но нам с Линдси больше нравились старые оттиски, особенно тот, под которым сейчас примостились Бакли с Нейтом.

Мы с Линдси не раз играли под ним на полу. Я лежа вытягивалась во весь рост, в точности как рыцарь на той картинке, а Холидей был верным псом, которому полагалось свернуться калачиком в ногах у хозяина. Линдси брала на себя роль жены, напрасно ожидающей супруга домой. Действие начиналось на возвышенной ноте, но вскоре мы не выдерживали – начинали давиться со смеху. Линдси говорила убиенному рыцарю, что жена должна жить дальше, а не томиться в ловушке, которая захлопнулась с его кончиной. Я изображала негодование, но меня хватало ненадолго. Наконец Линдси принималась описывать своего нового возлюбленного: это был толстый мясник, который оставлял ей лучшую филейную вырезку, или искусный кузнец, который ковал для нее крючки. «Ты покойник, рыцарь, – приговаривала она. – А мне надо жить дальше».

– Она пришла ночью и поцеловала меня в щеку, – сказал Бакли.

– Врешь.

– А вот и нет.

– Честно?

– Ага.

– А твоя мама знает?

– Это тайна, – ответил Бакли. – Сюзи сказала, ей еще рано с ними говорить. Хочешь, чего-то покажу?

– Давай.

Вскочив с пола, они побежали на детскую половину, а Холидей остался спать под оттиском могильного камня.

– Иди сюда, – позвал Бакли.

Они стояли в моей комнате. Мамину фотографию забрала Линдси. Поразмыслив, она зашла туда еще раз, чтобы унести к себе значок «Хиппи за любовь».

– Комната Сюзи, – догадался Нейт.

Бакли зажал рот ладошкой – так делала мама, когда нельзя было шуметь. Он лег на живот, дал знак Нейту последовать его примеру, и они по-пластунски, не хуже Холидея, поползли сквозь ключья пыли под кровать, к моему тайнику.

В обивке пружинного матраса снизу зияла дыра, куда можно было засовывать вещи, не предназначенные для посторонних глаз. Мне приходилось гонять Холидея, иначе он бы непременно разодрал холст и вытащил мои сокровища. Именно это и случилось ровно через сутки после моего исчезновения. Родители обыскали комнату в надежде найти какую-нибудь записку, а потом оставили дверь открытой. Холидей польстился на мой запас лакрицы. Теперь под кроватью в беспорядке валялись заветные предметы, и один из них могли опознать только Бакли и Нейт. Бакли развернул старый папин носовой платок и вытащил древесный сучок, весь в пятнах запекшейся крови.

Год назад трехлетний Бакли его проглотил. У нас на заднем дворе они с Нейтом развлекались тем, что засовывали себе в нос камешки, а Бакли подобрал сучок, к которому мама раньше привязывала бельевую веревку. Он взял находку в рот, как сигарету. Выбравшись из окна своей комнаты, я присматривала за ним с крыши, а заодно мазала ногти на ногах ярко-алым клариссиным лаком и читала журнал «17».

Меня вечно заставляли нянчиться с братом. Линдси, внушали мне, еще до этого не дорос-

ла. К тому же она у нас была вундеркиндом, и потому ей разрешалось, как, например, в тот летний день, часами сидеть над листом миллиметровки и прорисовывать с точностью до мельчайших деталей глаз стрекозы при помощи набора из ста тридцати фломастеров «Призма».

Погода стояла приятно теплая, как-никак уже наступило лето, и я собиралась извлечь пользу из своего домашнего ареста – заняться собой. Для начала с утра пораньше приняла душ, вымыла голову и подержала лицо над паром. Выбравшись из окна, обсохла на ветерке и стала красить ногти.

Когда я уже нанесла два слоя лака, на кисточку села муха. Мне было слышно, как во дворе Нейт выкрикивает какие-то подначки и команды, но я только сощурилась и стала разглядывать выпуклые сетчатые глаза насекомого, подобные тем, что выводила Линдси, прохладаясь дома. Налетевший ветерок шевелил бахрому на моих джинсах с обрезанными штанинами.

– Сюзи, Сюзи! – завопил Нейт.

Поглядев вниз, я увидела, что Бакли лежит на земле.

Когда мы с Холли обсуждали возможности спасения жизни, я всегда возвращалась к тому случаю. Для меня спасение жизни было делом реальным, а для нее – нет.

Рванувшись к открытому окну, я, не разбирая дороги, приземлилась одной ногой на низкий табурет для рукоделия, другой – на вязаный коврик, грохнулась на колени и мгновенно взяла низкий старт, как заправская спортсменка. Пулей вылетела в коридор и съехала по перилам, что нам строжайше запрещалось. Позвала было Линдси, но тут же о ней забыла, прыгнула с крыльца во двор, перескочила через собачью выгородку и стремглав кинулась к дубу.

Бакли задыхался и корчился; подхватив его на руки, не обращая внимания на семенящего следом Нейта, я понеслась в гараж, где стоял дорожный отцовский «Мустанг». Мне случалось наблюдать, как родители им управляли, а мама даже показывала, как включать переднюю передачу. Уложив Бакли на заднее сиденье, выудила ключи из глиняного горшка – туда их прятал отец. В больницу я гнала на предельной скорости, сожгла ручной тормоз, но этого, кажется, никто не заметил.

– Если бы не она, – сказал потом доктор нашему отцу, – вы бы потеряли сына.

Бабушка Линн пророчила мне долгую жизнь, потому что я спасла жизнь другому. Как всегда, бабушка Линн несла околесицу.

– Ничего себе! – прошептал Нейт, держа в руках сучок и поражаясь, как со временем почернела кровь.

– Вот так, понял? – сказал Бакли.

Его слегка затошнило, когда он вспомнил тот случай. Как ему было больно, как помрачнели лица взрослых, собравшихся вокруг огромной больничной кровати. В его жизни только однажды был другой случай. Когда он видел взрослых в такой тревоге. Но если тогда, в больнице, глаза докторов сначала потемнели, а потом засветились от радости и облегчения, то теперь глаза наших родителей погасли и уже никогда не светились.

На меня в тот день накатила слабость. Сидя у себя на небесах в наблюдательной башне, я откинулась на спинку кресла и открыла глаза. Было темно; передо мной стоял большой дом, где я никогда не бывала.

В детстве я читала книжку «Джеймс и гигантский персик»<sup>5</sup>. Дом был похож на особняк тетушек из этой сказки. Громоздкий, сумрачный, старомодный. На крыше виднелась площадка, обнесенная перильцами. Пока глаза не привыкли к темноте, мне казалось, что там стоят рядком какие-то женщины и показывают пальцами в мою сторону. Но очень скоро я разглядела нечто совсем другое. Рассевшись на перилах, в мою сторону смотрели вороны, и каждая держала в клюве корявый сучок. Стоило мне подняться с кресла, чтобы вернуться к себе в квартиру, как они взмыли в воздух и закружили у меня над головой. Неужели мой братишка и вправду меня видел? Или, как все дети, сочинял красивые небылицы?

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На протяжении трех месяцев мистер Гарви грезил о различных постройках. Он видел юго-

<sup>5</sup> Выпущенная в 1961г. повесть-сказка Роальда Даля (1916-1990)

славские доски на сваях, к которым снизу подступает разбушевавшаяся стихия. А над соломенными крышами – безоблачное небо. По берегам норвежских фьордов, среди укрытых от глаза долин перед ним вставали сработанные мореходами-викингами деревянные церкви из корабельного теса. Деревянные драконы, герои старинных преданий. На больше всего ему приглянулась постройка из Вологды: Преображенская Церковь. Это излюбленное им видение посетило его в ночь моего убийства, а потом еще несколько раз, пока на смену не пришли другие сны. А может, полусны: женщины и дети.

Я видела всю его жизнь, начиная с того времени, когда мать еще носила его на руках и, склоняясь над столом, показывала россыпи битого стекла. Его отец сортировал осколки по форме и размеру, по весу и степени прозрачности. Наметанный глаз ювелира выискивал трещины и прочие дефекты. Но Джорджа Гарви завораживало одно-единственное украшение, висевшее на шее у матери: оправленный в серебро овальный кусок янтаря с настоящей мухой внутри.

«Строитель» – это было первое слово, которое в детстве научился выговаривать мистер Гарви. Став постарше, он просто отмалчивался, когда его спрашивали о профессии отца. Мыслимо ли признаваться, что отец работает в пустыне, где строит хижины из битого стекла и старых досок? Впрочем, именно он объяснил Джорджу Гарви, что значит добротное строение и как сделать постройку долговечной.

Неудивительно, что в своих полуснах мистер Гарви видел отцовские наброски. Он переносился в воображаемые земли и миры, пытаясь полюбить то, к чему у него не было любви. А потом он видел сны о матери, в которых она была такой, как в последний раз, когда бежала через поле, тянувшееся вдоль дороги. Вся в белом. Белые короткие брюки, облегающий белый джемпер с вырезом-лодочкой. Это было к юго-западу от Нью-Мехико, когда они с отцом в последний раз поругались в раскаленной машине. Он вытолкнул ее на обочину. На заднем сиденье застыл с выпученными глазами Джордж Гарви, превратившийся в камень. Страх не было – камню не бывает страшно, а виделось ему с некоторых пор все одинаково: как в замедленных кинокадрах. Она бежала не останавливаясь, и тоненькая, хрупкая белая фигурка становилась все меньше, а он прижимал к себе янтарную подвеску, которую она успела сорвать с шеи, чтобы сунуть ему в руку. Отец смотрел на дорогу. «Она ушла, сын, – проговорил он. – И больше не вернется».

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Моя бабушка прилетела вечером, накануне панихиды. Как всегда, она взяла напрокат лимужин, сама Вела за руль и по дороге из аэропорта прихлебывала шампанское, кутаясь в «фантастическое меховое манто» – так она называла потертую норковую шубу, купленную на благотворительной распродаже. Нельзя сказать, чтобы мои родители настаивали на ее приезде, но, когда она изъявила такое желание, противиться не стали. Инициатива проведения прощальной церемонии исходила от директора Кейдена, который в конце января сказал моим родителям: «Это пойдет на пользу и вашим детям, и всем учащимся». Он взял на себя организацию панихиды в нашей церкви. Мои родители, как сомнамбулы, отвечали на все его вопросы «да» и кивали, слушая перечень венков и речей. Когда мама по телефону рассказала об этом бабушке, та неожиданно заявила: «Я прилечу».

– В этом нет необходимости, мама.

На другом конце провода наступило молчание.

– Абигайль, – сказала бабушка после долгой паузы. – Это же проводы Сюзи.

Мама стеснялась бабушки Линн, потому что та неизменно расхаживала по дому в мехах и еще как-то раз явилась покрашенной до неприличия на уличный праздник. Там она измучила маму вопросами: кто да что, к кому из соседок она вхожа в дом, чем занимаются их мужья, у кого какая машина. Не успокоилась, пока не расставила всех по ранжиру. Теперь я понимаю: она хотела лучше понять свою родную дочь – просто выбрала такой способ. Кружение вокруг да около, скучный танец в одиночку.

– Джеки – и – и, – пропела бабушка, выходя из машины навстречу моим родителям, стоявшим на крыльце, – налей-ка нам чего-нибудь крепенького! – Тут ей на глаза попала Линдси, которая юркнула к себе наверх, чтобы хоть на несколько минут оттянуть родственную встречу. – Эта пигалица от меня нос воротит! – На лице бабушки Линн застыла улыбка, открывающая неправдоподобно белые зубы.

– Что ты, мама, – произнесла моя мама, и мне захотелось окунуться в эти печальные глаза-океаны. – Линдси просто решила привести себя в порядок.

– В этом доме такое невозможно! – объявила бабушка Линн.

– Линн, – вступился папа, – в этом доме теперь все не так, как прежде. Мы ждем от вас понимания, но если хотите выпить, у меня найдется, что вам предложить.

– Джек у нас, как всегда, чертовски хорош собой, – сказала бабушка.

Мама приняла у бабушки шубу. Холидея заперли в папиной мастерской, как только Бакли прокричал со своего наблюдательного поста у верхнего окна: «Едет!» Мой брат хвастался Нейту и всем прочим, что его бабушка ездит на самых больших машинах во всем мире.

– Чудесно выглядишь, мама, – сказала моя мама.

– Х-м-м-м-м. – Воспользовавшись тем, что отец отошел, бабушка спросила: – Как он? – Мы все стараемся крепиться, но это нелегко. – Он все еще талдычит, что убил тот сосед?. – Ну да, он так считает.

– Вас засудят, дождетесь, – сказала бабушка.

– Он же никому не говорил, только следователю.

Им было невдомек, что моя сестра сидит у них над головами – на верхней ступеньке лестницы.

– И правильно. Нет, все понятно, он хочет найти козла отпущения, но...

– Линн, бурбон или мартини? – спросил через открытую дверь отец.

– А ты что будешь?

– Вообще-то я сейчас не пью, – сказал папа.

– Ну, дело твое. А я выпью. Слава богу, хоть спиртное в доме не перевелось!

Без своего фантастического мехового манто бабушка была худа, как щепка. «Не разъедалась, – повторяла она, когда в мои одиннадцать лет учила меня уму-разуму. – Ты не разъедайся, голубушка, потом жир не согнать будет. Люди вслух скажут – пухленькая, а про себя подумают – толстуха». Они с мамой даже поссорились, когда решали, не пора ли давать мне таблетки для снижения веса – ее личной панацеи, как она их называла. «Я предлагаю твоей дочке свою личную панацею, а ты против?»

При моей жизни все бабушкины поступки были нелепыми. Но в тот день, когда она, став первой за долгое время гостей, прикатила на арендованном лимузине и ворвалась к нам в дом, что-то разительно изменилось. Невзирая на весь показной шик, она несла с собой проблески света.

– Тебе самой будет не управиться, Абигайль, – сказала бабушка после обеда, впервые приготовленного мамой после моего исчезновения.

Мама удивилась. Она уже надела голубые резиновые перчатки, набрала в раковину воды с пеной и приготовилась мыть посуду. Линдси стояла на подхвате с кухонным полотенцем. Мама решила, что бабушка сейчас поручит Джеку сделать для нее коктейль.

– Спасибо, мама, что ты обо мне подумала.

– Не стоит благодарности, – ответила бабушка. – Сейчас принесу волшебный чемоданчик.

– А, да, волшебный чемоданчик, – оживилась Линдси, которая за обедом не проронила ни слова.

– Мама, умоляю! – запротестовала моя мама, когда бабушка Линн вернулась из прихожей.

– Ну-ка, ребята, живо убирайте со стола и усаживайте мать к свету. Надо привести ее в бо-жеский вид.

– Это совершенно некстати, мама. У меня гора немытой посуды.

– Абигайль, – упрекнул папа.

– Нет, ни за что. Если она тебя подпоила, это еще не значит, что меня можно подвергать пыткам.

– Я ведь не пьян.

– Но уже улыбаешься.

– Под суд его за это, – изрекла бабушка Линн. – Бакли, хватай мать за руку и тащи сюда.

Моего брата не пришлось долго уговаривать. Его развеселило, что кто-то может командовать его мамой.

– Бабушка Линн, – робко позвала Линдси.

Бакли тащил маму к столу, где бабушка уже приготовила для нее стул.

– Что, детка?

– Научишь меня краситься?

– Боже праведный, силы небесные, конечно на-  
Усадив маму на стул, Бакли забрался к ней на колени:

– Мамочка, что с тобой?

Да ты никак смеешься, Абби? – с улыбкой заметил отец.

Так оно и было. Она смеялась и плакала одновременно.

– Сюзи была чудесной девочкой, – сказала бабушка Линн. – Вся в тебя, солнышко мое. – И без всякого перехода: – Выше подбородок. Дай-ка подумать, как нам убрать эти мешки под глазами.

Бакли перебрался на кресло.

– Смотри, Линдси, вот это – щипчики для подкручивания ресниц, – объясняла бабушка. – Странно, что мама тебя ничему не научила.

– У Клариссы точно такие же, – сказала Линдси.

Бабушка наложила маме на веки маленькие резиновые валики, и мама, не понаслышке знакомая с этой манипуляцией, подняла глаза к потолку.

– А ты поговорила с Клариссой? – спросил папа.

– Поговоришь с ней, как же, – сказала Линдси. – Прилипла к этому Брайану Нельсону. У них уже столько прогулов – доиграются.

– Это вряд ли, – усомнился папа. – Кларисса звезд с неба не хватает, но и неприятностей на свою голову не ищет.

– Мы с ней как-то столкнулись в школе, так от нее разило травкой!

– Надеюсь, ты этим не увлекаешься, – сказала бабушка Линн, прикончив свой бурбон и с грохотом опуская стакан на стол.

– Смотри сюда, Линдси. Видишь, когда у твоей матери загнуты ресницы, глаза сразу становятся больше.

Линдси попыталась представить свои собственные ресницы, но вместо этого увидела ресницы Сэмюэла Хеклера, усыпанные звездочками талых снежинок, и его лицо, готовое к поцелую. Зрачки у нее ожили, стали темными и блестящими, как спелые маслины.

– Я сражена наповал! – Бабушка Линн подбоченилась, не выпуская из пальцев щипчики.

– А что?

– Линдси Сэлмон, у тебя есть мальчик! – громогласно объявила бабушка Линн.

Папа улыбнулся. Он вдруг потеплел к бабушке Линн. И я тоже.

– А вот и нет, – сказала Линдси.

Бабушка уже открыла рот, но мама ее опередила, шепнув:

– А вот и есть.

– Слава богу, детка, – сказала бабушка. – У тебя непременно должен быть мальчик. Вот сейчас разделаюсь с твоей матерью и устрою тебе показательный сеанс бабушки Линн. Джек, приготовь-ка мне аперитивчику.

– После обеда аперитив не... – начала моя мама.

– Не учи меня, Абигайль!

Бабушка была в ударе. Она размалевала Линдси, как клоуна, или, по выражению самой бабушки Линн, «как дорогую путану». Про папу она сказала: «в приятном подпитии». Но самое поразительное – моя мама легла спать, оставив в раковине гору невымытой посуды.

Когда всех сморил сон, Линдси пошла в ванную и остановилась перед зеркалом. Она частично стерла румяна, промокнула салфеткой губы и провела пальцами по припухшим надбровным дугам, где совсем недавно красовались ее густые брови. В зеркале она увидела то же, что и я: взрослую девушку, которая способна за себя отвечать. Скрытое под слоем косметики лицо, которое она до последнего времени считала своим, теперь напоминало людям обо мне. Карандаш для губ и подводка для век сделали ее черты более выразительными: глаза и рот казались диковинными драгоценностями из дальних стран, где все цвета поражают яркостью, какой не ведал наш дом. Бабушка не обманула: глаза теперь сверкали синевой. Новая линия бровей изменила овал лица. Румяна позволили оттенить скулы. («Где и так тень, надо оттенить еще резче», – поучала бабушка.) Но главное – губы: они могли придать лицу какое угодно выражение. Линдси надулась, потом поцеловала воздух, потом расплылась в улыбке, будто выпила не меньше ба-

бушки, затем потупилась, как благонравная прихожанка, но краем глаза следила, какой получается вид, если прикинуться благонравной. Потом она вернулась к себе в комнату и всю ночь спала на спине, оберегая свое новое лицо.

Миссис Бетель Утемайер была единственной покойницей, которую довелось увидеть нам с сестрой. Когда она вместе со своим взрослым сыном переехала в наш район, мне исполнилось шесть лет, а Линдси – пять.

Моя мама говорила, что эта женщина частично лишилась рассудка и порой уходит из дому, а потом не может вспомнить, где живет. Случалось, она забредала к нам в сад, останавливалась под кизилевым деревом и смотрела на улицу, как будто ждала автобус. Мама вела ее в кухню, поила чаем и, как могла, успокаивала, а потом звонила ее сыну, чтобы сообщить, где находится его мать. Если телефон не отвечал, миссис Утемайер часами просиживала за нашим кухонным столом, глядя в одну точку. Мы приходили из школы и заставляли эту картину. Сидит. Улыбается. А то еще называла Линдси «Натали» и тянула руку, чтобы погладить до головы.

Когда она умерла, ее сын попросил нашу маму привести нас с Линдси на похороны. «Почему-то моя мать с особой нежностью относилась к вашим девочкам», – написал он.

– Она даже не знала, как меня зовут, – ныла Линдси, пока мама застегивала бесчисленные пуговицы на ее темном платье.

«Очередной бесполезный подарок от бабушки Линн», – говорила про себя мама.

– Но тебя она хоть как-то называла, – сказала я.

Была пасхальная неделя; она выдалась необычайно теплой. Под ногами оставались только самые неподатливые плашки снега, а на кладбище при церкви, которую посещали Утермайеры, у основания надгробий еще белели снежные холмики, зато местами уже пробивались лютики.

Их церковь была необычной. «Англиканско-католическая», – объяснил папа в машине. Нас с Линдси это ужасно рассмешило. Папа сначала отказывался ехать на эти похороны, но у мамы перед рождением Бакли был такой огромный живот, что она не смогла втиснуться за руль. Вообще говоря, беременность причиняла ей массу неудобств, и мы с Линдси старались не попадаться маме на глаза, чтобы нас не загружали по хозяйству.

Зато ее положение позволяло ей пропустить то, что бредило душу нам с Линдси днями напролет и еще долго снилось мне по ночам: прощание с телом. Ясно было, что мои родители против, но мистер Утемайер сам бросился к нам, когда настало время обходить вокруг гроба.

– Которая из вас Натали? – спросил он.

Мы как в рот воды набрали. Потом я показала пальцем на Линдси.

– Умоляю тебя, подойди проститься, – сказал он.

Он него тянуло духами, более приторными, чем женские, которыми изредка душилась моя мама. Этот запах ударил мне в нос – как оттолкнул, я чуть не заплакала.

– Ты тоже можешь подойти, – обратился он ко мне и протянул руки, чтобы увлечь нас вперед по проходу.

Это была не миссис Утемайер. А что-то другое. Но и миссис Утемайер тоже. Я старалась смотреть только на кольца, поблескивающие у нее на пальцах.

– Мама, – произнес мистер Утемайер, – я привел девочку, которую ты звала Натали.

Как мы с Линдси потом другу другу признались, каждая из нас подозревала, что миссис Утемайер вдруг заговорит, и каждая решила в таком случае схватить сестру за руку и бежать от туда сломя голову.

За пару мучительных секунд прощание было окончено, и нас отпустили к папе с мамой.

Впервые заметив миссис Бетель Утемайер на небесах, я не особенно удивилась; не стала для меня потрясением и другая встреча, когда она гуляла за руку с маленькой белокурой девочкой, которую представила мне как свою дочку Натали.

Наутро перед моей панихидой Линдси вышла из спальни в самую последнюю минуту. С остатками косметики она не хотела попадаться маме на глаза и умылась. Еще она убедила себя, что вполне можно взять какое-нибудь платье из моего шкафа. И что я не против.

Но подсматривать за ней было неловко.

Она отворила дверь ко мне в комнату, как в склеп, который, впрочем, в феврале уже не был тайной за семью печатями, хотя домашние – и мама, и папа, и Бакли, и сама Линдси – не признавались, что туда входили, и уж тем более помалкивали, если кое-что оттуда брали и не собирались возвращать. Как слепцы, они не замечали оставленных другими следов. Если в комнате об-

наруживался какой-то беспорядок, доставалось за это Холидею, хотя в большинстве случаев пес был явно ни при чем.

Линдси хотела, чтобы Сэмюел увидел ее красивой. Раздвинув створки моего стенного шкафа, она обвела глазами кое-как сваленные вещи. Я никогда не отличалась особой аккуратностью; если мама требовала навести порядок, мне проще было собрать в охапку все, что разбросано на кровати или на полу, и запихнуть это в шкаф.

Когда мне покупали какие-нибудь обновки, Линдси мечтала немедленно их заполучить, но вынуждена была donaшивать за мной.

– Ничего себе, – шепнула она в темноту моего стенного шкафа. Ей было и стыдно, и радостно оттого, что все это богатство теперь достанется ей.

– Ау! Тут-тук, – раздался голос бабушки Линн. Линдси отпрянула.

– Извини за вторжение, дорогуша, – сказала бабушка. – Мне послышалось, ты сюда заходила.

Бабушка нарядилась в платье, про которое мама бы сказала: «в стиле Жаклин Кеннеди». Моя мама не могла взять в толк, почему ее родная мать совершенно не раздается в бедрах: надевает платье прямого покроя – и оно сидит на ней как влитое, даром что ей шестьдесят два года.

– Что ты хотела? – спросила Линдси.

– Молнию не могу застегнуть. – Бабушка Линн повернулась спиной, и Линдси увидела то, чего никогда не видела у нашей мамы: черную «грацию».

Стараясь не касаться ничего, кроме металлического язычка, Линдси застегнула молнию.

– Там еще крючок с петелькой, – подсказала бабушка Линн. – Справишься?

Вокруг бабушкиной шеи витали ароматы пудры и «панели» номер пять.

– Вот для таких целей и нужен мужчина – что бы самой не корячиться.

Ростом Линдси уже догнала бабушку и продолжала тянуться вверх. Когда она взялась одной рукой за крючок, а другой – за петельку, у нее перед глазами оказались тонкие выветленные завитки. А по шее и по спине сбегал вниз седой пушок. Застегнув платье, Линдси не двинулась с места.

– Я уже не помню, как она выглядела.

– Что? – обернулась бабушка Линн.

– Забыла, – повторила Линдси. – Понимаешь, не могу вспомнить, какая у нее была шея – может, я и не смотрела?

– Солнышко мое, – сказала бабушка Линн, – иди ко мне. – Она раскрыла объятия, но Линдси, повернувшись спиной, уставилась в стенной шкаф.

– Мне нужно хорошо выглядеть.

– Ты выглядишь прелестно, – объявила бабушка Линн.

У Линдси перехватило дыхание. Что – что, а пустые комплименты бабушка Линн раздавать не любила. Ее похвалы, всегда неожиданные, были на вес золота.

– Сейчас мы тебе найдем что-нибудь подходящее.

Она приблизилась к шкафу. В выборе одежды бабушке Линн не было равных. Когда ее редкие визиря совпадали с началом учебного года, она вела нас с сестрой в магазин. Мы с восхищением следили за ее проворными пальцами, которые бегали по вешалкам, как по клавишам. Вдруг, замешкавшись на какую-то ролю секунды, она вытаскивала платье или блузку. Ну, как? – спрашивала она. И каждый раз наводка оказывалась идеальной.

Сейчас она перебирала мои разрозненные вещи, выдергивала одну за другой и прикидывала на фигуру Линдси, ни на минуту не умолкая:

– Твоя мать в ужасном состоянии, Линдси. Никогда ее такой не видела.

– Бабушка!

– Тихо, не сбивай меня.

Она выхватила мое любимое платье, которое я надевала только в церковь. Из тонкой черной шерсти, с круглым отложным воротничком. Мне еще нравилось, что у него просторная, длинная юбка: во время службы можно было сидеть нога на ногу, и оборки ниспадали почти до пола.

– Откуда у нее эта хламида? – спросила бабушка. – Отец твой тоже хорош: сам себя гложет.

– Кто этот сосед, про которого ты спрашивала маму?



Бабушка обмерла:

– Какой еще сосед?

– Ты спрашивала: неужели папа все еще думает, что убил тот сосед? Кого ты имела в виду?

– Вуаля! – Бабушка Линн держала перед собой темно-синее бархатное мини-платье, которого моя сестра никогда не видела. Его дала мне поносить Кларисса.

– Слишком короткое, – усомнилась Линдси.

– Не верю своим глазам, – тараторила бабушка Линн. – Раз в кои веки твоя мать купила дочке стильную вещь!

Снизу раздался папин голос: до выхода оставалось десять минут.

Бабушка Линн заметалась. Она помогла Линдси натянуть через голову синее платье, сбегала к ней в комнату за туфлями и уже внизу, при ярком верхнем свете, подправила тушь и подводку. Напоследок она достала компактную пудру и легонько провела ватным шариком снизу вверх по щекам Линдси. И только, когда мама стала возмущаться коротким платьем Линдси, подозрительно глядя на бабушку, мы с сестрой заметили, что на бабушкином лице нет и следа косметики. Бакли втиснулся между ними на заднее сиденье и, когда машина уже подъезжала к церкви, поинтересовался, что такое делает бабушка Линн.

– Если не успеваешь подрумяниться, нужно хоть как-то оживить цвет лица, – объяснила она, и Бакли, как обезьянка, начал щипать себя за щеки.

Сэмюел Хеклер стоял у каменных столбиков, обрамлявших подход к церкви. Он был весь в черном; рядом стоял его брат, Хэл, в потрепанной кожаной куртке, которую давал Сэмюелу надеть на Рождество.

Брат был негативной копией Сэмюела. Загорелый, с обветренным лицом, задубевшим от гонок на мотоцикле по окрестным дорогам. Завидев нашу семью, Хэл поспешил отойти в сторону.

– Не иначе как вы – Сэмюел, – обратилась к нему бабушка Линн. – А я – пресловутая бабушка.

– Не задерживайтесь, – сказал папа. – Рад видеть тебя, Сэмюел.

Линдси и Сэмюел пошли впереди; бабушка, чуть подотстав, зашагала рядом с мамой. Единным фронтом.

Детектив Фэннермен, облачившийся в костюм из жесткой ткани, стоял у входа. Он кивнул моим родным и, как мне показалось, задержал взгляд на маме.

– Присоединитесь к нам? – спросил папа.

– Благодарю вас, – ответил Лен, – но мне лучше находиться поодаль.

– Понимаю.

В дверях уже было не протолкнуться. Я бы все отдала, чтобы змейкой залезть папе на спину, обвить его шею, зашептать на ухо. Но я и так уже была с ним, во всех его порах и морщинах.

Проснувшись с похмелья, он повернулся на бок и стал наблюдать за мамой, которая дышала неглубоко и часто. Обожаемая жена, его чудо-девочка. Ему хотелось протянуть руку, осторожно убрать с ее лица пряди волос, поцеловать, но она спала, а значит, отдыхала. Со времени моей смерти он вступал в каждый новый день, как на минное поле. Но, положив руку на сердце, день моей панихиды обещал быть не самым худшим. По крайней мере, все по-честному. По крайней мере, каждый шаг будет определяться их общим горем – моим исчезновением. Сегодня можно не притворяться, будто дома все нормально – что значит «нормально»? Сегодня ни ему, ни Абигайль не нужно прятать скорбь. Но он уже знал, что с момента ее пробуждения и до поздней ночи будет отводить глаза, потому что не сможет увидеть в ней ту женщину, которую знал до того, как пришла весть о моей гибели. По прошествии двух месяцев это событие уже стало отходить на задний план – для всех, но не для нашей семьи. И не для Рут.

Рут пришла со своим отцом. Они стояли в углу, возле накрытого стеклянным колпаком полтира, который во времена Гражданской войны, когда в церкви устроили госпиталь, успел послужить медицине. Мистер и миссис Дьюитт вели с ними вежливую беседу. В домашнем кабинете у миссис Дьюитт лежало стихотворение Рут. В понедельник она собиралась показать его психологу. Стихотворение было обо мне.

– Моя жена вроде бы поддерживает директора Кейдена, – говорил отец Рут. – Что, мол, панихида ребят успокоит.

– А вы не согласны? – спросил мистер Дьюитт.

– Я так скажу: нечего беречь раны, и семью лучше оставить в покое. Да вот Рути захотела проститься.

Рут наблюдала, как мои родители кивают знакомым, и ужасалась вызывающей внешности Линдси. Рут вообще не любила тех, кто красился. Считала, что прибегать к косметике для женщины унизительно. Сэмюел Хеклер держал Линдси за руку. Рут вспомнила Термин из феминистской литературы: подчинение. Но тут я заметила, что ее вниманием завладел Хэл Хеклер, который, затягиваясь сигаретой, стоял снаружи Иод окном, возле самых старых могил. – Рути, – окликнул ее отец, – что там такое? Она спохватилась и подняла глаза на отца:

– Где?

– Ты смотрела в никуда, – сказал он.

– Кладбище красивое.

– Ах, доченька, ангел ты мой, – проговорил ее отец. – Давай-ка зайдем места получше, пока еще есть возможность.

Кларисса тоже была в церкви, рядом с оробевшим Брайаном Нельсоном, который по такому случаю вырядился в отцовский костюм. Она направилась к моим родным, и, завидев это, директор Кейден и мистер Ботт посторонились, чтобы уступить ей дорогу.

Сначала она поздоровалась за руку с моим папой. – Здравствуй, Кларисса, – сказал он. – Как поживаешь?

– Нормально, – ответила она. – А вы как?

– Мы – тоже неплохо, Кларисса, – прозвучало в ответ. («Непонятно, к чему такая ложь», – подумала я). – Если хочешь, садись с нами.

– Вообще-то... – Кларисса потупилась, – я с другом пришла.

Моя мама стряхнула оцепенение и пристально посмотрела ей в лицо. Кларисса была жива, а я умерла. Поежившись под этим сверлящим взглядом, Кларисса решила убраться от греха подальше. И тут она увидела синее платье.

Эй! – воскликнула она, бросившись к моей сестре.

– Что такое, Кларисса? – вырвалось у мамы.

– Так, ничего, – ответила она и мысленно распрощалась со своим платьем – не требовать же его назад.

– Абигайль? – встревожился папа, почуяв недоброе в ее голосе. Что-то было не так.

Бабушка Линн, стоявшая за маминной спиной, подмигнула Клариссе.

– Я хотела сказать: Линдси классно выглядит, – извернулась Кларисса.

Моя сестра вспыхнула.

Собравшиеся зашевелились и начали расступаться. К моим родителям направлялся преподобный Стрик, в полном облачении.

Кларисса растворилась в толпе. Когда она нашла Брайана Нельсона, они вместе отправились бродить среди могил.

Рэй Сингх не пришел. Он простился со мной по-своему: посмотрел на сделанную в ателье фотографию, которую я подарила ему той осенью.

Глядя в глаза моему изображению, он смотрел насквозь и видел плюшевый занавес с разводами, на фоне которого снимали всех ребят под горячими лучами софита. Что значит «умерла», размышлял Рэй. Пропала, застыла, исчезла. Он знал, что на фотографиях все выглядят не так. Он знал, что сам всегда выходит каким-то безумным, испуганным. Глядя на мою фотографию, он окончательно убедился: это – не я. Я витала в воздухе, плыла в утреннем холоде, который он теперь делил с Рут, растворялась в одинокой тишине между его занятиями. Со мной он хотел целоваться. Хотел выпустить меня на свободу. Он не сжег и не выбросил мой портрет, но и разглядывать его больше не хотел. Под моим взглядом он вложил эту фотографию в толстенный том индийской поэзии, между страницами которого они с матерью засушивали нежные цветы, со временем рассыпавшиеся в прах. На панихиде обо мне говорили много хорошего. Преподобный Стрик. Директор Кейден. Миссис Дьюитт. А мои родители сидели молча. Сэмюел по-прежнему сжимал руку Линдси, но она словно не замечала. У нее лишь подрагивали веки. Бакли, одетый в костюмчик Нейта, купленный по случаю чьего-то венчания, все время ерзал и не спускал глаз с папы. Но кто в этот день совершил самый значительный поступок, так это бабушка Линн.

Во время прощального гимна, когда все встали, она подалась к Линдси и шепнула ей на ухо:

– Смотри – это он. В дверях.

Линдси обернулась.

За спиной у Лена Фэнермена, который переступил через порог и подпевал вместе со всеми, стоял один из соседей. Он был одет не так официально, как все остальные, – в теплые брюки защитного цвета и плотную фланелевую рубашку. На первый взгляд его лицо показалось Линдси знакомым. Их глаза встретились. И тут у нее случился обморок.

В суматохе Джордж Гарви выскользнул из церкви и, никем не замеченный, скрылся среди старых надгробий времен Гражданской войны.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Каждое лето в нашем штате проходил слет юных талантов, на который отбирали школьников с седьмого по девятый класс, причем, как мне кажется, только для того, чтобы умники подышали свежим воздухом и зарядили друг от друга мозги. У костра в лесном лагере вместо народных песен звучали оратории. В девчоночьих душевых раздавались стоны по поводу телосложения танцовщика Жака Д'Амбуаза<sup>6</sup> и формы черепа профессора-экономиста Джона Гэлбрейта.

Но даже в среде вундеркиндов были особые касты. Например, «ботаники» и «математики». При всей своей занудливости они считались элитой и занимали самую высокую ступень лестницы талантов. Чуть ниже стояли «историки», которые могли назвать год рождения и смерти любой исторической личности. Проходя мимо непосвященных, они обменивались загадочными паролями: «тысяча семьсот шестьдесят девятый – тысяча восемьсот двадцать первый», «тысяча семьсот семидесятый – тысяча восемьсот тридцать первый». Когда Линдси это слышала, она про себя говорила отзыв: «Наполеон», «Гегель».

Съезжались на слет и «магистры тайного знания». Для всех прочих юных дарований они были как бельмо на глазу. К этой касте относились ребята, которые могли разобрать любой механизм и тут же собрать его заново, не заглядывая ни в схему, ни в инструкцию. Их козырем был» умелые руки, а не отвлеченные знания. На школьную успеваемость они, похоже, плевали с высокой вышки.

Сэмюел принадлежал к «магистрам». Его кумирами были Ричард Фейнман и старший брат Хэл. Тот, бросив школу, открыл неподалеку от мусорного коллектора собственную мастерскую по ремонту мотоциклов, где обслуживал всех желающих – от «ангелов ада» до обитателей дома престарелых, которые изредка взгромождались на мопед, чтобы покружить по асфальту. Хэл занимал каморку над родительским гаражом, дымил, как паровоз, и напропалую развлекался с девушками в подсобке своей мастерской.

На вопрос, когда же он наконец повзрослеет, Хэл неизменно отвечал: «Никогда». Вдохновленный его примером, Сэмюел говорил учителям, когда те спрашивали о его планах на будущее: «Еще не решил. Мне пока только четырнадцать лет».

Теперь-то уж почти пятнадцать – рассуждала сама с собой Рут Коннорс. Она частенько забивалась в построенный из листов алюминия сарай, стоявший на задворках дома, и там, среди старых дверных ручек и прочих железяк, которыми ее отец поживился в идущих на снос зданиях, иступленно, до боли в висках, смотрела в одну точку. Потом она бежала домой и, прошмыгнув через гостиную, мимо сидевшего за чтением отца, взлетала по лестнице к себе в комнату, где урывками сочиняла стихи. «Как Сюзи», «После смерти», «На мелкие части», «Теперь с нею рядом» и ее любимое произведение – то, которое она с гордостью перечитывала десятки раз и привезла с собой на слет, хотя бумага на сгибах протерлась до дыр, – «Могилы разверстая пасть».

Рут не смогла поехать вместе со всеми на автобусе: ночью у нее скрутило живот. Она выдумала для себя какую-то дикую овощную диету и накануне за ужином приговорила целый кочан капусты. Ее мать наотрез отказывалась потакать идеям вегетарианства, которыми Рут прониклась после моей смерти.

<sup>6</sup> Жак Д'Амбуаз (р.1934) – танцовщик и хореограф труппы «Нью-Йорк Сити балет», ученик Джорджа Баланчина

– Это ж не от Сюзи кусок, господи прости! – приговаривала миссис Коннорс, шлепая на тарелку сочный бифштекс.

В три часа ночи отец доставил Рут в больницу и уже оттуда – на слет, по пути завернув домой, чтобы подхватить сумку, которую мать предусмотрительно упаковала и оставила возле подъездной аллеи.

Когда машина въехала в лесной лагерь, Рут обвела взглядом длинную очередь за именными значками. В стайке мальчишек-магистров она разглядела мою сестру. Линдси не стала указывать на бирке свою фамилию – просто нарисовала лосося. Получилось вроде как без обмана, да к тому же это облегчало знакомство с ребятами из окрестных школ, которые не знали подробностей моей смерти или, во всяком случае, не связывали меня с Линдси.

Всю весну она не расставалась с медальоном в форме полусердечка, а вторую половинку носил Сэмюел. Они не выставляли напоказ свое чувство: не держались за руки в школьных коридорах, не перебрасывались записками. Только в столовой садились рядом, да еще Сэмюел провожал ее домой. На четырнадцатилетие он принес ей маленький кекс с одной свечкой. А в остальном они никак не выделялись из мира сверстников, поделенного на мальчишек и девчонок.

Утром Рут вскочила раньше всех. На слете юных талантов она, как и Линдси, держалась особняком. Побродив по лесу, она собрала пучок незнакомых трав и цветов. Термины, которые выпалил встречный «ботаник», ее совершенно не убедили, и Рут задумала назвать эти растения по-своему. Она тщательно прорисовывала в альбоме каждый лист и цветок, попутно решая, какого он пола, а потом нарекала именем: незамысловатый травянистый стебель звался теперь «Джим», а пушистая чашечка цветка – «Паша».

Когда Линдси приплелась в столовую, Рут уже стояла в очереди за добавкой яичницы с колбасой. Дома она пускалась во все тяжкие, чтобы не есть мяса, и не собиралась идти на попятный, но в лесном лагере держала свой зарок при себе.

После того как меня не стало, Рут не общалась с моей сестрой, если не считать их мимолетной встречи в школьном коридоре. Впрочем, от нее не укрылось, что после уроков Линдси уходит домой вместе с Сэмюелом и улыбается ему особенной улыбкой. Сейчас она заметила: моя сестра взяла порцию блинчиков, и больше ничего. Когда Рут в своих фантазиях превращалась в меня, она время от времени примеряла на себя и образ Линдси.

Линдси, как робот, шагнула к следующему окошку, и Рут отважилась заговорить.

– Что за рыбка? – спросила она, кивком указывая на именной значок моей сестры. – Ты верующая?

– Рыбка указывает совсем на другое, – ответила Линдси, безуспешно высматривая на прилавке ванильный пудинг. С блинчиками – объединение.

– Рут Коннорс, поэт, – представилась Рут по всем правилам.

– Линдси, – ответила Линдси.

– Сэлмон, верно?

– Пожалуйста, не надо, – произнесла Линдси, и на мгновение Рут отчетливо представила, каково это – быть навеки привязанной ко мне. Когда люди смотрят на тебя, а видят совсем другую девочку, всю в крови.

Хотя юные дарования кичились своей непохожестью на других, с первых же дней они разбились на пары. В основном девочка с девочкой, мальчик с мальчиком. Серьезные отношения редко начинались к четырнадцати годам, но в этом сезоне было одно исключение: Линдси и Сэмюел.

«Горь-ко! Горь-ко!» – повсюду кричали им вслед.

Без присмотра да еще на летней жаре в них будто пробились дикие ростки. Так зрело влечение. Никогда прежде я не наблюдала его в таком неприкрытом, обжигающем виде. Тем более у тех, с кем была связана общими генами.

Они вели себя осмотрительно, не нарушая распорядка. Ни один воспитатель не мог сказать, что, посветив фонариком в заросли у спальни мальчиков, застукал там Сэлмон и Хеклера. Им случалось назначать короткие свидания у черного хода столовой или под определенным деревом, помеченным их инициалами. Они целовались. Оба желали большего, но не переступали черту. Сэмюел не хотел, чтобы это произошло наспех. Он был убежден, что первый раз должен быть особенным. А Линдси просто стремилась покончить с этой бодягой. Оставить ее позади,

чтобы стать взрослой, вырваться за пределы пространства и времени. Секс представлялся ей, как космическое путешествие в сериале «Звездный путь». Вот ты испаряешься, а через пару секунд уже плывешь, как ни в чем не бывало, над другой планетой.

«Они стоят на грани», – писала Рут в своем дневнике. У меня теплилась надежда, что Рут записывает все без исключения. Ведь даже рассказ обо мне она доверила бумаге: как я пролетела мимо на учительской парковке, как задела ее, причем в буквальном смысле – насколько ей помнилось, протянула руку и коснулась ее щеки. Какой у меня был вид. Как я потом явилась ей во сне. Как у нее возникла мысль, что дух одного человека подчас становится как бы второй кожей, защитной оболочкой для другого. Как она, возможно, сумеет освободить нас обоих, если не оставит стараний. Я читала эти записи, глядя ей через плечо, и думала: а вдруг в один прекрасный день кто-то этому поверит?

В те минуты, когда мысли обращались ко мне, ей становилось легче, одиночество отступало, появлялась связь с чем-то неосязаемым. Или с кем-то. Она видела в своих снах кукурузное поле, и ей открывался новый мир, иной мир, в котором, если повезет, можно найти точку опоры.

«Кроме шуток, ты – настоящий поэт, Рут», – воображала она мою похвалу, а дневник давал ей веру, что она и впрямь настоящий поэт, чья сила слов способна меня воскресить.

Я прокрутила годы назад и увидела прошлое: как-то раз трехлетняя Рут, сидя на коврик в ванной, жадно разглядывала свою двоюродную сестру-школьницу, которая раздевалась, чтобы залезть под душ; дверь была заперта, потому что старшей девочке строго-настрого наказали не оставлять малышку без присмотра. Рут сгорала от желания коснуться девических волос я кожи, погрузиться в объятия двоюродной сестры. Меня это зацепило: если подобное желание вспыхнуло в три годика, что же пришло в восемь? Смутное ощущение непохожести, тяга к учителям и двоюродной сестре – все это было куда серьезнее обычного девчоночьего обожания. Ее интерес выходил за пределы трогательного детского внимания, он разжигал истому, которая расцветала зеленым и желтым, превращаясь в шафрановый цветок вожделения, прорастающий нежными лепестками сквозь ее неуклюжее отрочество. «Дело не зашло столь далеко, – писала она в своем дневнике, – чтобы подтолкнуть ее к сексу с женщинами, но ей хотелось раствориться в них навсегда. Спрятаться».

Завершающая неделя слета, как всегда, была занята подготовкой конкурсного проекта, который каждая школьная команда выносила на суд зрителей во время прощального вечера, перед тем как за юными талантами приезжали родители. Официально условия конкурса оглашались только в последнюю субботу, во время завтрака, но у вундеркиндов все было продумано заранее. Поскольку это неизменно был конкурс на лучшую мышеловку, команды год от года проявляли все большую изобретательность. Кому охота слизывать прошлогодние достижения?

Сэмюел занялся поисками ребят, которые носили скобки-брэкеты для исправления прикуса. Ему понадобились маленькие круглые резинки, какие выдают ортодонты. Резинки нужны были для того, чтобы удерживать рычажок во взведенном состоянии. Линдси выпросила у повара-отставника чистую фольгу. Из нее планировалось сделать рефлектор, чтобы сеять панику среди мышей.

– А вдруг они залюбуются собственным отражением? – вслух подумала Линдси.

– Много ли они там разглядывают? – отозвался Сэмюел, снимая защитный слой бумаги с крученой проволоки, стягивающей пачку мешков для мусора.

Если ребята вдруг начинали слишком пристально разглядывать обычные хозяйственные предметы, можно было с уверенностью сказать: они размышляют над усовершенствованием мышеловки. – Симпатичные, – сказала Линдси в один из последних дней.

Накануне, заготовив ниточки с приманкой, она весь вечер ловила полевых мышей и отправляла их в пустующий кроличий садок. Сэмюел внимательно наблюдал за мышами.

– Я бы пошел в ветеринары, – сказал он, – только неохота препарировать живых тварей.

– Разве нам обязательно их губить? – спросила Линдси. – Мы ведь изобретаем мышеловку, а не мышегубку.

– Арти сделает им гробики из бальзового дерева, – засмеялся Сэмюел.

– Фу, гадость.

– Да, он такой!

– Вроде бы, он когда-то бегал за Сюзи, – сказала Линдси.

– Знаю.

– Он, случайно, не болтает лишнего? – Вооружившись длинным тонким прутиком, Линдси пошуровала в клетке.

– Если честно, он спрашивал о тебе, – ответил Сэмюел.

– И что ты ему сказал?

– Что у тебя все нормально.

Мыши, пытаясь спастись от прутика, забились в угол и карабкались друг на друга в тщетной надежде выбраться на свободу.

– Давай сделаем капкан с махоньким диванчиком из лилового бархата: когда они заберутся на сиденье, дверца захлопнется, а сверху посыплется кусочки сыра. Можем назвать это Царством диких грызунов.

Сэмюел, в отличие от взрослых, никогда не отметал идеи моей сестры. Он дотошно расспросил, какой именно тип обивки понадобится для будущего мышиногo диванчика.

К тому времени я все реже поднималась на башню, потому что и без того могла видеть Землю, гуляя по небесным лугам.

С наступлением ночи метательницы копья и толкательницы ядра отправлялись в другие небесные сферы. Мне, девчонке, путь туда был заказан. А что там могло быть такого страшного? Страшнее, чем неизбывное одиночество среди живущих и взрослеющих ровесников? Или, наоборот, там сбывались мечты? Этаким мир Нормана Рокуэлла?<sup>7</sup> Неизменная индейка в честь приезда родни. Кривая усмешка и хищный прищур дядьки с ножом.

Если мне случалось забрести слишком далеко и заговорить в полный голос, поля резко меняли свой вид. Перед глазами возникала кормовая кукуруза, а в ушах звучал бессловесный гул – протяжный и заунывный. Это было предостережением: отойди от края. В голове у меня начинало пульсировать, небо темнело, и снова возвращалась та самая ночь, вечное вчера. Моя душа сжималась в комок, наливалась тяжестью. Не раз я приближалась к своей разверстой могиле, но никогда не заглядывала внутрь.

На самом деле, я стала всерьез задумываться, что означает слово небеса. Рассуждала я так: если это и есть небеса, истинные небеса, значит, тут должны обитать мои бабушки и дедушки. Папин папа, мой самый любимый из всех, поднимет меня над полом, и мы с ним будем танцевать. Мне положены только радости и никаких страданий – ни кукурузного поля, ни могилы. Дело твое, – сказала мне Фрэнни. – Многие выбирают такой вариант.

– А как на него переключиться? – спросила я.

– Это не так-то просто, – ответила Фрэнни. – Надо отказаться от поиска ответов.

– Каких ответов?

– Перестань допытываться, почему убили именно тебя, а не кого-то другого; прекрати смотреть, чем заполняется пустота, возникшая после твоей гибели; заглуши интерес к чувствам живых, – пояснила она, – и станешь свободной. Короче, отвернись от Земли.

Это уж слишком, подумала я.

Ночью Рут прокралась в другой корпус, где находилась спальня Линдси. – Я ее во сне видела, – прошептала она моей сестре.

Линдси сонно заморгала:

– Кого – Сюзи?

– Прости, я в столовой ляпнула, не подумав, – сказала Рут.

На трехъярусной алюминиевой кровати Линдси занимала нижнее место. Соседка сверху заворочалась.

– Можно к тебе? – спросила Рут.

Линдси кивнула.

Рут заползла в узкую койку и устроилась рядом с моей сестрой.

– Ну, что ты видела во сне? – шепотом спросила Линдси.

Рут начала рассказывать; в темноте Линдси смутно различала ее профиль.

– Я лежала в земле, – говорила Рут, – а Сюзи ходила надо мной по кукурузному полю. Прямо у меня над головой. Я звала ее, но в рот забивалась грязь. Как я ни кричала, она меня так

---

<sup>7</sup> Норман Рокуэлл (1894-1978) – американский художник, сентиментальный традиционалист, чьи картины часто украшали обложки журналов

и не слышала. А потом я проснулась.

– Мне она ни разу не приснилась, – прошептала Линдси. – Я во сне вижу только крыс: они мне обгрызают волосы.

Рут блаженствовала от ощущения тепла и покоя, исходившего от моей сестры.

– Ты любишь Сэмюела?

– Да.

– А по Сюзи скучаешь?

Поскольку в спальне было темно, а Рут смотрела в потолок и вообще была малознакомой девчонкой, Линдси ответила как есть:

– Не передать словами.

Директора средней школы «Девон» срочно вызвали из лагеря по семейным обстоятельствам, поэтому организацию конкурса доверили недавно утвержденному завучу школы «Честер Спрингс». Эта дамочка решила предложить нечто более творческое, чем изобретение мышеловки.

«БЫВАЕТ ЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ? КАК СОВЕРШИТЬ ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО?» – спрашивалось в ее наспех состряпанной листовке.

Ребята пришли в восторг. Музыканты и поэты, историки и художники с пылом обсуждали, с чего начать, и фонтанировали идеями. За завтраком, уплетая яичницу с беконом, они вспоминали великие нераскрытые убийства прошлого и оценивали подручные средства. Дело уже дошло до выбора мишени убийства. Общее веселье продолжалось ровно до четверти восьмого, пока в столовую не вошла моя сестра. Арти увидел, как Линдси встала в очередь. Она не совсем проснулась, но на свежем воздухе уже нала приходиться в себя и решила, что пропустила Появление конкурса на лучшую мышеловку. Он заметил, что ближайшая листовка приклеена к стене над стойкой с вилками и ложками. До его слуха доносился чей-то рассказ о Джеке Потрошителе. Арти Поднялся из-за стола, чтобы вернуть на место поднос. Приблизившись к моей сестре, он кашлянул. Вся Моя надежда была на этого вертлявого чудика. «Отвлеки ее», – заклинала я. И моя мольба долетела до земли.

– Линдси, – окликнул Арти.

Линдси подняла на него глаза:

– Что тебе?

С другой стороны прилавка повар-отставник уже протягивал ей порцию омлета.

– Меня зовут Арти, мы с твоей сестрой в одном классе учились.

– Гробики не требуются, – отрезала Линдси, двигая поднос в направлении небьющихся кувшинов с апельсиновым и яблочным соком.

– В каком смысле?

– Сэмюел говорит, ты делаешь мышинные гробики из бальзового дерева. Можешь не утруждаться.

– Конкурс-то теперь не такой, – сообщил он.

В то утро Линдси приняла решение отпороть подол от Клариссиного платья и пустить его на обивку диванчика для мышей. – А какой?

– Давай выйдем на улицу. – Арти вклинился перед ней, загородив подход к вилкам-ложкам. – Линдси, – выпалил он, – на конкурс нужно представить убийство.

Линдси не поверила своим ушам.

Вцепившись в поднос, она встретила взглядом с Арти.

– Вот я и подумал: лучше я сам тебе скажу, пока ты объявление не прочла, – выдавил он.

В столовую ворвался Сэмюел.

– Как же так? – беспомощно спросила Линдси.

– В этом году объявлен конкурс на идеальное убийство, – подтвердил Сэмюел.

Мы с ним видели, как она содрогнулась. Как у нее упало сердце. Но она так здорово научилась владеть собой, что надломы и трещины тут же стали почти неразличимыми. В следующее мгновение, как по волшебству, от них не осталось и следа. Она умела отгораживать от себя весь мир, включая саму себя.

– Мне без разницы, – только и сказала она.

Но Сэмюел все понял.

Они с Арти проводили ее глазами.

– Я только хотел ее подготовить, – пробормотал Арти.

Он вернулся за свой стол. И начал рисовать шприцы для подкожных инъекций. Шариковая ручка, едва не разрывая салфетку, заштриховывала баллон с бальзамирующим составом и прочерчивала траектории капель, упавших с острия иглы.

Земное одиночество, думала я, ничем не отличается от небесного.

– Чтобы убить человека, нужно либо заколоть его кинжалом, либо зарубить топором, либо застрелить, – сказала Рут. – Это же мерзость.

– Допустим, – ответил Арти.

Сэмюел увел мою сестру пройтись. Тогда Арти разыскал Рут, которая сидела за одним из столов под навесом, уставившись в большую конторскую книгу. Для убийства должны быть веские причины, – зала Рут.

Кто, по-твоему, это сделал? – поинтересовался Арти. Он тоже устроился на скамье и вытянул ноги под столом, упершись в перекладину. Рут застыла, положив ногу на ногу, и только покачивала правой ступней.

– Что тебе известно? – спросила она.

– Отец чего-то говорил, – ответил Арти. – Позвал нас с сестрой, усадил...

– Вот тормоз! Не тяни!

– Сперва начал грузить: типа, в мире случаются страшные вещи; ну, моя сеструха и брякнула: «Вьетнам». Тут он замолк – они из-за Вьетнама каждый раз грызутся. Потом опять: «Нет, милая, страшные вещи случаются у нас под боком, с людьми, которых мы хорошо знаем». А она испугалась, что кто-то из ее дружков вляпался по самое некуда.

Рут почувствовала, как на нее упала дождевая капля.

– В общем, папаша раскололся: типа, убили девочку. Я и спрашиваю: «Какую еще девочку?» Думал, мелкую какую-то, ну, сама понимаешь. Не из наших.

Дождь хлынул по-настоящему; капли прыгали по красноватой древесине столешницы. – Может, под крышу пойдем? – предложил Арти.

– Там народу полно, – ответила Рут.

– Ну и пусть.

– Нет, лучше уж в сырости.

Они еще немного посидели без слов, глядя на падающие капли и слушая шорохи листвы.

– Я сразу поняла, что ее нет в живых. Прямо как чувствовала, – сказала Рут. – Потом увидела заметку в папиной газете и убедилась окончательно. А ведь вначале даже имя не указывали. «Девочка четырнадцати лет» – и все. Я попросила у отца эту страницу, а он – ни в какую. Ну, я и поняла: все сходится, да к тому же ее сестра целую неделю мотала уроки.

– Интересно, от кого Линдси узнала? – задумался Арти. Дождь усиливался, и Арти забрался под стол.

– Мы с тобой тут промокнем, как собаки! – прокричал он.

Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Сквозь листву пробились лучи солнца, и Рут посмотрела вверх.

– По-моему, ей там все слышно, – проговорила она не то вслух, не то про себя.

На слете все сразу узнали, кем приходится мне Линдси и как именно я погибла.

– Представь, что тебя кромсают ножом, – заговаривал кто-нибудь из ребят.

– Нет уж, спасибо.

– А по-моему, кайф.

– Зато теперь она прославилась.

– Ничего себе прославилась! Могла бы, к примеру, Нобелевскую получить.

– Интересно, кем она хотела стать?

– Пойди да спроси у Линдси.

Тут все по очереди начинали перечислять, у кого кто умер.

Бабушки-дедушки, дяди-тети, у кого-то – мать или отец, реже – брат или сестра: от детской инфекции, от сердца, от лейкемии, от болезни с таким названием, что язык сломаешь. Но чтобы от руки убийцы – такого еще не было. Если не считать меня.

Линдси и Сэмюел Хеклер, обнявшись, лежали на земле под прикрытием старой, прохудившейся шлюпки, которую давно не спускали на воду.

– Ты же знаешь, я в полном порядке, – сказала она, и глаза ее были сухими. – Думаю, Арти



пытался меня поддержать.

– Не надо больше ничего говорить, Линдси, – сказал он. – Давай просто переждем, пока волна не схлынет.

Лежа спиной на земле, Сэмюел привлек к себе мою сестру, чтобы защитить ее от неожиданного летнего дождя. Своим дыханием они согревали тесное пространство под шлюпкой. Сэмюел ничего не мог с собой поделаться: бугор на его джинсах становился все тверже и тверже.

Линдси положила руку сверху.

– Прости меня... – начал он.

– Я готова, – произнесла моя сестра.

В четырнадцать лет она уносилась туда, где мне побывать не довелось. Стены моего сокровенного опыта были залиты ужасом и кровью; стены ее опыта были прорезаны светлыми окошками.

«Как совершить идеальное убийство» – на небесах эта игра не отличалась новизной. Я всегда выбирала сосульку: такое орудие преступления тает без следа.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Отец проснулся в четыре часа утра; все было тихо. Мама лежала рядом, слегка посапывая. Бакли, единственный ребенок, оставшийся в доме после отъезда моей сестры на слет, беспробудно спал, натянув одеяло до самого подбородка. Отец всегда изумлялся, какой же он соня – в точности как я. Пока я была жива, мы с Линдси потешались, как могли: хлопали в ладоши, бросали на пол книги, даже стучали крышкой горшка – Бакли не шевелился.

Перед выходом из дому отец все же заглянул к нему в комнату – лишний раз провести, ощутить на ладони теплое дыхание. После этого он надел кроссовки и легкий спортивный костюм. Наконец взялся за ошейник Холидея.

На утренней прохладе изо рта вырывались едва заметные облачка. Как будто зима еще не кончилась. Как будто времена года раздумали совершать круговорот.

Под видом прогулки с собакой можно было пройти мимо дома мистера Гарви. Отец чуть замедлил шаги, – этого никто бы не заметил, кроме меня, ну и кроме мистера Гарви, случись тому проснуться. Мой отец не сомневался: долгий и внимательный взгляд найдет ответы и в оконных переплетах, и в зеленой вагонке, и в подъездной аллее, по бокам которой торчали два больших валуна, выкрашенных белилами.

Лето тысяча девятьсот семьдесят четвертого подходило к концу, но в моем деле не было никаких сдвигов. Тело не найдено. Убийца не пойман. Ровно ноль. Моему отцу вспоминались слова Руаны Сингх: «Утвердившись в своей правоте, я бы нашла тайный Способ его убить». Он не стал рассказывать об этом Абигайль, чтобы та с перепугу не проговорила, в особенности Лену.

С того самого дня, когда он побывал у Руаны Сингх и, вернувшись домой, застал у нас Лена Фэнермена, его не оставляло ощущение, что моя мама возлагает слишком большие надежды на следственную бригаду. Стоило моему отцу заикнуться о версиях полиции – точнее, об отсутствии таковых, – мама тут же затыкала ему рот. «Лен говорит, это пустое». Или: «Я считаю, что расследованием должны заниматься специалисты».

Почему, спрашивал себя мой отец, люди слепо доверяют копам? Почему не довериться своей интуиции? Он знал, что это дело рук мистера Гарви. Но Руана Подчеркнула: «утвердившись в своей правоте». Знание, глубинное знание, которое носил в себе мой отец, никак не могло, с точки зрения буквы закона, служить надежным доказательством.

Я выросла в том же доме, где родилась. Как и дом мистера Гарви, он представлял собой простую коробку, поэтому меня переполняла жгучая, бессмысленная зависть, когда я ходила в гости. Я спала и видела лоджии, круглые своды, балконы, мансарды со скошенными потолками. Мне представлялись раскидистые деревья в саду – выше и крепче хозяев, маленькие комнатки под лестницами, густые живые изгороди с пустотами от сухих веток, где можно спрятаться. На небесах в моем распоряжении оказались веранды и винтовые лестницы, подоконники с коваными железными оградками и даже колокольня, отбивавшая часы.

Планировку дома мистера Гарви я знала как свои пять пальцев. Сначала на полу в гараже оставалось мое теплое пятно, которое вскоре остыло. Он принес в дом мою кровь на собственной

одежде и коже. Знала я и ванную. Сравнивала ее с ванной комнатой в нашем доме, которую мама постаралась отделать с учетом рождения позднего ребенка, Бакли: на розовых стенах появились нарисованные по трафарету изображения боевых кораблей. У мистера Гарви в кухне и ванной царил образцовый порядок. Вся сантехника – в желтоватых тонах, кафельные плитки на полу – зеленые. Отопление его не волновало. Наверху, там, где в нашем доме располагались детские, у него, по сути дела, было пусто. Иногда он опускался в жесткое кресло с прямой спинкой, смотрел из окна вдаль, за школьную крышу, и слушал, как на поле репетирует духовой оркестр, но большую часть времени все же проводил внизу: либо на кухне, где мастерила домики, либо в гостиной, где слушал радио или, когда подступала похоть, углублялся в чертежи землянок или шатров.

Несколько месяцев никто его не беспокоил расспросами обо мне. Лишь изредка возле дома притормаживала полицейская машина. У него хватало ума придерживаться обычного распорядка. Если раньше он в определенное время спускался в гараж или подходил почтовому ящику, то и теперь вел себя точно так же.

В доме было несколько будильников, которые ставились на разное время. Один подсказывал, когда раскрывать шторы, другой – когда задергивать. По звонку в комнатах включался и выключался свет. Когда дверь стучались дети, которые торговали вразнос шоколадками, чтобы собрать деньги для школьных Мероприятий, или предлагали подписку на «Ивнинг Бюллетин», он разговаривал с ними приветливо, но исключительно по делу, ничем себя не выдавая.

Он вел счет сувенирам: это его успокаивало. Сувениры были незамысловатыми. Обручальное кольцо, запечатанный конверт с письмом, кожаный каблук, очки, старательная резинка с изображением героев мультфильма, флакончик духов, пластмассовый браслет, моя подвеска в виде замкового камня – эмблемы Пенсильвании и, конечно, янтарный кулон его матери. По ночам, когда можно было не беспокоиться, что в дверь постучит почтальон или кто-нибудь из соседей, он раскладывал сувениры на столе. Перебирал их, как четки. У него из памяти частично выветрились стоявшие за ними имена. Зато моя память сохранила каждое имя. Каблук туфельки напоминал о девочке Клэр, родом из Натли, штат Нью-Джерси, которую он заманил в кузов фургона. (Остается утешаться тем, что я бы ни за что не полезла к нему в фургон. Остается утешаться тем, что я поплатилась за свою любознательность: хотела понять, как укреплен землянка.) Он оторвал каблук, прежде чем отпустить эту девочку. И не причинил ей зла. Просто заманил в кузов фургона и снял с нее туфельки. Она разревелась, и этот плач сверлил его, точно бурав. Он уговаривал ее замолчать и отправляться восвояси, выпрыгнуть из фургона босиком, и приказал никому ничего не рассказывать, а туфли оставил себе. Но не тут-то было. Девчонка не уходила. Он начал отдиравать каблук, поддевая его перочинным ножом, и в это время кто-то забарабанил в кузов. Послышались мужские голоса и один женский; кто-то пригрозил вызвать полицию. Он открыл дверь.

– Ты что это с ребенком делаешь, а? – заорал один из мужчин.

Второй подхватил девочку, которая, заходясь плачем, вывалилась ему на руки.

– Чиню туфельку.

Девочка билась в истерике. Мистер Гарви сохранял присутствие духа. Но Клэр успела заметить то, что впоследствии увидела я, – его угрожающе близкий взгляд, его невыразимое желание, подавшись которому она бы канула в вечность наравне со мной.

Случайные свидетели пришли в замешательство – откуда им было знать, что видели мы с Клэр. А мистер Гарви торопливо сунул кому-то в руки пару детских туфелек и распрощался. Каблук остался у него. Мистер Гарви пристрастился потирать этот плоский кожаный каблук большим и указательным пальцами – лучшее успокоительное средство.

Я знала, где у нас в доме самое темное место. Как-то раз, похвалилась я перед Клариссой, мне довелось просидеть там целые сутки (на самом деле минут сорок пять). Это был люк в подвале. Если посветить туда фонариком, луч выхватывал какие-то трубы и вековые залежи пыли. Больше ничего. Даже насекомых не было. Моя мама, как в свое время ее мама, опрыскивала дом всякой химией, чтобы не завелись муравьи. Когда будильник подсказывал задернуть шторы, а вслед за тем другой будильник призывал выключить лампы, ибо в маленьких городах ляда ложатся спать рано, мистер Гарви шел в подвал, откуда не пробивался ни один лучик света. Иначе соседи стали бы указывать пальцами. К моменту моего убийства ему порядком надоело спускаться в люк, но в подвале, где стояло жуткое кресло, он чувствовал себя вполне комфортно, ли-

цом к пробитому в середине стены темному лазу, уходящему прямо под доски кухонного пола. Случалось, мистер Гарви задремывал прямо в кресле; так было в тот раз, когда мой отец проходил мимо зеленого дома в четыре сорок утра.

Джо Эллис был настоящим садистом. Когда мы с Линдси занимались плаванием, он вечно щипался под водой. Из-за него мы даже отказывались от приглашений на водные праздники. У него была дворняжка, которую он всюду таскал за собой, как она ни упиралась своими короткими лапами. Собачонка не могла бегать с ним наравне, но Эллису было наплевать. Он ее нещадно лупцевал, а то и раскручивал за хвост. один прекрасный день собака исчезла, а следом за ней и кошка, над которой Эллис, не таясь, измывался еще почище. После этого во всей округе начали пропадать домашние животные.

Каково же было мое удивление, когда я вслед за мистером Гарви заглянула к нему в люк и увидела там все это зверье, пропавшее за год с лишним. Садист Эллис уехал поступать в военное училище, и соседи облегченно вздохнули. По утрам они отпускали собак и кошек со двора, а вечером спокойно ждали возвращения своих любимцев. Все стало на свои места, иных доказательств его вины не требовалось. Никто и представить не мог, что главные зверства творятся под крышей зеленого дома. Сваленные в люк трупы кошек и собак засыпались негашеной известью, чтобы от них поскорее остались одни кости. Пересчитывая скелеты, домовладелец забывал про письмо в конверте, про обручальное кольцо и флакончик духов, но самое главное – он из последних сил противился неутолимому желанию: сидя на жестком стуле, в темноте, под самой крышей, глазеть на школьное здание и представлять тело каждой девочки, чей голос выкрикивал приветствия футбольной команде. С этим могло сравниться только наблюдение за остановкой школьного автобуса, до которой и вовсе было рукой подать. А однажды он долго следил за Линдси, единственной девочкой, которая в наступающих сумерках бегала кросс вместе с мальчишками-футболистами.

У меня долго не укладывалось в голове, что он каждый раз пытался себя сдерживать. Лишая жизни бессловесных тварей, он удерживал себя от убийства детей.

Близился август. Лен решил установить границы разумного – как для собственной пользы, так и для пользы моего отца. Отец постоянно звонил в участок и досаждал полицейским советами. Это не способствовало розыскам и только настраивало всех против него.

Последней каплей стал звонок в начале июля. Джек Сэлмон подробно описал диспетчеру, как его собака во время утренней прогулки остановилась у дома мистера Гарви и подняла вой. Сэлмон тянул за поводок, говорилось в рапорте, но собака упиралась и выла. В участке их тут же окрестили «мистер Лосось и баскервильский пес».

Лен остановился перед нашим крыльцом, докуривая сигарету. Было еще рано, но в воздухе со вчерашнего дня висела сырость. Всю неделю прогноз сулил дожди и грозы, которые в наших местах не редкость, однако влага не падала сверху, а только обволакивала спину липкой испариной. Это было последнее посещение дома моих родителей, когда Лен чувствовал себя свободно.

Из дома донеслось бормотание – женский голос, загасил сигарету о полоску цемента у живой изгороди и взялся за тяжелую медную колотушку. Не успел он ее отпустить, как дверь распахнулась. – Я чувствую – дымом тянет, – сказала Линдси. – Не расслышал: что ты там говорила? – Курить – здоровью вредить.

– Папа дома?

Линдси посторонилась, приглашая его войти. Пап! – крикнула моя сестра в глубь дома. – тебе Лен!

– Ты была в отъезде? – спросил Лен.

– Только что вернулась.

Моя сестра вышла к нему в спортивной футболке Сэмюела и чужих тренировочных штанах. Ей уже влетело от мамы за то, что она не привезла обратно ни одной своей вещи.

– Родители, наверно, соскучились.

– Кто их знает, – сказала Линдси. – Может, они только рады были меня спровадить.

Лен в душе согласился. Он и сам видел, что в последнее время моя мама стала спокойнее. Линдси сообщила:

– Бакли построил у себя под кроватью город и назначил вас начальником полицейского управления.

– Серьезное повышение в должности!

Они слышали папины шаги по верхнему коридору, а потом умоляющий голос Бакли. Линдси по опыту знала, что отец ни в чем не может ему отказать. Мои папа с братом спустились по лестнице, сияя улыбками.

– Приветствую, Лен. – Отец пожал ему руку.

– Доброе утро, Джек, – сказал Лен. – Как поживаешь, Бакли?

Держа Бакли за руку, папа поставил его перед Леном, и тот учтиво склонил голову:

– Ходят слухи, мне доверено возглавить полицейское управление?

– Так точно, сэр.

– Не знаю, заслужил ли я такую честь.

– Кто же заслужил, если не вы, – добродушно вставил мой отец.

Он всегда радовался приходу Лена Фэнермена. Каждая встреча придавала ему уверенности, что между ними существует понимание, что у него есть поддержка, что он не одинок.

– Ребятки, мне надо потолковать с вашим папой.

Линдси утащила Бакли на кухню, посулив накормить его завтраком, а сама в это время вспоминала напиток под названием «медуза», которым угощал ее Сэмюел: на дне «пьяная вишня», потом сахарный песок и джин. Они взяли соломинки и хотели всосать через них вишни, минуя сахар и алкоголь. От этого только разболелась голова, а губы перепачкались красным.

– Может, позovem Абигайль? Хотите кофе?

– Джек, – остановил его Лен, – новостей у меня нет. Скорее, наоборот. Давайте присядем.

Я видела, как папа с Леном направились в гостиную. Гости теперь сюда не заглядывали. Опустившись на краешек стула, Лен ждал, чтобы мой папа сел напротив.

– Выслушайте меня, Джек, – начал он. – Речь пойдет о Джордже Гарви.

Отец просиял:

– Ну вот! А вы говорите, нет новостей!

– Не совсем так. Я должен вам кое-что сказать от имени нашего отдела и от себя лично.

– Слушаю.

– Мы просим вас больше не звонить в участок по поводу Джорджа Гарви.

– Но ведь...

– Повторяю, это и моя личная просьба. У нас нет доказательств, которые хотя бы косвенно указывали на его причастность к убийству. Собачий вой и свадебный шатер к делу не приобщить.

– Я знаю, это он, – сказал мой отец.

– Допустим, у него есть определенные странности, но это не значит, что он убийца.

– Да откуда такая уверенность?

Лен Фэнермен еще что-то говорил, а моему отцу грезился голос Руаны Сингх, повторяющий все те же адова, и дом мистера Гарви, и выброс осязаемых токов, и ледяной взгляд этого соседа. Непроницаемый мистер Гарви оставался единственным человеком в мире, который мог меня убить. По мере того как Лен приводил доводы против, мой отец все более убеждался в своей правоте.

– Итак, вы снимаете с него все подозрения, – подытожил он.

Линдси стояла в дверях, наострив уши, – в точности как тогда, когда Лен и офицер в форме принесли ракет с моей вязаной шапкой. У Линдси была точно такая же. В тот день она потихоньку сунула свою шапку в ящик со старыми куклами и задвинула его в дальний угол стенового шкафа. Она не могла допустить, чтобы мама снова слышала звон бубенчиков.

Перед ней был наш отец, чье сердце, мы знали, удерживало нас всех вместе. Удерживало истово и надежно; дверцы открывались и закрывались, словно клапаны волшебной флейты; так оттачивалось искусство отцовской любви, которая окутывала нас чудесным звуком, теплой мелодией. Линдси сдвинулась с порога и сделала шаг вперед.

– Линдси, здравствуйте-пожалуйста, – обернулся к ней Лен.

– Детектив Фэнермен...

– Я тут говорил твоему папе...

– Что вы сдаетесь.

– ЕСЛИ бы нашелся хоть какой-нибудь повод для подозрений...

– Дело закрыто? – спросила Линдси.

Можно было подумать, ее устами говорит жена нашего отца, а не просто старшая и более ответственная из детей.

– Не сомневайся: мы проверили все зацепки.

Папа и Линдси услышали (а я увидела), как по лестнице спускается моя мама. Бакли вылетел из кухни и с разбегу ткнулся в ноги отцу.

– Лен, – обратилась моя мать к детективу, поплотнее запахивая махровый халат, – Джек предложил вам кофе?

Отец смотрел на свою жену и Лена Фэнермена.

– Полиция дает откат. – Линдси бережно взяла Бакли за плечи и прижала к себе.

Откат? – переспросил Бакли. Он всегда пробовал новые слова на вкус, как леденцы.

– Не поняла.

– Детектив Фэнермен пришел сказать, что папа их уже задолбал.

– Нет, Линдси, – попытался возразить Лен, – я такого не говорил.

– Какая разница, – ответила Линдси.

Моей сестре захотелось немедленно перенестись назад, в лесной лагерь, в тот мир, который вращался вокруг них с Сэмюелом, причем не без участия Арти, в последнюю минуту предложившего использовать убойную силу сосульки, что и обеспечило их команде победу в конкурсе.

– Пойдем, папа, – сказала она.

Мало-помалу мой отец все расставил по местам. Ответы не имели никакого отношения ни к Джорджу Гарви, ни ко мне. Их подсказали глаза моей матери.

Той ночью, как бывало все чаще и чаще, мой отец долго сидел в одиночестве у себя в кабинете. Он не мог поверить, что мир вокруг него рушится, – можно было этого ожидать после удара, который нанесла ему моя смерть. «Такое ощущение, будто на голову льется поток лавы, – писал он в своем блокноте. – в отношении Харви: Абигаиль считает, что Фэнермен прав».

Мерцание поставленной на подоконник свечи сбивало его с мысли, хотя слева ровно светила настольная лампа. Откинувшись на спинку выдавшего виды деревянного стула, какие были знакомы ему еще со студенческих лет, он прислушался к тихому поскрипыванию дерева. На работе он уже не справлялся со своими обязанностями. Изо дня в день его непонимающий взгляд скользил по столбцам каких-то чисел, которые отказывались соотноситься со страховыми полисами. С пугающей частотой он допускал ошибки; его терзал страх, еще более мучительный, чем в первые дни после моего исчезновения, что он не сможет поднять двух оставшихся детей.

Папа встал и вытянул руки над головой, пытаясь проделать несложные упражнения, рекомендованные нашим семейным доктором. Мне было видно, как его туловище принимает неуклюжие, странные позы, совершенно ему не свойственные. Как будто он, страховой служащий, ни с того ни с сего решил выучиться на танцора. Как будто готовился выступать на Бродвее в паре с Руаной Сингх.

Он щелкнул выключателем настольной лампы; теперь комнату освещало только мерцание свечи.

После этого он перебрался в мягкое зеленое кресло, самое уютное. Именно здесь я нередко заставляла его спать. Комната превращалась в убежище, кресло – в материнское чрево, а я стояла на страже. Вглядываясь в огонек свечи, он размышлял, что делать дальше, и вспоминал, как мама вздрогнула от его прикосновения и метнулась к другому краю кровати. Но стоило появиться этому фараону – и она прямо расцвела.

Горящая свеча, как обычно, бросала призрачный отсвет на оконное стекло. Наблюдая за этими двойниками – настоящим огоньком и его призраком, отец начал впадать в дремоту, сквозь которую проступали мысли, переживания, события минувшего дня.

А когда он уже был готов погрузиться в сон, мы с ним вместе заметили одно и то же: еще один огонек. Снаружи.

С такого расстояния он напоминал луч карандашного фонарика. Этот одинокий бледный луч скользил по газонам перед домами, смещаясь в сторону школы. Мой папа стал приглядываться. Время уже перевалило за полночь, но луна, вопреки обыкновению, светила совсем тускло и даже не позволяла различить очертания домов и деревьев. Мистер Стэд, который по вечерам катался на велосипеде с одной фарой, ни за что не стал бы портить соседские газоны. Да и вообще в такое время суток мистер Стэд уже видел десятый сон.

Подавшись вперед, мой отец следил, как луч фонарика приближается к невозделанному

кукурузному полю.

– Ублюдок, – прошептал он. – Скотина, убийца.

Он поспешно вытащил из сундука охотничью куртку, которую не надевал уже десять лет, со времени неудачной поездки на охоту. Спустившись вниз, достал из чулана бейсбольную биту, купленную для Линдси в ту пору, когда она еще не переключилась на футбол.

Вначале погасил наружную лампочку, которую они упрямо зажигали для меня каждый вечер, хотя полицейские восемь месяцев назад сказали, что надежды на мое возвращение не осталось. Потом взялся за дверную ручку и сделал глубокий вдох.

Повернул ручку. Вышел на неосвещенное крыльцо. Прикрыл за собой дверь и оказался в саду. Сжал в руках бейсбольную биту и зашептал одними губами: "Тайный способ его убить".

Вышел через сад на улицу, перешел через дорогу и ступил на газон О'Дуайеров, где первоначально Мелькнул тот зловещий огонек. Обогнул неосвещенными соседский бассейн и ржавые качели. У него бешено колотилось сердце, но в голове свербела только одна мысль: Джорджу Гарви больше не удастся погубить ни одну девочку.

Вот и футбольный стадион. Справа, посреди кукурузного поля, но не в том месте, которое мой отец знал как свои пять пальцев (потому что оно в свое время было обнесено ограждением, прочесано вдоль и поперек, перекопано лопатами и бульдозером), он засек рее тот же тонкий луч. Пальцы еще сильнее сжали биту. Он гнал от себя мысль о том, что собирается сделать, но у него столько наболело, что смятение длилось не более секунды.

На подмогу пришел ветер. Он налетел со стороны стадиона, захлопал штанинами отцовских брюк и стал подталкивать в спину. Все прочее отступило. Ветер шевелил кукурузные стебли, маскируя движения отца; теперь можно было смело идти на этот слабый луч. Свист ветра заглушал отцовские шаги и треск сухих стеблей.

В голову лезла всякая чушь, не имеющая отношения к делу: как грохочут по асфальту детские ролики, какой запах был у трубчатого табака, который покупал его отец, как пронзительно улыбалась Абигайл в день их знакомства сразу разбередив его сердце, – но тут свет фонарика погас, и поле погрузилось в равномерную темноту.

Сделав еще пару шагов, он остановился.

– Все равно я тебя достану, – сказал он вслух.

Я мгновенно затопила это поле, промчалась по нему всполохами огня, наслала ураганы града и лавины цветов, но ничто не смогло его предостеречь. Из своего небесного заточения я была способна только наблюдать.

– От меня не скроешься, – дрогнувшим голосом произнес мой отец.

Сердце падало вниз и рвалось наружу, кровь стучала в ребра и поднималась к горлу. Дыхание пламенем опаляло легкие, но адреналин тушил этот пожар. Мамина улыбка больше не маячила перед глазами: вместе нее возникла моя.

– Пока все спят, – произнес отец, – с этим будет покончено.

Рядом кто-то всхлипнул. Я жаждала направить вниз прожектор, пусть даже неумело, как случалось у нас в актовом зале, когда луч не сразу попадал на сцену. Столб света мог бы выхватить из темноты скрюченное, сопливое существо, которое размазывало по глазам голубые тени, сучило ногами в ковбойских сапожках и неудержимо писало в штаны. Девочка-подросток.

Она не узнала голос моего отца – столько в нем было ненависти.

– Брайан! – проблеяла Кларисса. – Брайан! – И выставила вперед надежду, как щит.

У отца разжались пальцы, выпустив бейсбольную биту.

– Эй? Кто это?

Оседлав взятый у старшего брата «спайдер-корветт», Брайан Нельсон, огородное пугало, мчался так, что ветер свистел в ушах, и наконец припарковал мотоцикл на школьной стоянке. Естественно, с опозданием: вечно он опаздывал, засыпал на уроках и в столовой, но всегда оживлялся, если листал «Плейбой» или видел смазливую девчонку. Но проспять ночное свидание – это вообще финиш. Впрочем, суесться не стоит. Ветер, надежный соучастник и защитник в задуманном деле, со свистом щипал его за уши.

Освещая себе дорогу здоровенным фонарем, прихваченным из шкафчика под раковиной, где у матери хранился аварийный набор инструментов, Брайан направился к полю. Тут-то он и услышал вопли Клариссы, которые впоследствии додумался назвать мольбой о помощи.

Сердце моего отца превратилось в камень: тяжестью разрывая грудь, оно погнало его впе-

ред, сквозь ряды кукурузных стеблей, где плакала девочка. Когда-то мать вязала ему варежки; Сюзи просила перчатки – от ледяного ветра сводило пальцы. Кларисса! Эта дуреха, подружка Сюзи! Вечно накрашенная, с тропическим загаром, манерно жующая бутербродики с джемом.

В потемках он сбил ее с ног. Девчоночий вопль забивался ему в уши, заполнял его целиком и отдавался эхом в пустой груди.

– Сюзи! – прокричал он в ответ.

Заслышав мое имя, Брайан припустил что есть духу; сонливость как рукой сняло. По полю скакало пятно света, которое на один яркий миг выхватило из тьмы мистера Гарви. Никто, кроме меня, этого не заметил. Луч ударил ему в спину, когда он затаился среди высоких стеблей, дожидаясь следующего всхлипа.

Но в следующую секунду луч уже попал в цель: Брайан, осатанев, стал оттаскивать моего отца от Клариссы. Он колотил его аварийным фонарем – по голове, по спине, по лицу. Мой отец кричал, хрипел, стонал.

Вдруг Брайан заметил бейсбольную биту.

Я заметалась у незыблемой границы моих небес. Мне хотелось дотянуться до отца, поднять его, унести к себе.

Кларисса бросилась бежать; Брайан резко развернулся. Мой отец, едва дыша, встретился с ним взглядом.

– Ну, сучий потрох! – Брайана перекосило от злобы.

С земли доносилось слабое отцовское бормотание. Я расслышала свое имя. Мне почудилось: я лежу вместе с отцом в могиле, ощущаю вкус крови на его лице, провожу пальцами по разбитым губам.

Волей-неволей мне пришлось отвернуться. Что еще оставалось делать на небесах, в моем идеальном мире? Вкус крови отдавал горечью. И кислотой. Мне хотелось, чтобы отец ни на минуту не забывал обо мне, чтобы крепко держал меня своей любовью. Но в то же время мне хотелось и другого: чтобы он отдалился, чтобы оставил меня в покое. Мне была дарована лишь одна ничтожная милость. В комнате, где стояло зеленое кресло, еще хранившее тепло его тела, я задула одинокую мерцающую свечу.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Пока он не очнулся, я стояла у больничной койки. Весть о событиях минувшей ночи разнеслась мгновенно, и полицейские уже не сомневались: мистер Сэлмон от горя тронулся умом и, одержимый жаждой мести, помчался на кукурузное поле. Все знали, что этому предшествовало: назойливые телефонные звонки, слежка за соседом и визит детектива Фэнермена, в тот самый день известившего моих родителей, что дело, похоже, зависло. Улик нет. Тело не нашли. В процессе операции хирург вынужден был удалить коленную чашечку и заменить ее искусственной, отчего сустав утратил подвижность. Наблюдая за этими действиями, я не могла отделаться от мысли, что они очень похожи на кройку и шитье; оставалось только надеяться, что у доктора руки растут откуда следует – не чета моим. На уроках домоводства у меня все выходило как-то криво. Ни «молнию» вставить, ни швы обметать.

К счастью, хирург проявил завидное мастерство. Пока он намыливал и тер щеткой руки, медсестра посвятила его в подробности случившего. Он вспомнил, что писали обо мне газеты. У него тоже были дети, да еще мой отец оказался его ровесником. Содрогнувшись, он стал натягивать перчатки. Как же этот пациент похож на него. И вместе с тем – как не похож.

В больничной полутьме над кроватью моего отца жужжала флуоресцентная лампа. На рас свете в этот полумрак ворвалась моя сестра.

Мама и брат с сестрой проснулись от воя полицейской сирены. Они спустились из своих комнат в темную кухню.

– Сбегай, разбуди отца, – обратилась мама к Линдси. – Неужели он все проспал?

И моя сестра побежала наверх. Все знали, где его искать. Последние полгода зеленое кресло в кабинете служило ему кроватью.

– Его тут нет! – закричала моя сестра, чувствуя неладное. – Ушел! Мама! Мам! Папы здесь нет! – Линдси вдруг превратилась в испуганного ребенка.

– Черт побери! – вырвалось у мамы. – Мамуля? – беспокоился Бакли.

Линдси ворвалась в кухню: Моя мама отвернулась к плите и взялась за чайник. Даже со спины было видно: она превратилась в комок нервов.

– Мама, – дергала ее Линдси, – надо что-то делать.

– Неужели непонятно?... – Мама на секунду замерла, не выпуская из рук банку чая «Эрл Грей».

– Что?

Опустив банку, она включила газ и обернулась. И своими глазами увидела, как Бакли, нервно сосущий большой палец, прижался к моей сестре.

– Он погнался за тем соседом; это не к добру.

– Надо спешить, мама, – настаивала Линдси. – Надо бежать на помощь.

– Нет.

Мама, надо его спасать. Бакли, не смей сосать палец! От испуга мой брат разразился горькими слезами, сестра наклонилась, чтобы покрепче прижать его к себе. Потом она подняла глаза:

– Тогда я одна пойду.

– Никуда ты не пойдешь, – отрезала моя мама. – Он сам явится. Это не нашего ума дело.

– Мам, – стояла на своем Линдси, – а вдруг он ранен?

Бакли перестал реветь и только переводил глаза с мамы на сестру. Он понимал, что означает «ранен» и кто подевался неизвестно куда.

Моя мама со значением посмотрела на Линдси:

– Вопрос закрыт. Либо ступай к себе в комнату, либо жди здесь, вместе со мной. Одно из двух. У Линдси отнялся язык. Она не сводила глаз с мамы, а сама хотела одного: бежать, лететь к моему отцу, ко мне, туда, где теперь – она это явственно представляла – билось сердце нашей семьи. Но тепло, исходящее от Бакли, удерживало ее на месте.

– Бакли, – проговорила она, – пошли наверх. Возьму тебя к себе.

До него начала доходить простая истина: если тебе делают поблажки – значит, случилось что-то страшное.

Когда позвонили из полиции, мама подбежала к аппарату в прихожей.

– Его ударили нашей бейсбольной битой! – выпалила она, хватая плащ, ключи и губную помаду.

Моя сестра вдруг ощутила страшную пустоту и в то же время огромную ответственность. Бакли нельзя было оставить без присмотра, а Линдси не умела водить машину. И потом, все ведь было предельно ясно. Место жены – рядом с мужем, разве не так?

Дозвонившись до матери Нейта, все равно никто в округе уже не спал, – моя сестра четко продумала свои действия. Прежде всего она набрала номер Сэмюэла. Не прошло и часа, как мать Нейта уже забрала к себе Бакли, а перед нашим домом затормозил мотоцикл Хэла. От такого у любой девчонки захватит дух: впервые в жизни вскочить на мотоцикл, прижаться к классному парню... но все помыслы Линдси устремились к нашему отцу.

Когда она вбежала в палату, мамы там не было, только мы с отцом. Остановившись у кровати, моя сестра беззвучно заплакала.

– Папа? – звала она. – Папа, ты жив?

Дверь приоткрылась. В палату заглянул Хэл Хеклер – рослый, видный, классный.

– Линдси, – окликнул он, – если что – я в вестибюле.

Она обернулась, не скрывая слез:

– Спасибо, Хэл. Если увидишь маму...

– Скажу, что ты здесь.

Линдси взяла моего отца за руку и стала вглядываться в его лицо, ища хоть малейшие признаки жизни. Она выросла у меня на глазах. Я прислушалась: она шепотом повторяла песенку, которую пел нам с ней отец, когда Бакли еще не родился:

Камешки-косточки, семечек горсточки, В поле тропинки, стеклышки-льдинки. Папа тоскует, сидит у окошка. Кто же его приголубит немножко? Где его дочери, две баловушки? Прыгают по полю, словно лягушки!

Я мечтала, чтобы папино лицо осветилось улыбкой, но он был где-то далеко, под дурманом наркоза, под пятой ночного ужаса, за гранью бытия. На положенный срок свинцовые кандалы анестезии сковали сознание. Восковые стены сомкнулись в благословенном прошлом, где была жива любимая дочь, где не думалось о коленной чашечке, где не звучали слова детской песенки,



которую напевала другая любимая дочь. – Когда мертвые отпустят живых, – говорила мне Фрэнни, – живые смогут жить дальше.

– А мертвые? – спрашивала я. – Нам-то куда деваться?

Ответа не было.

Лен Фэнермен примчался в больницу по телефонному звонку. Диспетчер сообщил, что его вызывает Абигайль Сэлмон.

Мой отец был еще в операционной; мама расхаживала по коридору у поста медсестер. Она приехала в плаще, накинутом прямо на тонкую ночную сорочку. На ногах домашние тапочки, похожие на балетные пуанты. Волосы распущены по плечам – ни в карманах, ни в сумочке, как назло, не завалилось ни одной круглой резинки. Только губы привычно подкрашены ярко-алым.

Заметив, что в конце длинного белого коридора появился Лен, она немного успокоилась.

– Абигайль, – только и произнес он, приблизившись.

– О, Лен, – отозвалась она.

По лицу было видно: больше ей ничего не приходит в голову. У нее было одно желание – выдохнуть его имя. Все остальное не умещалось в слова.

Как только Лен с моей матерью соприкоснулись руками, дежурные сестры как по команде отвернулись. Они были достаточно хорошо вышколены, чтобы не глазеть на посетителей, но тем не менее успели заметить, что этот мужчина небезразличен жене потерпевшего.

– Выйдем в вестибюль, – предложил Лен и повел мою мать по коридору.

Она сразу сказала, что мой отец на операции. А Лен поведал, что произошло на кукурузном поле.

– Видимо, он принял эту девочку за Джорджа Гарви.

– Клариссу? – Моя мать в изумлении остановилась, не дойдя нескольких шагов до вестибюля.

– Там же было темно, Абигайль. Он бросился на свет фонарика – вот и все. Мои слова его не убедили. Ему повсюду мерещится Гарви.

– А Кларисса не пострадала?

– Пара царапин. Промыли и отпустили домой.

Девочка билась в истерике. Крик, слезы. Роковое совпадение – она же была подружкой Сюзи.

Хэл положил ноги на шлем, прихваченный для Линдси, и задремал в темном углу. Услышав голоса, он заворочался.

Это была моя мама с каким-то легавым. Хэл вжался в кресло и потупился, чтобы длинные волосы спрятали физиономию. Надеялся, что его не узнают.

Но мама вспомнила куртку, в которой приходил к нам Сэмюел, и у нее в голове мелькнуло: «Сэмюел тоже здесь», но следующей мыслью было: «Это его брат».

– Присядем. – Лен указал на ряд стульев у противоположной стены.

– Нет, мне легче, когда я хожу, – ответила моя мама. – Врачи говорят, операция займет не меньше часа, а до этого ничего определенного сказать нельзя.

– Куда пойдем?

– Сигареты есть?

– Конечно есть, – виновато улыбнулся Лен. Он никак не мог поймать ее взгляд. Она смотрела в никуда. В глазах была отрешенность, и ему захотелось помахать рукой у нее перед носом, встряхнуть ее на плечи, чтобы вернуть на землю, заставить смотреть Прямо. На него.

– Пошли на воздух.

Рядом с отцовской палатой обнаружился узкий забетонированный балкон. Его использовали для технических целей: там стоял кондиционер, из которого с жужжанием струился горячий воздух, сразу окутавший их плотной пеленой. Они курили и смотрели друг на друга, будто разом, без лишних слов, открыли новую страницу, на которой для памяти записали неотложное дело.

– Как умерла твоя жена? – спросила моя мама.

– Покончила с собой.

Волосы падали ей на лицо, и мне почему-то вспомнилось жеманство Клариссы. Если мы с ней, бродя по торговому центру, встречали мальчишек, она начинала нервно хихикать и стрелять глазами – хотела убедиться, что ее заметили. Но не меньше поразили меня мамины красные гу-

бы, которые посасывали сигарету и выпускали тонкие струйки дыма. Такой облик я видела один раз в жизни, на той фотографии. Эта мать так и не родила нас – своих детей.

– Почему она наложила на себя руки?

– Этот вопрос точит меня изо дня в день, стоит только отвлечься от таких дел, как убийство твоей дочери.

Мамины губы скривились в странной усмешке.

– Повтори.

– Что именно? – Лен едва удержался, чтобы не обвести пальцем контуры ее рта.

– «Убийство моей дочери», – выговорила мама.

– В чем дело, Абигаиль?

– Никто не произносит этого вслух. Даже соседи. Все говорят: «ужасная трагедия» или как-то так. Я хочу, чтобы вещи назывались своими именами. Чтобы хоть один человек высказался открыто. Раньше я была к этому не готова, а теперь – созрела.

Не загасив окурок, моя мама бросила его на цементный пол и обхватила ладонями лицо Лена:

– Ну, говори.

– Убийство твоей дочери.

– Спасибо тебе.

И тут я увидела, как этот плоский красный рот преодолел незримую границу между моей матерью и остальным миром. Она притянула Лена к себе и неторопливо поцеловала в губы. Сперва он опешил. Все его тело напряглось с немим криком «НЕТ», но это «НЕТ» ослабло и потускнело, кануло в решетку жужжащего кондиционера. Она расстегнула на себе плащ. Он положил руку на полупрозрачную материю тонкой ночной сорочки.

При желании моя мама становилась неотразимой. Еще в детстве я замечала, как она действует на мужчин. Когда мы заходили в магазины, продавцы сами выбирали для нее товары по списку и вызывались отнести покупки в машину. Как и Руана Сингх, в нашем квартале она считалась самой красивой мамочкой; каждый встречный мужчина неизменно расплывался в улыбке. Стоило ей обратиться к нему с пустяковым вопросом, как он начинал таять на глазах.

Но единственным, кто мог ее растормошить, развеселить, да так, что дом звенел от смеха, был мой отец.

Подрабатывая сверхурочно и отказываясь от обеденного перерыва, он умудрялся, пока мы еще были маленькими, по четвергам приезжать домой раньше обычного. Если выходные были «семейными днями», то четверг у них с мамой назывался «родительским днем». Мы с Линдси считали, что в родительские дни полагается хорошо себя вести: не врываться к ним в спальню, не беситься, а играть там, где нас не видно и не слышно, – например, у папы в мастерской, которая в те годы почти не использовалась по назначению.

Около двух часов дня мама начинала приготовления.

– Бегом купаться, – нараспев говорила она, будто отпускала нас поиграть. На первых порах это и было игрой. Мы втроем разбегались по комнатам, чтобы переодеться в махровые халаты. Потом собирались внизу и, взявшись за руки, шествовали в розовую ванную.

В ту пору мама любила рассказывать нам мифологические сюжеты, которые изучала в колледже; особенно нравилась ей история про Персефону и Зевса. Еще она купила иллюстрированную книгу по скандинавской мифологии, хотя от этих грозных богов мы плакали по ночам. Мама получила магистерскую степень по английскому языку и литературе, но прежде выдержала нешуточную битву с бабушкой Линн, которая считала, что для девушки это блажь. Когда мы с Линдси немного подросли, она стала отрабатывать на нас полузабытые педагогические приемы.

Сейчас эти сценки трудноразличимы, да и боги с богинями видятся на одно лицо, но я не могу забыть, как маму на моих глазах что-то сотрясало: будущее, к которому она стремилась и которого не обрела, накатывало на нее беспощадными волнами. Мне казалось, что именно я, первый ребенок, отняла у нее мечту.

Сначала мама вынимала из ванны и растирала полотенцем мою сестру, слушая ее болтовню. Затем наступал мой черед. Как я ни старалась помалкивать, теплая вода пьянила нас обеих, и мы выкладывали маме самое важное. Как мальчишки дразнятся, какой у соседей щенок, почему у нас такого нет. А она внимательно слушала, как будто заносила все мысли в тетраточку памяти, чтобы потом к ним вернуться.

– Так, давайте по порядку, – подытоживала она. – Пункт первый: всем надо хорошенько выспаться!

Я помогала ей укладывать Линдси. Ревниво следила, как она целует мою сестру в лобик и убирает с ее лица пряди волос. С этого момента для меня начиналось соперничество с сестрой. Кого мама ласковее поцелует, с кем дольше побудет после ванны.

К счастью, победа всегда оставалась за мной. Оглядываясь назад, я вижу, что моей маме было одиноко. Это чувство охватило ее почти сразу после переезда в здешние края. И меня, как старшую, она приблизила к себе.

В ту пору я мало что смыслила, но обожала засыпать под тихую колыбельную ее рассказов. У меня на небесах одна из самых больших радостей – возвращаться к этим мгновениям, переживать их заново и быть рядом с мамой, ближе, чем это возможно в детстве. Тянусь через Межграницье и беру за руку мою молодую, сокрушенную одиночеством мать.

Вот что она говорила мне, четырехлетней крохе, про Елену Троянскую: «Стервозная особа, всем карты спутала». Про Маргарет Сэнгер<sup>8</sup>: «Она оказалась заложницей своей внешности, Сюзи. У нее была внешность серой мышки, поэтому молва решила, что ее век будет недолог». Про Глорию Стайнем<sup>9</sup>: «Даже неловко упоминать об этом вслух, но ей давно пора привести в порядок ногти». Про наших соседок: «дурища в обтягивающих штанах», «под каблуком у лицемера-мужа», «типичная мешчанка и сплетница».

– А знаешь ли ты, кто такая Персефона? – рассеянно спросила она меня как-то в четверг.

Я не ответила. К тому времени я научилась держать язык за зубами, когда оставалась с ней наедине. В ванной, пока нас с Линдси купали и вытирали, можно было щебетать, сколько душе угодно. Но за дверью моей комнаты наступал мамин час. Расправив полотенце, она вешала его на медную шишку в изголовье кровати.

– Вообрази, что наша соседка, миссис Таркинг, – это Персефона.

Выдвинув ящик комода, мама доставала пару трусиков. Все предметы одежды она вручала мне поочередно, чтобы не создавать стресса. Мама давно подметила одну мою черту: если передо мной заранее поставить ботинки на шнурках, то никакая сила не заставит меня попасть ногами в гольфы.

– На ней длинная туника, ниспадающая с плеч, как белоснежная простыня, только из нежной блестящей материи, скажем, из шелка. На ногах золотые сандалии. Вокруг горят факелы, озаряя все ярким пламенем...

Вытащив из комода сорочку, она рассеянно натягивала ее на меня через голову, хотя мне уже полагалось одеваться самостоятельно. Когда мама начинала рассказ, я боялась пошевелиться, не то что запротестовать: мол, я уже большая, мне четыре года. Я вся обращалась в слух, внимая моей матери, хранительнице тайнств.

А она откидывала покрывало, и я колбаской откатывалась к стене. Каждый раз мама смотрела на часы и говорила: «Буквально на минутку», сбрасывала тапочки и ныряла ко мне под одеяло.

Мы обе хотели раствориться в фантазиях. Мама погружалась в собственный рассказ. Я погружалась в мелодию ее голоса.

Из этих рассказов я узнала про богиню Деметру, мать Персефоны, а также про Амура и Психею: под эти истории я отходила ко сну. Иногда меня будили доносившиеся из соседней спальни звуки смеха или неурочных супружеских ласк. В полудреме я наостряла уши, а сама представляла, что наша семья очутилась в теплом трюме парусного корабля, о котором читал нам отец, и теперь мы все плывем по океанским волнам. Вскоре, убаюканная тихим смехом и приглушенными стонами, я опять засыпала.

Но позднее, когда мне исполнилось десять лет, а Линдси – девять, мамины погружения в сказочный мир, отчасти подменявший реальность, будто отрезало. У нее случилась задержка месячных, и обращение к доктору не оставило никаких иллюзий. Когда она взалхлеб рассказывала нам с сестрой о грядущем прибавлении в семействе, за ее улыбкой скрывался какой-то душев-

<sup>8</sup> Маргарет Сэнгер (1879-1966) – с 1910-х гг. активистка движения по контролю за рождаемостью

<sup>9</sup> Глория Стайнем (р.1934) – видная американская феминистка

ный надлом. По причине юного возраста я не брала это в голову. Перехватив мамину улыбку, как вымпел, я ринулась в страну чудес, где меня ждал только один вопрос: кому же я стану сестрой – мальчику или девочке?

Будь у меня побольше мозгов, я бы сразу заметила перемены. Но мне только теперь открылись эти знаки. Раньше на прикроватном столике в родительской спальне громоздились каталоги местных колледжей и университетов, мифологические словари, романы Генри Джеймса, Элиот и Диккенса. В какой-то момент их вытеснили труды доктора Спока. К ним, в свою очередь, добавились книжки по садоводству и кулинарии. Вплоть до маминого дня рождения, который мы отмечали за два месяца до моей смерти, я привычно считала, что лучшим подарком ей будут журналы «Дом и сад» и «Радужная хозяйка». Осознав, что беременна третьим ребенком, она перекрыла все подходы к себе прежней – хранительнице тайнств. Замуровала, но не смогла задушить свои чаяния. Наоборот, они выросли и окрепли, а после встречи с Леном проломили, разрушили, снесли глухую стену. Им проторил дорогу беспощадный плотский зов, и мама пошла вперед, ступая по обломкам.

Мне тяжело было это видеть. Их первые объятия получились торопливыми, неловкими, жадными.

– Абигайль, – Лен сжимал под плащом ее талию, не замечая эфемерной батистовой преграды, – подумай, что ты делаешь.

– Мне осточертело думать. – Ее волосы развевались ореолом в потоке горячего воздуха. Лен сощурился. Великолепная, опасная, неукротимая.

– Твой муж... – выговорил он.

– Поцелуй меня, – сказала она. – Пожалуйста.

Я уловила в ее голосе заискивающие нотки. Она буквально летела сквозь время, чтобы только скрыться от моего взгляда. И мне было ее не удержать.

Лен крепко поцеловал ее в лоб и закрыл глаза. Она сама положила его ладонь себе на грудь. Что-то зашептала ему на ухо. Я знала, какие силы подталкивают ее к нему. Неистовство, скорбь, безысходность. На этом тесном балконе вся ее жизнь вспыхнула обжигающей электрической дугой. Лен понадобился ей для того, чтобы отгородиться от погибшей дочери.

Он целовал ее, прижимая спиной к шершавой стене, и моя мама хваталась за него, как за спасательный круг, уносящий в какую-то новую жизнь.

По дороге из школы я частенько останавливалась у нашего забора и следила, как мама разезжает на газонокосилке, петляя среди сосен. В такие минуты мне вспоминалось, как она раньше насвистывала какой-то мотив, когда заваривала утренний чай, и как отец, примчавшись домой в «родительский день», дарил ей букетик ноготков, а она при этом вспыхивала радостным солнечным румянцем. Их чувство было глубоким, полным, всеохватным. Она могла бы и дальше купаться в этой любви, но с рождением детей стала уплывать все дальше по течению. С годами мой отец прикипал к нам сильнее и сильнее, а мама только отдалялась.

Линдси задремала у больничной койки, но не выпускала папину руку. Моя мама, в совершенно непотребном виде, прошмыгнула мимо Хэла Хеклера; немного погодя тем же путем зашел и Лен. Хэл моментально просек тему. Подхватив шлем, он двинулся за ними по коридору.

Мама, выйдя из женского туалета, направилась к отцовской палате; здесь-то ее и перехватил Хэл:

– Там дочка ваша.

Она обернулась.

– Хэл Хеклер, – напомнил он. – Брат Сэмюела. Я на панихиду приходил.

– Ах да, простите, не узнала.

– Вы и не обязаны всех узнавать, – сказал Хэл.

В воздухе повисло тягостное молчание.

– Короче, Линдси позвонила, я ее подбросил, уже час как.

– Ага.

– Бакли у соседей, – добавил он.

– Ага. – Она смотрела на него в упор и медленно плыла обратно, к действительности, держа курс на его лицо.

– Вам нехорошо?

– Да, я немного не в себе, но это можно понять, верно?

– Чего уж тут не понять, – с расстановкой проговорил он. – Короче, дочка ваша здесь, сидит с вашим мужем. Если что понадобится – я в вестибюле.

– Благодарю вас, – сказала она.

Ее глаза смотрели ему вслед, а слух ловил шаги стоптанных мотоциклетных ботинок.

Через несколько мгновений она опомнилась и взяла себя в руки, но до нее так и не дошло, что именно этого добивался Хэл.

В палате было совсем темно. Флуоресцентное мерцание выхватывало из мрака только крупные очертания. Моя сестра поставила у кровати кресло и прикорнула, положив голову на подлокотник, но не выпуская папину руку. Отец, в глубоком забытии, лежал на спине. Моей маме было невдомек, что я не покидала их ни на минуту; теперь мы собрались вчетвером, но уже совсем не такие, как прежде, когда она укладывала нас с Линдси спать, а сама бежала заниматься любовью с мужем – нашим отцом. Теперь перед ней предстали только разрозненные фрагменты былого. Но увидела она и то, что мои сестра с папой составляют единое целое. Ее это порадовало.

Я росла, играя в прятки с материнской любовью: старалась выманить ее из укрытия и заслужить похвалу. С папой такие ухищрения не требовались.

Теперь мне не нужно было играть в эти игры. Мама замерла в темной палате, глядя на мою сестру с отцом, а я отметила про себя одну из возможностей, которые дает небо. У меня появилось право выбора, и я предпочла сохранить в сердце нашу семью целиком.

По ночам в воздухе больниц и домов престарелых иногда становится тесно: там плывут души. Когда нам с Холли не спалось, мы смотрели, как это происходит. Вскоре нам стало ясно, что их движения направляются откуда-то издалека. Причем не из нашей небесной сферы. И тогда мы заподозрили, что есть место еще более всеобъемлющее, чем наше. Поначалу к нам присоединялась Фрэнни.

– Это – одна из моих тайных радостей, – призналась она. – Прошло уже столько лет, а мне до сих пор интересно наблюдать, как души во множестве парят в воздухе, кружатся, поднимают галдеж.

– Мне ничего не видно, – пожаловалась я в самый первый раз.

– А ты смотри внимательно, – сказала она. – И не шуми.

Но все равно я сперва научилась их чувствовать, а потом уже видеть: кожу рук покалывали крошечные теплые искорки. Через какое-то время они превратились в светлячков, которые взмывали вверх, росли, стонали, кружились, покидая человеческую плоть.

– Как снежинки, – говорила Фрэнни. – Двух одинаковых не бывает, а отсюда кажется: что одна – что другая.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Осенью семьдесят четвертого Линдси начала новый учебный год не просто как сестра убитой девочки, а еще и как дочка «психа», «придурка», «чокнутого», и это было просто невыносимо, потому что не лезло ни в какие ворота.

Слухи, доносившиеся до ушей Линдси и Сэмюела в первые недели учебного года, забивались в ученические шкафчики и выползали обратно, как назойливые ядовитые змеи. В орбиту сплетен оказались втянутыми Брайан Нельсон и Кларисса, но те, к счастью, уже перешли в старшие классы. А уж там, в «Фэрфаксе», Брайан с Клариссой, не отходившие друг от друга ни на шаг, без зазрения совести мололи языками – чтобы только себя выгородить – о позоре моего отца.

Рэй и Рут шли вдоль застекленной стены, которая выходила на школьный двор. На фальшивых валунах, предназначенных для нарушителей дисциплины, по-хозяйски расположился Брайан. В тот год у него даже изменилась походка: озабоченное пугало прониклось мужским апломбом. Кларисса, нервно хихикая от страха и похоти, все-таки раздвинула ноги и отдалась Брайану. Все, кого я знала, выросли – каждый по-своему.

А Бакли пошел в детский сад – и в первый же день влюбился в воспитательницу, мисс Коукли. Она с такой нежностью держала его за ручку, когда отводила в туалет или объясняла задание, что он потерял голову. С одной стороны, он не прогадал: она то и дело добавляла ему

печенья или усаживала на самую мягкую подушку, но с другой стороны, это отличало его от других детей, ставило на отдельную ступеньку. Даже среди ровесников, где ему сам бог велел быть таким, как все, он был отмечен печатью моей смерти.

Сэмюел обычно провожал Линдси до дому, а потом выходил на главную дорогу и автостопом добирался до автомастерской Хэла. Расчет был на то, что мимо непременно поедет кто-нибудь из многочисленных дружков брата; Сэмюела подбирали дребезжащие колымаги, а Хэл в благодарность подтягивал гайки или регулировал обороты.

Он давно у нас не бывал. Через порог переступали только свои. К началу октября мой отец мало-помалу стал передвигаться без посторонней помощи. Врачи предупредили, что правая нога не будет сгибаться в колене, но если делать гимнастику и побольше двигаться, неудобства со временем отойдут на второй план. «В бейсбол играть не будете, но все остальное – пожалуйста», – сказал хирург наутро после операции, когда отец, проснувшись, увидел рядом с собой Линдси, а поодаль – мою маму, смотревшую из окна на стоянку.

Бакли, изнеженный заботами мисс Коукли, занял свое место в пустой пещере отцовского сердца. Он сыпал бесконечными вопросами про «новую коленку», и мой папа оттаял.

– Коленка – не простая, а космическая, – объяснял он. – На землю были доставлены кусочки Луны, их распилили на части и стали использовать для таких вот изделий.

– Вот это да! – хохотал Бакли. – А когда можно Нейта позвать, чтобы он посмотрел?

– Скоро, Бак, уже вот-вот, – отвечал мой отец, но его улыбка тускнела.

Когда Бакли пересказывал эти и другие разговоры нашей маме («У папы косточка для ноги сделана из лунного камня» или «Мисс Коукли говорит, у меня цвета просто замечательные»), она только кивала. С некоторых пор она уделяла преувеличенное внимание домашнему хозяйству. Резала морковь и сельдерей для еды тонкими длинными брусочками. Тщательно промывала термосы и коробочки для завтрака; а когда Линдси отказалась таскать с собой коробочку, моя мама тут же выбрала в магазине вощеные пакеты, которые не пропускали ни влаги, ни жира и не оставляли пятен на одежде. Которую мама стирала. И складывала. И, если нужно, гладила. И развешивала в шкафу. А до этого подбирала с пола, или приносила в дом из машины, или извлекала из скомканного мокрого полотенца, брошенного на кровать, которую она по утрам застила-ла, натягивая уголки простыней и взбивая подушки, а потом рассаживала по местам плюшевых зверей и раздвигала шторы, чтобы впустить дневной свет.

Если Бакли все же удавалось до нее достучаться, она шла на компромисс. Несколько минут выслушивала его болтовню, а потом позволяла себе унести-ся мыслями далеко от дома, чтобы оказаться рядом с Леном.

К началу ноября мой отец, говоря его же словами, «уверенно ковылял на своих двоих». Когда Бакли его подначивал, он даже мог сделать судорожный скачок: если ребенок заливался радостным смехом, стоило ли беспокоиться, как убого и жалко это выглядело со стороны, в глазах моей мамы. За исключением Бакли, всем была памятна надвигающаяся дата: первая годовщина.

Прохладными осенними вечерами отец выходил на задний двор с Бакли и Холидеем. Он усаживался на старую чугунную скамью и клал вытянутую ногу на бесполезную решетку для чистки подошв, которую выискала бабушка Линн в одном из антикварных салонов Мэриленда.

Бакли подбрасывал писклявую резиновую игрушку, а Холидей кидался ее ловить. Мой папа наслаждался подвижной игрой своего пятилетнего сына и залихватским детским смехом. Холидей то и дело сбивал Бакли с ног и лизал щеки длинным розовым языком. Одна лишь мысль не давала отцу покоя: этого ребенка, этого чудесного мальчугана, тоже могут у него отнять.

В силу целого ряда причин, к которым теперь добавилась травма, он взял длительный отпуск. Его начальника словно подменили, так же как и рядовых сотрудников. Мимо кабинета, в котором работал мой отец, все ходили на цыпочках, избегая приближаться к его столу: можно было подумать, они бегут себя, чтобы не заразиться. Никто не интересовался его состоянием; все бы предпочли, чтобы он сложил свои горести в папку и сдал в архив, с глаз долой. Но он регулярно являлся в офис, и начальник был только рад предоставить ему неделю отдыха, потом еще одну, да хоть целый месяц, если будет такая необходимость. Отец решил, будто это ему награда за то, что он никогда не опаздывал и не отказывался от сверхурочной работы. Так или иначе, он теперь не искал встречи с мистером Гарви и старался выбросить его из головы. Даже фамилию эту не упоминал – разве что в своем блокноте, тщательно спрятанном в мастерской. «Мне нужно сделать передышку, доченька, – писал он. – Нужно обдумать, как его прижать.

Пойми меня».

Он задумал выйти на службу второго декабря, после Дня благодарения. В годовщину моей гибели ему хотелось быть на рабочем месте. Заниматься делом, наверстывать упущенное, общаться с людьми, чтобы хоть как-то отвлечься. А если уж совсем честно – чтобы не находиться рядом с моей мамой. Как доплыть до ее острова, как до нее дотянуться... Разрыв только увеличивался: вся ее сущность восставала против домашнего уклада, а его сущность стремилась в дом. Он поставил себе целью набраться сил и возобновить слежку за мистером Гарви. Искать виновного было все же легче, чем суммировать растущие столбцы своих потерь.

На День благодарения ожидался приезд бабушки Линн. Моя сестра истово соблюдала правила ухода за своей внешностью, которые содержались в бабушкиных письмах. Лишь на первых порах она поеживалась, когда закрывала глаза кружками свежего огурца («снимает припухлость век»), делала маску из овсянки («очищает поры, уменьшает жирность кожи») или наносила на волосы яичный желток («придает живой блеск»). На это уходило столько продуктов, что мама даже посмеялась, а потом подумала, не заняться ли ей тем же. Впрочем, идея тут же улетучилась: мамиными мыслями всецело завладел Лен, но не потому, что она его любила, а потому, что не знала других способов забыться.

Как-то раз, за две недели до приезда бабушки Линн, мои папа и брат вышли во двор с собакой. Бакли и Холидей начали беситься среди огромных куч сухих дубовых листьев.

– Полегче, Бак, – предостерег папа. – Он тебя тяпнет за ногу.

Так и вышло.

И тут моему папе захотелось испытать свои силы.

– Поглядим, сможет ли старик-отец покатать тебя на закорках, пока ты еще не вымахал с него ростом.

В желанном уединении нашего двора, преодолевая неловкость и зная, что, случись ему упасть, свидетелями будут только любящие сын и пес, мой папа напряг все свои силы, чтобы восстановить былую легкость в отношениях с младшим ребенком. Бакли забрался на чугунную скамью, а папа, со словами «ну-ка хватайся за шею и прыгай мне на спину», слегка пригнулся, хотя был далеко не уверен, что может сдвинуться с места, – я у себя на небесах затаила дыхание и сложила пальцы крестиком. Что было на кукурузном поле, то прошло, а теперь отец стал в моих глазах героем: он по крупичкам собирал нормальную жизнь, преодолевая недуг, чтобы только вернуть из прошлого такие минуты.

– Голову пригнуть, еще раз голову пригнуть! – командовал он, приближаясь к дверному проему и поднимаясь по ступенькам.

Ему было все труднее удерживать равновесие, каждый шаг отдавался пронзительной болью. Холидей, как очумелый, крутился под ногами, Бакли захлебывался от восторга, и мой отец понимал, что, преодолевая мучения, совершает единственно правильную вещь.

Наверху, в ванной комнате, куда они ввалились в сопровождении пса, их встретил негодующий вопль Линдси:

– Ну, па-а-а-па!

Мой отец выпрямился. Бакли потянулся вверх и достал рукой лампу.

– Чем ты тут занимаешься? – спросил отец.

– Неужели непонятно, чем я тут занимаюсь?

Она сидела на крышке унитаза, закутавшись в большое махровое полотенце (из тех, что моя мама отбеливала, из тех, что развешивала на веревке, потом снимала с веревки, складывала в бельевую корзину, относила в дом, убирала в комод...). Ее левая нога, вся в белой пене, стояла на краю ванны. В руке моя сестра сжимала папину бритву.

– Не сердись, – сказал отец.

– Ну, извини:– Линдси опустила глаза. – Неужели я даже в таком месте не могу побыть одна?

Мой отец поднял Бакли через голову.

– На полочку, сын, на полочку, – сказал он, и Бакли, ошарашенный от запретного счастья, опустил ноги на длинную полку, оставляя грязные следы на безупречном кафеле.

– Теперь прыгаем вниз.

Это было проще простого. Холидей уже стоял на подхвате.

– Не рановато ли тебе ноги брить, милая? – заметил мой отец.

- Бабушка Линн с одиннадцати лет это делает.
- Бакли, забери-ка собаку и ступай к себе. Я сейчас приду.
- Давай скорее, папа.

Бакли все еще был малышом, которого папа мог усадить к себе на плечи – пусть не сразу, пусть с некоторыми трудностями, но все же так, как положено отцу. Однако при виде Линдси моего папу пронзила совсем другая боль. Когда-то меня, новорожденную, купали в этой ванне, потом я училась ходить, и меня поднимали, чтобы я могла дотянуться до раковины, но мне не суждено было стать такой, какой сейчас открылась ему моя сестра.

Когда за Бакли закрылась дверь, папа обратился к моей сестре. Он заботился о двух дочерях сразу, уделяя вдвое больше внимания одной.

- Не порезалась?
- Еще не успела. Слушай, папа, ты можешь оставить меня в покое?
- Это то самое лезвие, которое было в станке?
- Допустим.
- Знаешь, от моей щетины оно затупилось. Давай-ка я тебе новое принесу.
- Давай, – согласилась моя сестра, превращаясь в его крошку-дочурку, которую можно носить на плечах.

Он спустился вниз и прошел через весь дом в общую ванную, которой по-прежнему пользовался на пару с Абигайль, хотя они давно уже спали в разных комнатах. Достав из шкафчика упаковку бритвенных лезвий, он почувствовал, как по щеке ползет предательская слеза. И только где-то в глубинах сознания мелькнула мысль: «Этим должна заниматься Абигайль».

Вернувшись к моей сестре, он показал ей, как менять лезвие, и дал пару советов.

– Осторожнее у коленок и на щиколотках, – сказал он. – Мама их называет опасными зонами.

– Ладно уж, оставайся, если хочешь, – смягчилась Линдси. – Только вдруг я порежусь и тебя кровью перепачкаю? – Тут ее как ударило. – Ой, пап, ты садись.

Она встала и пересела на край ванны, а папа опустил на крышку унитаза.

– Все нормально, родная моя, – сказал он. – Давно мы с тобой не беседовали о твоей сестре.

- А зачем? – спросила Линдси. – Она и так рядом, повсюду.
- Похоже, твой братишка вполне оправился.
- От тебя не отлипает.
- Верно, – кивнул мой отец и поймал себя на том, что ему это приятно.
- Ой! – вскрикнула Линдси, заметив, как сквозь белую пену просачивается красная капля. –

Как назло!

– Прижми порез большим пальцем. Это остановит кровь. Выше колена не заходи, – посоветовал он. – Мама всегда этим ограничивается, если, конечно, не ехать на пляж.

Линдси выпрямилась:

- Не помню, чтобы вы ездили на пляж.
- Раньше ездили.

Мои родители познакомились в магазине «Уонамейкерс», где оба подрабатывали во время студенческих каникул. Он посетовал, что комната отдыха для персонала насквозь провоняла никотином, а ода с улыбочкой вытащила свою неизменную пачку «Пелл Мелл». «Не в бровь, а в глаз», – сказал он и просидел рядом с ней весь перерыв, давась от табачного дыма.

- Не пойму, на кого я больше похожа, – сказала Линдси, – на бабушку Линн или на маму?
- Я всегда считал, что вы с сестрой похожи на мою мать, – ответил он.
- Пап?
- Да?

– Ты все-таки считаешь, что мистер Гарви замешан в этом деле?

Два электрода наконец-то сблизились и заискрили.

– Ничуть не сомневаюсь, родная моя. Ничуть.

– Почему же Лен его не арестовал?

Линдси закончила терзать левую ногу и в ожидании ответа неловко подняла вверх бритвенный станок с клочьями пены.

– Даже не знаю, как объяснить, – начал мой отец, с трудом выдавливая слова: он никогда и



ни с кем не делился такими подробностями. – Помнишь, я был у него во дворе и помогал сооружать этот шатер – он еще говорил, что, дескать, возводит его в память о жене, и я твердо помню, он называл ее Софи, а у Лена почему-то записано «Лия»; так вот, его повадки не оставили у меня ни малейших сомнений.

– Все говорят, он с прибабахами.

– Это понятно, – сказал отец. – Но с другой стороны, с ним никто напрямую не общается. Соседи не могут знать природу его странностей.

– Какую еще природу?

– Насколько он безобиден.

– Холидей его на дух не переносит, – сказала Линдси.

– Вот именно. Чтобы наш пес так захлебывался лаем... В тот раз у него даже шерсть на загривке поднялась дыбом.

– Копы считают, ты на этом заикнулся.

– Копы заладили: «Улик нет». А без улик и – ты уж прости, родная моя, – без трупа у них нет ни зацепок, ни оснований для ареста.

– Какие нужны основания?

– Наверно, любые предметы, которые подтвердят его причастность к исчезновению Сюзи. Или показания людей, которые видели, как он слоняется в поле или хотя бы отирается возле школы. Что-то в этом роде.

– А вдруг у него осталось что-то из ее вещей?

Они оба разгорячились, и правая нога Линдси, уже намыленная, так и осталась небритой, потому что икры взаимопонимания полыхнули внезапным озарением: может случиться, я нахожусь в том доме. Мое тело – либо в подвале, либо на первом этаже, на втором, на чердаке. Чтобы не высказывать вслух эту жуткую мысль (ах, будь это правдой – очевидной, определяющей, окончательной, – других улик никто бы не требовал), они стали перечислять, как я была одета в последний день, что у меня было при себе: любимая «стерка» с физиономией Фрито Бандито<sup>10</sup>, значок с Дэвидом Кэссиди<sup>11</sup>, пришпиленный к сумке изнутри, еще один значок, с Дэвидом Боуи, пришпиленный снаружи. Они называли всякую дребедень, которая сопровождала самую главную, неопровержимую и страшную из всех возможных улик – мой расчлененный труп с бессмысленными, гниющими глазами.

Глаза: косметика, наложенная рукой бабушки Линн, лишь отчасти избавила Линдси от повального наваждения, когда в ее глазах всем чудились мои. Если Линдси видела свои глаза со стороны – в зеркальце одноклассницы, в витрине магазина, – она спешила отвернуться. Но больше всех страдал мой отец. Во время их разговора Линдси осознала: пока обсуждается эта тема – мистер Гарви, моя одежда, сумка с учебниками, тело, мой характер, – отец сосредоточен исключительно на мне и не рассматривает ее как трагическое воплощение обеих своих дочерей.

– То есть ты хочешь проникнуть к нему в дом? – уточнила Линдси.

Они в упор смотрели друг на друга, боясь признаться в опасных замыслах. После некоторого колебания отец промямлил: мол, такие действия противозаконны, нет, он еще об этом не думал, но Линдси уже поняла, что это неправда. Поняла она и другое: ему нужен сообщник.

– Не буду тебе мешать, дочка, – сказал он.

Линдси согласно кивнула и отвернулась, по-своему истолковав последнюю фразу.

Бабушка Линн приехала в понедельник, накануне Дня благодарения. Ее взгляд, который лучом лазера выхватывал малейшие прыщики на лице внучки, теперь обнаружил что-то неладное за улыбкой дочери, за умиротворенностью плавных движений, за оживлением, которое наступало с приходом полицейских, в особенности Лена Фэнермена.

А когда моя мама отказалась от помощи отца, предложившего вместе убрать со стола после обеда, взгляд-лазер был отключен за ненужностью. Непререкаемым тоном, к изумлению всех сидящих за столом и к облегчению моей сестры, бабушка Линн сделала заявление:

– Абигайль, помогать буду я. Управимся вдвоем, на то мы и мать с дочкой.

<sup>10</sup> Мексиканский разбойник, персонаж выходивших в 1967-1971 гг. мультипликационных рекламных роликов кукурузных чипсов «Фрито»

<sup>11</sup> Дэвид Кэссиди (р.1950) – американский актер и музыкант, звезда телесериала «Семейка Парtridge»

– Зачем?

Моя мама успела прикинуть, как отпустит Линдси, а сама проведет вечер у раковины, неторопливо перемывая тарелки и глядя в окно, пока темнота не выведет ее отражение на оконном стекле. А там, глядишь, и телевизор умолкнет, и можно будет снова остаться наедине с собой.

– Не хочу маникюр портить, – сказала бабушка Линн, подвывая фартук поверх расклешенного книзу бежевого платья. – Ты будешь мыть, а я – вытирать.

– Мама, честное слово, это никому не нужно.

– Нет, нужно, уж ты поверь, милочка, – сказала бабушка Линн.

Что-то назидательное и ядовитое сквозило в этом слове: «милочка».

Бакли взял моего отца за руку и повел в соседнюю комнату смотреть телевизор. Они заняли свои любимые места, а Линдси, получив амнистию, побежала наверх звонить Сэмюелу.

Странно было это видеть. Непривычно. Бабушка в кухонном фартуке, с полотенцем в руках, как матадор с красной тряпкой, нацеливается на вымытые тарелки.

За мытьем посуды они не разговаривали, и эта тишина, нарушаемая только плеском горячей воды, скрипом чистой посуды и звяканьем столового серебра, постепенно заполнялась невыносимым напряжением. Из-за стенки доносились вопли футбольного комментатора, и это было не менее странно. Папа никогда не смотрел футбол, он интересовался только баскетболом. А бабушка Линн никогда не снисходила до мытья посуды: она из принципа покупала готовые «заморозки» или заказывала еду в ресторане с доставкой на дом.

– Все, баста, – не выдержала она. – Держи, – и сунула моей маме очередную чистую тарелку. – У меня к тебе серьезный разговор – боюсь, я все переколочу. Пойдем-ка прогуляемся.

– Нет, мама, сначала надо...

– Сначала надо прогуляться.

– Когда разделаюсь с посудой.

– Послушай, – сказала бабушка, – я не обманываюсь: я – это я, а ты – это ты, и мы с тобой разные, что ничуть тебя не огорчает. Но меня не проведешь. Я чую: здесь пахнет жареным. Понятно?

По маминому лицу пробежала тень, мягкая и неуловимая, как ее собственное отражение в мыльной воде.

– О чем ты?

– Есть кое-какие соображения, но я не собираюсь делиться ими здесь.

Так держать, бабушка Линн, подумала я. Мне еще не доводилось видеть ее такой взвинченной.

Трудностей с уходом из дому не предвиделось. Мой папа, с его-то больным коленом, ни за что не вызвался бы их сопровождать, тем более что Бакли непременно увязался бы следом.

Моя мать замолчала. Ей некуда было деваться. Они спустились в гараж, бросили фартуки на крышу «мустанга», а потом мама наклонилась и подняла дверь.

Время было еще не позднее, их прогулка начиналась при дневном свете.

– Можно собаку взять, – предложила моя мама.

– Нет уж, пойдешь вдвоем с матерью, – отрезала бабушка Линн. – Сладкая парочка.

Они никогда не были близки. И обе это понимали, но не любили признавать. Изредка друг дружку подкалывали, как две девчонки, которые не очень-то ладят, но во всей округе не могут найти других сверстниц. Зато теперь бабушка, которая раньше только смотрела, как ее дочь несется по воле волн, уверенно шла на сближение, хотя раньше к этому не стремилась.

Они миновали дом О'Дуайеров и приближались к изгороди Таркингов; только тут моя бабушка заговорила о главном.

– Мой характер похоронил под собой одну историю, против которой я оказалась бессильна, – сказала она. – У твоего отца в Нью-Гемпшире был многолетний роман. Его пассию звали как-то на букву «Ф», но я так и не узнала ни имени, ни фамилии. Хотя за минувшие годы перебрала тысячу возможных вариантов.

– Мама, что я слышу?

Моя бабушка шагала вперед, не поворачивая головы. Легкие наполнились прохладным осенним воздухом; тяжесть отступала.

– Ты не догадывалась?

– Ни сном, ни духом.

– Понимаю, Я вроде бы не посвящала тебя в эти дела. Тогда казалось, тебе ни к чему это знать. А теперь, думаю, не повредит. Ты согласна?

– Не понимаю, зачем ворошить прошлое.

Они дошли до поворота, откуда можно было отправиться назад. А если пойти прямо, то дорога вела к дому мистера Гарви. Мама похолодела.

– Бедная моя, голубушка моя, – сказала бабушка. – Дай-ка руку.

Обеим было не по себе. В детстве моя мама могла пересчитать по пальцам, сколько раз ее отец наклонялся с высоты своего роста, чтобы поцеловать ее, маленькую девчушку. Колочая щетина источала запах одеколона, который за все эти годы так и не удалось распознать. Моя бабушка взяла свою дочь за руку и повела в прошлое.

Перед ними раскинулись новостройки. С годами район становился все более населенным. Якорное строительство – так назвала моя мама эти дома, потому что они выстроились вдоль улицы, соединяющей новый квартал с основным жилищным массивом: город словно бросил якорь у старой дороги, проложенной задолго до того, как здесь возник населенный пункт. Дорога вела в сторону Вэлли-Фордж, Джордж Вашингтон и Революшн.

– Смерть Сюзи вернула мне твоего отца, – выговорила бабушка Линн. – Я ведь так и не позволила себе по-настоящему с ним проститься.

– Знаю.

– Осуждаешь?

Моя мама помолчала.

– Осуждаю.

Бабушка Линн погладила ее руку свободной ладонью.

– Вот и хорошо. Понимаешь, это дорогого стоит.

– Что именно?

– Да то, что сейчас выплывает на свет. Между тобой и мной. Драгоценный росток правды.

Они шли мимо одинаковых участков по четыре сотки, где только в последние двадцать лет появились деревья. Не то чтобы они вытянулись до небес, но, во всяком случае, вдвое переросли отцов семейств, которые по выходным сажали на ровном месте прутьики, утапывая землю грубыми рабочими ботинками.

– А знаешь, как мне было одиноко все эти годы? – спросила моя мама у своей.

– Мы же не зря пошли пройтись, Абигайль, – ответила бабушка Линн.

Моя мама смотрела прямо перед собой, но ощущала только их сцепленные руки – свою и бабушкину. Ее полоснула мысль о неразделенном детстве. Перед глазами возникли две ее дочери, которые связывали веревочкой пару бумажных стаканов и расходились по разным комнатам, чтобы нашептать свои секреты. Что они при этом чувствовали, ей было неведомо. А в родительском доме жили только отец с матерью да она сама. Потом и отца не стало.

Она подняла глаза к верхушкам деревьев, которые, на многие мили вокруг, были самыми высокими точками здешних мест. Мама с бабушкой не заметили, как оказались на вершине холма, обойденного новой застройкой; здесь обитали только редкие старики-фермеры.

– Не могу рассказать, что со мной творится, – сказала она. – Ни одной живой душе.

Солнце катилось по склону, маня их за собой. Они не оглядывались по сторонам. У мамы на глазах последнее мерцание света кануло в придорожную лужу.

– Не знаю, как быть, – вздохнула она. – Теперь все кончено.

Бабушка могла только гадать, что значит «все», но не стала допытываться.

– Может, пора вернуться? – осторожно предложила она.

– Куда? – спросила моя мама.

– Домой, Абигайль. Пора двигаться к дому.

Они развернулись и пошли в обратном направлении. Постройки, следовавшие одна за другой, были одинаковыми, словно близнецы. Только «аксессуары», как выражалась моя бабушка, служили знаками отличия. Она, хоть убей, не понимала, что хорошего в таком захолустье, где по доброй воле поселилась ее родная дочь.

– У развилки сделаем небольшой крюк, – сказала моя мама. – Пройдем мимо.

– Мимо его дома?

– Да.

Я видела, как бабушка Линн послушно следует за моей мамой.

– Обещай больше не встречаться с этим типом, – потребовала бабушка.  
– С каким?  
– С которым ты связалась. Вижу, до тебя не дошло, к чему я вела речь.  
– Ни с кем я не связалась. – Мамины мысли, как птицы, порхали с одной крыши на другую. – Послушай, мама. – Она словно что-то вспомнила.

– Да, Абигайль?

– Если мне понадобится ненадолго уехать, можно будет пожить в папином домике?

– Ты все пропустила мимо ушей?

В воздухе поплыл какой-то запах, и мамини растревоженные мысли снова разлетелись по сторонам.

– Кто-то курит.

Бабушка Линн вытаращила глаза. От прагматичной, чопорной матери семейства, какой она привыкла видеть свою дочь, не осталось и следа. Перед ней стояла легкомысленная, рассеянная вертихвостка. На такую не было смысла тратить слова.

– Сигареты не здешние, – определила моя мама. – Давай-ка проследим, откуда ветер дует!

На глазах у изумленной бабушки моя мама пошла на запах,

– Ты как хочешь, а я – домой, – отрезала бабушка Линн.

Но маму было уже не остановить.

Вскоре она обнаружила источник ароматного дымка. Оказалось, это Руана Сингх, стоявшая у себя за домом под прикрытием раскидистой ели.

– Добрый вечер, – окликнула моя мама.

Вопреки моим ожиданиям, Руана не вздрогнула. Она давно воспитала в себе полную невозмутимость. В самых разных ситуациях – будь то приход полицейских с подозрениями в адрес ее сына или званый ужин, на котором ее муж выступал, как на ученом совете, – она и бровью не вела. В тот день она сказала Рэю, чтобы тот шел к себе, а сама незаметно выскользнула через черный ход.

– Миссис Сэлмон, – признала ее Руана и выдохнула густой сигаретный дым; увлекаемая теплом ее голоса и этим запахом, моя мама пожала протянутую руку. – Рада вас видеть.

– У вас гости? – спросила мама.

– У мужа гости. А я так, по хозяйству.

Моя мама улыбнулась.

– Не лучшее место для жизни, – сказала Руана.

Их глаза встретились. Мама кивнула. Где-то позади плелась по дороге ее собственная мать, но сейчас они с Руаной оказались на тихом островке, вдали от континента.

– У вас не найдется закурить?

Конечно, конечно, миссис Сэлмон. – Пошарив в кармане длинного черного жакета, Руана выудила пачку сигарет и зажигалку. – «Данхилл». Годится?

Закурив сигарету, мама вернула Руане синюю пачку с золотой фольгой.

– Меня зовут Абигайль, – сказала она, затягиваясь. – Называйте меня, пожалуйста, Абигайль.

Рэй сидел без света у себя в комнате и вдыхал запах материнских сигарет, которые изредка поворовывал. Мать делала вид, будто не замечает, а он делал вид, будто не догадывается, что она курит. Снизу доносились голоса: отец и его коллеги громко спорили на шести языках, иронизируя над предстоящим праздником – типично американской выдумкой. Рэй не догадывался, что наши матери стоят рядом у них на лужайке, а я вижу его сквозь оконное стекло и вдыхаю тот же табачный дымок. Вскоре, отвернувшись от окна, он зажег прикроватную лампочку и взялся за книгу. Миссис Макбрайд задала им подобрать сонет, по которому надо будет написать сочинение; пробегая глазами строчки антологии, он то и дело возвращался мыслями к минувшим событиям, которые хотел повернуть вспять. Если бы он просто взял да и поцеловал меня над сценой актового зала, все могло бы обернуться по-другому.

Бабушка Линн двигалась курсом, указанным моей мамой, и вскоре увидела тот самый дом – дом, который они пытались забыть, живя в двух шагах. «А ведь Джек был прав», – подумала она. Даже в темноте от стен дома исходило какое-то зло. Бабушка поежилась. В траве стрекотали кузнечики, над клумбой роились светлячки. Тут ее как ударило: дочку можно только пожалеть. Она живет в вакууме – иносказания об интрижках покойного отца тут не помогут. Утром надо

будет ей сказать, что отцовский домик всегда в ее распоряжении.

Ночью маме приснился, как она для себя решила, сказочный сон. Она перенеслась в Индию, где никогда не бывала. На дорогах стояли оранжевые разделительные конусы, а в воздухе парили бирюзовые стрекозы с золотыми рожицами. По улицам вели юную девушку. У погребального костра ее завернули в белое покрывало и подняли на помост. Яркое пламя, охватившее хрупкую фигурку, утопило мою маму в легкой, неземной эйфории. Девушку сжигали заживо, но зато у нее было тело, чистое и целое.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Целую неделю Линдси следила за зеленым домом, действуя методами моего убийцы.

Она согласилась в течение года тренироваться вместе с мальчишками-футболистами, чтобы достичь цели, которую поставили перед ней мистер Дьюитт и Сэмюел: пробиться в футбольную лигу игроков среднего школьного возраста, куда девчонок прежде не допускали. Чтобы ее поддержать, Сэмюел ходил с ней на тренировки, хотя и без всякой надежды на какие бы то ни было достижения; по его словам, он мог претендовать разве что на титул «самого быстрого парня в бутсах».

Бегал он классно, при том что в упор не видел площадку и не попадал пр мячу. Когда команда выходила на пробежку, Линдси украдкой присматривалась к дому мистера Гарви, а ничего не подозревающий Сэмюел ровно бежал впереди, задавая ей темп.

Из зеленого дома на улицу смотрел мистер Гарви. При виде девочки, которая косилась в его сторону, у него начинался зуд. Надо же: почитай, год прошел, а Сэлмоны все никак не отважатся.

В других городах и штатах нечто подобное уже случалось. Девчонкины родственники его подозревают, а остальные только руками разводят. Запудрить мозги полицейским – плевое дело: достаточно изобразить покорную невинность, приправить ее интересом к расследованию и с доброжелательным видом подкинуть пару бредовых советов. Когда приходил детектив Фэнермен, удалось к месту вернуть имя этого сопляка, Эллиса; а уж прикинуться вдовцом – это верняк. Покойную жену он привычно лепил с последней жертвы, от которой у него еще текли слюнки, а окончательное решение подсказывал, разумеется, образ матушки.

Во второй половине дня он, как правило, на часок-другой выезжал из дому. Делал необходимые покупки, а потом отправлялся в парк Вэлли-Фордж, где бродил по мощеным аллеям и утоптаным дорожкам: глядишь – навстречу попадется стайка школьников, приехавших на экскурсию в домик Джорджа Вашингтона или в его же имени мемориальную часовню. Умилительно, когда дети тянутся к истории. Пытливо изучают бревенчатые срубы, как будто жаждут найти серебристый волосок из парика Джорджа Вашингтона.

Иногда экскурсоводы или учителя замечали, что он наблюдает за детьми – на вид не злодей, но все же неизвестно кто, – и начинали сверлить его настороженными взглядами. У него наготове была тысяча объяснений: «Когда-то я привозил сюда своих детей», «Здесь я познакомился со своей будущей женой». Главное – приплести какую-нибудь семейную историю. Женщины от этого млеют. Однажды какая-то напористая толстуха даже попыталась с ним познакомиться, пока местная экскурсоводша трендела про события зимы 1776 года и «Битву над облаками»<sup>12</sup>.

Он срочно изобразил вдовца и завел речь о женщине по имени Софи Чичетти, выставив ее своей покойной женой и единственной любовью. Собеседница лопалась на эту приманку, как муха в сироп; стала в ответ распространяться про своих кошек и про брата, у которого трое детей, а он слушал и воображал ее труп, усаженный на стул у него в подвале.

После того случая он, поймав на себе подозрительные взгляды, тихонько пятился назад или перебирался в другое место. По открытым дорожкам расхаживали энергичные мамы с колясками. Среди высокой травы и на нехоженных тропах целовались малолетки, прогуливающие школу. А на самой высокой точке была небольшая рожица, возле которой он иногда ставил ма-

<sup>12</sup> Т.ж. битва при Чаттанунге – битва на горе Лукаут в Аппалачах (1863), одно из решающих событий в ходе войны Севера и юга, закончившееся победой северян

шину и, сидя за рулем, наблюдал за мужчинами, которые парковались рядом и в одиночку выходили из автомобилей. Кто в строгом костюме, кто в джинсах и фланелевой рубашке – они торопливо исчезали в роще. Изредка кто-нибудь бросал на него оценивающий взгляд. Окажись эти люди чуть поближе, они бы заметили, даже через лобовое стекло, то же самое, что видели его жертвы: дикую, неудержимую похоть.

Двадцать шестого ноября тысяча девятьсот семьдесят четвертого года Линдси заметила, как мистер Гарви выходит из дому, и начала отставать от мальчишек. Потом можно будет сказать, что у нее наступили критические дни, и никто не вякнет, хотя в глубине души кое-кто позлорадствует: чего, интересно, добивается мистер Дьюитт, когда пропихивает девчонку в региональную лигу?

А я только восхищалась, наблюдая за своей сестрой. Как много в ней соединилось. Женщина. Шпионка. Кремень. Меченая – одна, как перст.

Она перешла на ходьбу и притворно схватила за бок, а когда мальчишки стали оглядываться, помахала, чтобы они продолжали кросс. Пока они не свернули за угол, она все так же изображала болезненный спазм. Перед участком мистера Гарви росли посаженные в ряд старые сосны, которые уже много лет никто не подстригал. Линдси присела у одного из толстых стволов и на всякий случай сделала вид, будто совсем обессилела, а потом, выбрав подходящий момент, свернулась клубком и откатилась в промежутки между деревьями. Выждала. Мальчишки уходили на последний круг. Она проводила их глазами до самой школы, отметив, что кое-кто срезает углы. Теперь она осталась без свидетелей. По ее расчетам, должно было пройти минут сорок пять, прежде чем наш отец ее хватится. У них была договоренность, что после тренировок с мальчишеской командой Сэмюел будет провожать ее домой, причем не позднее семнадцати часов.

В небе целый день висели тяжелые тучи; от осеннего холода по голым рукам и ногам пошла гусиная кожа. Во время кросса моей сестре всегда становилось жарко, но стоило зайти в раздевалку, отведенную девчоночьей команде по хоккею на траве, как ее начинал бить озноб, не проходивший до тех пор, пока она не забиралась под горячий душ. Впрочем, оказавшись на газоне мистера Гарви, она покрылась мурашками не от холода, а от страха.

Когда футболисты скрылись из виду, она подползла к подвальному окошку. Если бы ее застукали на месте, она бы рассказала заранее придуманную историю: мол, погналась за котенком, а он прошмыгнул между соснами. Такой серенький, шустрый, побежал к дому мистера Гарви, а она, не подумав, за ним.

В подвале было темно. Она подергала раму: оказалось, окно заперто изнутри. Попыталась разбить стекло. Мысли заметались. Она боялась надеть шуму, но отступить было поздно. А дома ждал мой отвод глаз с настенных часов. Линдси через голову стянула плотную футболку и обмотала ею ступни. Потом села на землю, уперлась руками за спиной и стала колотить ногами в окно – раз, другой, третий. С приглушенным треском стекло разлетелось вдребезги. Она с осторожностью протиснулась внутрь и стала Нащупывать опору для ног, но вынуждена была спрыгнуть вниз с высоты нескольких футов, чтобы приземлиться на осколки стекла и цементные обломки.

В подвальном помещении царили чистота и порядок, не то что у нас: хоть папа и сколотил стеллажи, на полу вечно громоздились коробки с крупными надписями: «ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА И БУМАЖНАЯ ЗЕЛЕНЬ», «ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ + ЗВЕЗДА».

С улицы потянуло холодом, и Линдси показалось, что сквозняк толкает ее в шею, гонит дальше, за пределы мерцающего полукружья осколков. Она увидела небольшой столик и кресло. На металлической стойке – огромный будильник со светящимися цифрами.

Мне хотелось направить ее взгляд в сторону люка с останками животных, но она бы непременно решила, при всем своем интересе к биологии (я помню, как она вычерчивала глаз мухи на миллиметровой бумаге, как радовала мистера Ботта своими успехами), что там сложены мои косточки. По счастью, она туда не подошла.

Несмотря на то что я не могла ни появиться, ни зашептать, ни подтолкнуть, ни направить, моя сестра, оказавшись в полном одиночестве, что-то почувствовала. Содрогнулась от какого-то разряда в холодном воздухе темного подполья. Стоя в нескольких футах от разбитого окна, она уже знала, что должна идти дальше любой ценой, должна взять себя в руки, любой ценой найти доказательства; вслед за тем пришла мысль о Сэмюеле – ведь он, не найдя ее на прежнем

месте, подумает, что она ждет у школы, и понесется туда, а не найдя ее и там, подумает, но уже с недобрыми предчувствиями, что она моется в душе, и сам тоже пойдет в душ, а потом станет дожидаться у выхода, но уже в полном смятении. Сколько он будет ждать? Измеряя взглядом уходящую вверх лестницу и не решаясь сделать первый шаг, она пожалела, что не взяла с собой Сэмюэла. Он шел бы за нею след в след, как тень, он бы двигал за нее руками и ногами. Но она ничего ему не сказала и вообще никого не стала посвящать в свои планы. Ведь такие действия отдавали сомнительным душком, а попросту – криминалом.

Случись ей задуматься об этом позже, она бы сказала, что ей необходимо было глотнуть свежего воздуха, потому что она и пошла вверх по лестнице. Пока она шагала по ступеням, на кроссовках оседали белые пылинки, но она их не заметила.

Рванув дверь, Линдси оказалась на первом этаже. Пять минут прошло. Осталось сорок, так она для себя решила. Сквозь опущенные жалюзи пробивались последние лучи дневного света. Она в нерешительности замешкалась, хотя дом был точной копией нашего, и тут на крыльцо с глухим стуком упал свернутый в трубочку номер «Ивнинг Бюллетин», а проехавший мимо почтальон звякнул велосипедным звонком.

Моя сестра внушала себе, что должна методично осмотреть все комнаты, все подсобные помещения и, если повезет, найти улики и отнести добычу нашему отцу, чтобы таким способом освободиться от меня. Соперничеству, даже между живыми и мертвыми, нет конца. Глядя себе под ноги, она видела те же серо-зеленые плиты, что и у нас, и почему-то воображала, как в младенчестве ползала за мной по полу, когда я училась ходить. Потом ей представилось, как я, ковыляя, убегаю от нее в другую комнату и оттуда дразнюсь, а ее это подстегивает, и она тоже делает первые шаги.

В отличие от нашего дома, у мистера Гарви оказалось совсем мало мебели, а ковров, придающих тепло и уют, вообще не было видно. Ступая по каменным плитам, Линдси дошла до гладкого соснового паркета; у нас эта комната служила гостиной. Каждый шаг эхом отдавался в пустом коридоре; все звуки возвращались к ней обратно.

Она не могла противиться нахлынувшим воспоминаниям. У каждого случая был горький привкус. Вот я тащу Бакли на закорках вниз по лестнице. Вот мама поднимает меня повыше, чтобы я водрузила на макушку елки серебряную звезду, а Линдси завидует, потому что ей не дотянуться. Вот я съезжаю по перилам и подстрекаю Линдси сделать то же самое. Вот мы обе после ужина выпрашиваем у отца комиксы. Гоняемся за Холидеем, а он лает и лает. Через силу улыбаемся, когда нас фотографируют на дне рождения, на празднике, после уроков. Две сестрички, одинаково одетые: бархат, шотландка, на Пасху – желтые платица. В руках корзинки с зайчиками и собственноручно раскрашенными яичками. Лакированные туфельки с ремешком и неудобной пряжкой. Губы свело от улыбок, потому что мама никак не может выбрать резкость. Все лица смазаны, глаза сверкают красными точками. Все эти обманные картинки, доставшиеся моей сестре, оставляли за кадром то, что происходило до и после, когда мы, две девчонки, играли у себя дома или дрались из-за кукол. Когда мы были сестрами.

Вдруг она что-то увидела. Моя спина скрылась в соседней комнате. У нас это была столовая, а здесь – склад готовых макетов. Я, совсем еще маленькая, бежала с ней взапуски.

Она поспешила следом за мной.

Следом за мной пробежала по комнатам первого этажа и вернулась в прихожую. Несмотря на усиленные спортивные тренировки, у нее сбилось дыхание. Закружилась голова.

Мне вспомнилось, как на автобусной остановке мы увидели мальчика вдвое старше нас, но все еще сидевшего во втором классе, и мама про него сказала: «Он не умеет соизмерять свои силы, к нему лучше не подходить». Бедняга бросался обнимать каждого, кто был с ним приветлив, физиономия озарялась бессмысленной страстью, в груди горело желание сжать другого в объятиях. Потом его исключили из школы и перевели в другое заведение, о чем взрослые помалкивали, но до этого он схватил одну девочку – ее звали Дафной – и сдавил так, что она без чувств упала на дорогу. Сейчас я с такой же силой давила на стенку Межграницья, стремясь добраться до Линдси, и даже сама испугалась, как бы не оказать ей медвежью услугу.

Моя сестра присела на широкую ступеньку в прихожей и закрыла глаза, чтобы отдышаться и вспомнить, с какой целью она пробралась в дом мистера Гарви. Ее, словно мошку, угодившую в паутину, сковали какие-то путы, обволокли тяжелым коконом. Она поняла: ее одолевает та же самая сила, которая погнала нашего отца в поле. Ей нужно было добыть для него улики, чтобы

он по ним, как по ступеням веревочной лестницы, вернулся к ней, чтобы вооружился фактами, чтобы придал весомости подозрениям, которые высказал Лену. Но вместо этого она сама летела в бездонную пропасть.

Осталось двадцать минут.

Кроме моей сестры, в доме не было ни души, но вместе с тем она оказалась на этой территории не одна, причем не только я составила ей компанию. Жизненный путь моего убийцы, мощный телами убитых девочек, открылся мне, когда Линдси проникла в его дом. Я выпрямилась, стоя на небесах. И начала выкликать имена.

Джеки Майер. Тринадцать лет. Делавер, тысяча девятьсот шестьдесят седьмой. Опрокинутый стул. Рядом, на полу, скрюченная фигурка в одной полосатой майке. Под головой лужица крови.

Флора Эрнандес. Восемь лет. Делавер, тысяча девятьсот шестьдесят третий.

Он всего лишь хотел ее пощупать, но она закричала. Маленькая для своего возраста. Позже обнаружены левая туфелька и один носок. Тело не найдено. Косточки покоились в земляном подвале старого многоэтажного дома.

Лия Фокс. Двенадцать лет. Делавер, тысяча девятьсот шестьдесят девятый.

Он убил ее без лишнего шума, под виадуком, на выброшенном кем-то прямо с чехлом диванчике. Заснул прямо на ней под мерный рокот проносащихся над головой машин. Прошло целых десять часов, прежде чем в дверь хижины, сколоченной мистером Гарви из подобранных на свалке дверей, постучался какой-то бродяга – тут уж пришлось забирать с собой Лию Фокс и побыстрому сматывать удочки.

Софи Чичетти. Сорок девять лет. Пенсильвания, тысяча девятьсот шестидесятый.

Квартирная хозяйка. Выгородила для него полкомнаты под крышей. Ему приглянулось полукруглое окошко, да и плата была в пределах разумного. Но хозяйка оказалась невыносимо болтливей: донимала его бреднями про сына да еще декламировала сонеты из какой-то книжонки. Зайдя на хозяйскую половину, он благополучно трахнул эту корову, а когда ее потянуло на откровенность, размозжил ей голову и оттащил труп к реке.

Лидия Джонсон. Шесть лет. Тысяча девятьсот шестидесятый.

Бакс-Каунти, Пенсильвания... Он вырыл сводчатую пещеру на горке, возле каменоломни, и караулил в засаде. Эта была самой младшей из всех.

Венди Риктер. Тринадцать лет. Коннектикут, тысяча девятьсот семьдесят первый.

Поджидала своего папашу возле бара. Эту он заволок в кусты и тут же придушил. В тот раз, очнувшись после привычного ступора, он услышал голоса. Перевернув убитую девочку лицом к себе, он стал покусывать ей ушко. «Ох, пардон», – только и сказали двое пьянчуг, которые сунулись было в кусты справить малую нужду.

Мне открылся целый кладбищенский город, терзаемый хлыстом колючего ветра: жертвы обитали в памяти живых. Сейчас, прямо у меня на виду, они летели в этот дом, оставляя трассирующий след в людских умах. Но в тот день я недолго наблюдала их полет: сестра нуждалась в моей помощи.

Линдси на мгновение замерла. Я снова устремилась к ней. Мы вместе пошли вверх по лестнице. Она двигалась, как зомби из тех ужастиков, которыми увлекались Сэмюел и Хэл. Нога за ногу, пустой взгляд. Вот комната, которая у нас служила родительской спальней. Пусто. Она обыскала верхний коридор. Пусто. Наконец зашла как бы в мою комнату – и оказалась в спальне моего убийцы.

Это помещение, в отличие от прочих, имело жилой вид, и Линдси старалась ничего не задеть. Осторожно пошарила в стопке сложенных в шкафу свитеров, готовясь найти в этой теплой массе все, что угодно: нож, пистолет, обкусанную Холидеем шариковую ручку. Ничего. И вдруг какой-то неведомый зов приказал ей повернуться в сторону кровати, возле которой стоял ночной столик. Под непогашенным ночником лежал альбом для эскизов. Она шагнула вперед и услышала другие звуки, но не связала их в цепочку. Урчание мотора. Скрип тормозов. Стук автомобильной двери.

Она листала альбом, разглядывала набросанные тушью поперечины, крепления, башенки и опоры, пробегая глазами размеры и пометки, не понимая их смысла. До конца оставались считанные страницы, и тут моей сестре послышались шаги – на улице, но совсем близко.

Когда мистер Гарви уже поворачивал ключ, Линдси наткнулась глазами на тонкий каран-



дашный рисунок. Травянистые стебли над какой-то ямой; сбоку – чертеж полки; отдельно – труба наподобие дымохода. Мелкой паутинкой – надпись: «Кукурузное поле Штолфеза». Из газет, раструбивших, как собака нашла часть моей руки, Линдси знала, что кукурузное поле принадлежит человеку по фамилии Штолфез. Теперь она узнала то, что мне и требовалось. Меня убили внутри той ямы; я кричала, билась, как могла, но не сумела вырваться.

Недолго думая, она вырвала этот лист. Мистер Гарви топтался в кухне – готовил себе поесть. Купил любимые продукты: ливерную колбасу и сладкий белый виноград. Наверху скрипнула половица. Он замер. Скрипнула другая половица. Он выпрямился; по хребту пополз холодок внезапной догадки.

Виноградины посыпались на пол и тут же были растоптаны левым ботинком; моя сестра запрыгнула на подоконник, отодвинула алюминиевые жалюзи и схватилась за неподатливый шпингалет. Мистер Гарви кинулся вверх, перепрыгивая через две ступеньки. Линдси разбила стекло и кубарем покатилась по навесу над крыльцом, а он в этот миг вбежал на площадку верхнего этажа и стремглав бросился в спальню. Линдси зацепилась за водосточную трубу и обрушила ее за собой. Мистер Гарви перепрыгнул через порог, а моя сестра в тот самый миг рухнула в грязь среди кустов и каких-то посадок.

Она осталась цела и невредима. Чудо, как невредима. Чудо, как молода. Тут же вскочила на ноги, а он стал вылезать из окна. Но передумал. Она уже мчалась в сторону живой изгороди. Вышитый шелком номер на спине футболки кричал ему в лицо: 5! 5! 5!

Линдси Сэлмон, в спортивной форме.

Добравшись до дому, Линдси застала там моих родителей, бабушку Линн и Сэмюела.

– Слава богу, – вырвалось у мамы, которая первой заметила ее через маленькое квадратное окошко сбоку от входа.

Она открыла дверь, и Сэмюел выскочил на порог; Линдси не посмотрела ни на маму, ни на отца, который, прихрамывая, спешил ей навстречу. Она шагнула прямо в объятия Сэмюела.

– Слава богу, слава богу, слава богу, – повторяла мама, с ужасом разглядывая кровавые порезы и комья грязи.

Бабушка стала рядом.

Положив ладонь на голову Линдси, Сэмюел откинул со лба ее растрепанные волосы.

– Где ты была?

Но Линдси, сразу как-то ослабев и съездившись, уже повернулась к нашему отцу. Чудо, какая она живая, думала я весь день напролет.

– Папа?

– Да, родная.

– Я это сделала. Пробралась к нему в дом. – Она дрожала, едва удерживаясь от слез.

Мама задохнулась:

– Что я слышу?

Но моя сестра даже не взглянула в ее сторону.

Смотри, что я раздобыла. По-моему, это важно.

Она разжала руку и протянула ему скомканный лист, который сберегла в падении с крыши.

У папы в памяти всплыла фраза, которую он вычитал утром. Глядя Линдси в глаза, он процитировал:

– «Состояние, к которому легче всего привыкать, – это состояние войны».

Линдси сунула рисунок ему в руки.

– Я пошла за Бакли, – сказала моя мама.

– Ты даже не посмотришь, мам?

– У меня нет слов. С вами побудет бабушка. Мне надо в магазин, потом курицу жарить. Почему-то все забывают о доме и семье. А у нас в семье растет маленький ребенок. Словом, я ухожу.

Бабушка Линн проводила мою маму к черному ходу, не пытаясь ее удержать.

После ее ухода Линдси взяла Сэмюела за руку. В словах, нацарапанных рукой мистера Гарви, мой отец увидел то же, что и Линдси: скорее всего, это было описание моей могилы. Он поднял голову:

– Теперь ты мне веришь?

– Верю, папа.

Перепополняемый благодарностью, мой отец решил срочно сделать телефонный звонок.

– Пап, – окликнула Линдси.

– Да?

– Кажется, он меня заметил.

Не знаю, что может сравниться с тем блаженством, которое охватило меня оттого, что сестра осталась целой и невредимой. Всю дорогу от наблюдательной вышки до дому меня трясло от пережитого страха: ведь я могла потерять ее там, на Земле. Как последняя эгоистка, я переживала не за родителей, не за Бакли, не за Сэмюела, а только лишь за себя.

Из кафетерия мне навстречу вышла Фрэнни. Я даже не подняла головы.

– Сюзи, – позвала она. – У меня к тебе дело.

Она увлекла меня к старомодному фонарному столбу, а потом еще дальше, в темноту, и вручила сложенный вчетверо листок бумаги.

– Когда успокоишься, изучи вот это и сходи, куда указано.

Через пару дней, следуя плану местности, начерченному на том листке, я пришла на поле, которым прежде почему-то любовалась только издали. На плане пунктиром была обозначена тропинка. Волнуясь, я разыскивала просвет среди рядов пшеницы. Когда он мелькнул прямо по курсу, листок бумаги растворился у меня в руке.

Впереди росло старое раскидистое оливковое дерево.

Солнце стояло в зените; перед оливой зиял просвет. В следующую секунду я увидела, что пшеница сбоку от него идет волнами, будто сквозь нее пробирается крошечное создание, не достигающее до колосьев.

Она была маленькой для своего возраста – точь-в-точь как на Земле. В ситцевом платьишке, обтрепанном на подоле и манжетах.

Мы столкнулись лицом к лицу.

– Я сюда прихожу почти каждый день, – сказала девочка. – Люблю слушать шорохи.

И точно: кругом» сопротивляясь ветру, шуршала пшеница.

– Ты знакома с Фрэнни? – спросила я.

Малышка серьезно кивнула.

– Она дала мне план этой местности.

– Значит, ты готова, – заключила она и, находясь в собственной небесной сфере, стала кружиться, да так, что юбочка раздувалась колоколом. А я присела под деревом и смотрела. Когда ей наскучило кружиться, она подошла ко мне и, отдуваясь, устроилась рядышком.

– Меня звали Флора Эрнандес, – сказала она. – А тебя как звали?

Я назвала свое имя, а потом расплакалась от настоящей общей беды – это оказалась еще одна девочка, которую он убил.

– Скоро и остальные подтянутся, – сказала она. Флора опять закружилась, а на поле появились другие девочки и женщины, которые разбрелись в разные стороны. Наша душевная боль переливалась от одной к другой, как вода из стакана в стакан. рассказывая свою историю, я всякий раз избавлялась от малой частицы, от крошечной капельки собственных мучений. В тот самый день у меня созрело решение поведать о нашей семье. Потому что для тех, кто остался на Земле, ужас – это бытие и повседневность. Как растение, как солнце: его не втиснуть ни в какие рамки.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Сначала им все сходило с рук, и мать была на седьмом небе от счастья. Когда они сворачивали за угол от очередного магазина, она так заливисто смеялась, вытаскивая на свет краденое и похвываясь перед сыном, что Джордж Гарви тоже начинал хохотать и робко ластился к матери, поглощенной новой добычей.

Оба с радостью использовали любую возможность укатить на несколько часов от отца в ближайший городок, чтобы разжиться съестными и хозяйственными припасами. Самым пристойным промыслом был у них сбор металлолома и пустых бутылок: этот мусор они грузили в дребезжащий отцовский фургон, везли в город и сдавали в утиль.

Когда их с матерью впервые поймали с поличным, кассирша проявила снисхождение.

– Если можете заплатить – платите. Не можете – оставьте на прилавке, – беззлобно сказала

она и подмигнула восьмилетнему Джорджу Гарви.

Мать вытащила из кармана маленькую стеклянную бутылочку аспирина и робко опустила ее на прилавок. Она чуть не плакала. «Что старая, что малый», – частенько выговаривал отец.

Страх быть пойманным на месте преступления, как и тот, другой страх, следовал за ним по пятам, крутился в животе, как яйцо под сбивалкой; по каменному лицу и колючему взгляду человека, идущего к ним по проходу, он научился распознавать продавца или охранника, который заметил воровку.

Впоследствии она стала совать краденое сыну, чтобы тот спрятал добро под одеждой, и он не мог отказаться. Если им удавалось выскользнуть и смыться на своем фургоне, она веселилась, хлопала ладонью по баранке и называла маленького Джорджа Гарви своим поделеньником. Кабина переполнялась ее буйной, непредсказуемой любовью, и на какое-то время – пока не иссякал этот всплеск, а на обочине не обнаруживалась какая-нибудь блескучая ерунда, которую нужно было, как выражалась мать, «проверить на годность», – он становился по-настоящему свободным. Свободным и обласканным.

Он запомнил совет, полученный от нее во время самой первой поездки по Техасу, когда они увидели на обочине белый деревянный крест. У основания лежали цветы – свежие вперемежку с увядшими. Их пестрота сразу привлекла наметанный глаз мусорщика. – Жмуриков-то особо не разглядывай, – сказала мать – Но и своего не упускай: иногда с них можно снять приличные цацки.

Уже в ту пору он подозревал, что в их действиях есть что-то запретное. Вместе выбравшись из кабины, Они подошли к кресту, и тогда глаза матери превратились в две черные точки – так бывало всякий раз, когда впереди маячила удача. Вот и сейчас, откопав талисман в форме глаза, а потом еще один – в форме сердечка, она протянула их Джорджу:

– Не знаю, что скажет отец; давай-ка мы с тобой это прикарманним.

У нее в тайнике хранилось немало таких вещей, о которых отец даже не догадывался.

– Выбирай: глаз или сердечко?

– Глаз, – сказал он.

– И розочки прихвати, какие посвежее. В кабине красиво будет.

Они заночевали в фургоне, не в силах ехать обратно, туда, где отец нашел поденную работу: вручную пилил тес и колол его на щепу.

Спали они, по обыкновению, в кабине, свернувшись калачиком и прижавшись друг к другу, как в тесном гнезде. Мать ерзала и крутилась волчком, сгребая под себя одеяло. После долгих мучений Джордж Гарви усвоил, что бороться с этим бесполезно, лучше дать ей вволю поворочаться. Пока мать не находила удобного положения, заснуть не удавалось.

Посреди ночи, когда ему снились королевские опочивальни, виденные в библиотечных книжках с картинками, кто-то постучал по крыше, и Джордж Гарви с матерью подскочили как ужаленные. Трое прохожих заглядывали в окно знакомым Джорджу взглядом. Точно так же смотрел иногда по пьянке его отец. Этот взгляд был избирательным: он выхватывал мать и в то же время полностью исключал сына.

Он знал, что кричать нельзя.

– Молчи. Тебя не тронут, – шепнула мать.

Его затрясло под ветхими армейскими одеялами.

Один из троих незнакомцев стоял перед лобовым стеклом. Двое других с обеих сторон колотили по крыше, хохоча и причмокивая.

Мать неистово мотнула головой, но это их только раззадорило. Тот, что преграждал им путь, начал бить ногой по бамперу, чем еще пуще развеселил своих дружков.

– Не дергайся, – тихо сказала мать. – Я притворюсь, что выхожу. Ползи сюда. Когда скажу, включишь зажигание.

Он знал, что ему говорят нечто очень важное. Что на него рассчитывают. Вместо привычного хладнокровия в ее голосе зазвучал металл, пробивающий броню страха.

Она изобразила улыбку и, когда мужики, утратив бдительность, заулюлюкали, локтем переключила передачу. «Давай!» – бросила она без видимого выражения, и Джордж Гарви подался вперед, чтобы повернуть ключ зажигания. Грузовик ожил и затарахтел.

Злоумышленников перекосило; от похотливых усмешек не осталось и следа, а когда фургон резко дернулся назад, они просто-напросто растерялись. Еще раз переключив передачу, мать

крикнула Джорджу Гарви: «Ложись!» Скорчившись на полу, он почувствовал, как в паре футов у него над головой о капот ударилось чье-то тело. Потом тело рывком бросило на крышу. Оно задержалось там не более секунды, пока мать еще раз не дала задний ход. В этот миг к Джорджу Гарви впервые пришло четкое осознание: плохо быть ребенком, плохо быть женщиной. Хуже некуда.

Как у него захолонуло сердце, когда Линдси бежала к зарослям бузины. Впрочем, он тут же успокоился. Этому его научила мать, а не отец: сначала прикинь, чем рискуешь, а потом действуй. Он успел заметить, что блокнот лежит не на месте, а из альбома вырвана страница. Проверил спрятанный в сумке нож, спустился с ним в подвал и выбросил в квадратную дыру, пробитую в фундаменте. Сгреб с металлического стеллажа памятные вещи, которые остались от убитых. Зажал в кулаке снятый с моей цепочки брелок – замковый камень, эмблему Пенсильвании. На счастье. Остальные мелочи разложил на белом носовом платке, взялся за уголки и связал узел, с какими ходят бродяги. Засунув руку в дыру под фундаментом, он даже лег на живот, чтобы найти место поглубже. Три пальца ощупывали стенки, а два других сжимали скромный узелок. Нашупав ржавый выступ металлической балки, который строители забрызгали цементом, он повесил туда свои сокровища, вытащил руку и поднялся с пола. Книжонку с сонетами он с наступлением тепла закопал под деревьями в парке Вэлли-Фордж, без лишней суеты избавляясь от улики; теперь оставалось только надеяться, что все было сделано по уму.

Прошло от силы пять минут. Его подхлестывали досада и злость. Он успел проверить то, что другие назвали бы ценностями: запонки, наличность, инструменты. Но время поджимало. Нужно было звонить в полицию.

Сперва он как следует подготовился. Немного походил, сделал быстрый вдох-выдох, а потом, услышав голос дежурного офицера, изобразил крайнюю степень раздражения.

– Примите вызов. Кто-то вломился ко мне в дом, – заговорил он, прокручивая в уме начало своей версии, но уже прикидывал, как побыстрее смотать удочки и что взять с собой.

– Набирая номер полицейского участка, отец рассчитывал поговорить с Леном Фэнерменом, но того не было на месте. Отцу сказали, что двое офицеров уже «выехали в адрес». Хотя мистер Гарви предстал перед ними в расстроенных чувствах, он вел себя вполне разумно. Правда, его вид вызывал какую-то брезгливость, но полицейские решили, что причиной тому – слезы и сопли, непозволительные, с их точки зрения, для мужчины.

Притом, что у них уже имелись сведения о похищенном рисунке, копы были поражены готовностью мистера Гарви предоставить свой дом для обыска. Казалось, он, ко всему прочему, искренне сочувствует семье Сэлмонов. Офицерам даже стало неловко. Для виду они осмотрели комнаты – и не нашли ничего необычного, кроме искусно сработанных игрушечных домиков в мастерской на втором этаже: это увлечение приписали замкнутому образу жизни хозяина. Тут они сменили тему и спросили, сколько времени уходит на такой вот макет.

Они заметили (как рассказали позже) мгновенную перемену в его поведении: он сразу сделался более дружелюбным. Сходил в спальню и принес свой альбом, не обмолвившись, Впрочем, о пропаже рисунка. Полицейские про себя отметили, с какой все возрастающей теплотой он показывал им наброски миниатюрных строений. Следующий вопрос был начат очень деликатно.

– Сэр, – сказал полицейский, – у нас есть право доставить вас в участок для дачи показаний; а у вас есть право не отвечать на вопросы до прибытия адвоката, но...

– Охотно побеседую с вами прямо здесь, – прервал его мистер Гарви. – Я ни в чем не виноват и не собираюсь выдвигать обвинения против бедной девочки.

– Школьница, которая забралась к вам в дом, – начал офицер, – действительно кое-что похитила. Это рисунок кукурузного поля и какого-то полевого сооружения...

Мистер Гарви очень убедительно изумился (позже офицеры рассказали об этом детективу Фэнермену). У него нашлось объяснение, которое звучало настолько правдоподобно, что Гарви не вызвал у них ни тени подозрения – возможно, потому, что с самого начала не считался убийцей.

– Ох, бедняжка, – выговорил он, прикрывая ладонью поджатые губы.

Повернувшись к альбому для эскизов, он стал перелистывать страницы, пока не дошел до рисунка, очень похожего на тот, что забрала Линдси.

– Вот, один к одному, верно?

Офицеры – теперь безмолвные слушатели – закивали.

– Я пытался понять, как это произошло, – объяснил мистер Гарви. – Признаюсь, меня обуял ужас. Наверняка все соседи точно так же себя корили, что не смогли помешать этому зверству. Почему они ничего не видели, не слышали? Я хочу сказать, девочка определенно звала на помощь.

– Так вот, – продолжил он, указывая авторучкой на рисунок. – Простите, но у меня образное мышление, поэтому, узнав сколько крови было пролито на поле и как выглядело место преступления, я решил, что, скорее всего... – Он заглянул им в глаза.

Офицеры обратились в слух. Ловили каждое слово. У них не было ни зацепок, ни трупа, ни улики. А этот слюнтяй мог подсказать приемлемую версию.

–... скорее всего, злоумышленник выкопал в поле яму; потом я, грешным делом, распереживался, стал добавлять новые детали, как делаю в работе над своими макетами, и вот пририсовал трубу, полку и... хм-м-м... привычка, знаете ли. – Мистер Гарви выдержал паузу. – От одиночества.

– И что же – совпало? – спросил один из офицеров.

– Мне показалось, что-то в этом есть.

– Почему вы не позвонили в полицию?

– Погибшую девочку уже не вернуть. Когда меня допрашивал детектив Фэнермен, я обмолвился, дао подозреваю хулигана Эллиса, но, как выяснилось, возводил на него напраслину. Тогда я решил бросить свои дилетантские потуги.

– Офицеры с извинениями предупредили, что на следующий день к нему опять зайдет детектив Фэнермен И, вероятно, будет задавать те же самые вопросы. Полистает альбом, выслушает соображения мистера Гарви. Как законопослушный гражданин, мистер Гарви отнесся к этому с пониманием, хотя сам оказался в роли жертвы. Офицеры засвидетельствовали, что моя сестра проникла в дом через подвал, а выбралась через окно спальни. Они обсудили причиненный ущерб, и мистер Гарви вызвался покрыть его из собственных средств, учитывая страшное горе, постигшее эту семью. Он подчеркнул, что несколько месяцев назад его сосед Сэлмон был просто невменяем, а теперь, по всей видимости, такое состояние передалось и сестре убитой девочки.

Я смотрела, как тают шансы на арест мистера Гави, и одновременно наблюдала за распадом моей семьи, зная, что обстановка накалилась до предела.

Забрав Бакли от родителей Нейта, моя мама притормозила у телефона-автомата возле продуктового магазина «Севен-Илевен» и назначила место встречи: дешевый сувенирный магазин в торговом центре, буквально в двух шагах. Лен был уже наготове. Когда он выворачивал на улицу со своей подъездной аллеи, в доме зазвонил телефон, но он этого не услышал. Сидя за рулем, он думал о моей маме, о том, что их отношения складываются не по-людски, о том, что ему не хватает духу сказать ей «нет», но причины такой неразберихи ускользали из рук – он не мог их ни обмозговать, ни опровергнуть.

Моя мама, проделав короткий путь до торгового центра, за ручку отвела Бакли сквозь стеклянные двери «в кружок» – так называли игровую площадку, где родители могли оставить своих детей, пока делали покупки.

Бакли воодушевился.

– В кружок? Честно? – переспросил он, засмотревшись на своих ровесников, которые лазали, ползали и кувыркались на резиновом ковре.

– А ты сам-то хочешь? – спросила моя мама.

– Очень-очень, – ответил он.

Мама сделала вид, что пошла на уступку.

– Ну, так и быть. – Подтолкнув его в сторону красной катальной горки, она крикнула вслед: – Будь умницей! – Впервые в жизни он у нее остался один.

Сообщив его имя дежурному воспитателю, она добавила, что будет делать покупки на первом этаже, возле «Уонамейкерс».

В то самое время, когда мистер Гарви распинался о моем убийстве, моя мама, истомившаяся в дешевом сувенирном магазине, почувствовала, что кто-то легонько дотронулся до ее плеча. Она обернулась, радуясь, что ожиданию пришел конец, но увидела только удаляющуюся спину Лена Фэнермена. Ей ничего не оставалось, как пойти за ним. С магазинных полок смотрели фосфоресцирующие маски и пушистые тролли на цепочках, таращились черные пластмассовые шары для настольных игр и гигантский смеющийся череп.

Лен ни разу не оглянулся. Она шла следом, вначале волнуясь, потом все сильнее раздражаясь. Под мерный стук шагов хорошо думалось, но ей меньше всего хотелось думать.

Наконец она увидела, как он отпирает белую дверь, Совершенно незаметную на фоне белой стены.

За порогом тянулся мрачный коридор. Доносившийся оттуда гул подсказывал, что Лен привел ее в самое чрево торгового центра – не то к вентиляционному блоку, не то к водоразбору. Впрочем, какая разница? В темноте она представляла, будто входит в собственное сердце; из глубин памяти всплыл увеличенный плакат на стене медицинского кабинета, а вслед за тем – образ моего отца: в бумажной больничной сорочке, свесив ноги в черных носках с края врачебной кушетки, он внимал объяснениям доктора об опасности закупорки сердечных сосудов.

Ее терпение было на исходе: она чудом не переломала ноги, едва сдерживала крик и слезы, перестала что бы то ни было понимать – и тут коридор закончился. Он упирался в огромное, высотой с трехэтажный дом, помещение, где все пульсировало, гудело, мигало огоньками. Она замерла и безуспешно попыталась различить хоть какой-нибудь другой звук, кроме оглушительного жужжания воздуха, который всасывался из торгового центра, проходил через фильтры и закачивался обратно.

Я увидела Лена раньше ее. Одинокое стоящий в полумраке, он присмотрелся к ней и прочел в ее глазах нетерпение. Ему было жаль моего отца, всю нашу семью, но он растворился в ее взгляде. «Я тону в этих глазах, Абигаиль», – чуть не сказал он вслух, но знал, что его остановят.

Привыкнув к темноте, моя мама разглядела поблескивающие металлические лабиринты труб, и мне на мгновение показалось, что ей не так уж плохо в этом огромном пространстве. Чужая территория успокаивала. Давала чувство недостижимости.

Если бы протянутая рука Лена не сжала мамины пальцы, я смогла бы побыть с нею наедине. Чтобы дать ей краткую передышку от той жизни, которую она проживала как миссис Сэлмон.

Но, разумеется, его прикосновения было не избежать, и она, разумеется, обернулась к нему. Правда, не нашла в себе сил на него посмотреть. Ему пришлось с этим смириться.

От того, что открылось моему взгляду из наблюдательной башни, мне стало дурно. Вцепившись в сиденье, я чуть не задохнулась. Она тут запускает руки в шевелюру Лена, мелькало у меня в голове, а он лапает ее пониже спины, прижимая к себе, и ей невдомек, что в это время мой убийца преспокойно прощается с полицейскими на пороге своего дома.

Я чувствовала, как поцелуи покрывают мамину шею и сбегает к груди мелкими мышинными шажками, опадающими лепестками цветов. Чудовищное и чудесное оказались неразделимы. Поцелуи легкими шепотками манили ее прочь от меня, от семьи, от горя. Ее тело не противилось этому зову.

Лен взял ее за руку и повел к сплетению труб, над которым что-то завывало на разные голоса; тем временем мистер Гарви начал собираться в дорогу; на детской площадке мой брат познакомился с девочкой, крутившей хула-хуп; моя сестра и Сэмюел легли рядышком на ее кровать, полностью одетые, и сходили с ума от волнения, а бабушка в одиночку приговорила третий стакан. Мой отец неотрывно смотрел на телефон.

Мама нетерпеливо срывала с Лена плащ и рубашку; он ей помогал. Но когда она взялась за свою одежду, стянула через голову теплый свитер, потом джемпер, потом водолазку с высоким воротом и осталась в нижнем белье, он лишь заморожено наблюдал.

Сэмюел, повернув Линдси к себе спиной, поцеловал ее в шею. От ее кожи пахло мылом и йодом. В этот миг он захотел всегда быть с нею рядом.

Лен собирался что-то сказать. Мне было видно: мама заметила, что он уже раскрыл рот. Она зажмурилась и молча приказала, чтобы весь мир заткнулся. Потом, открыв глаза, поймала на себе взгляд Лена. Он молчал, стиснув зубы. Она сняла хлопковую сорочку, стянула трусики. Мое тело должно было бы стать точно таким, как мамино. Вот только у нее была кожа лунного цвета и глаза-океаны. А внутри – опустошенность, крах, отчаяние.

Мистер Гарви в последний раз спустился с крыльца своего дома, а у моей мамы сбылось самое приземленное из всех ее желаний. Вырваться за пределы разбитого сердца, цепляясь за соломинку спасительной измены.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Через год после моей смерти доктор Сингх позвонил домой и предупредил, что не придет к ужину. Но Руана не собиралась отменять свои упражнения. Растягиваясь на коврике в единственном теплом месте, которое, по ее мнению, оставалось в их доме зимой, она невольно перебирала в уме постоянные отлучки мужа и терзалась подозрениями, пока организм не потребовал выкинуть его из головы и полностью сосредоточиться на гимнастике: руки вперед, коснуться пальцев ног, встряхнуться, закрыть сознание, отрезать все, кроме легкого и приятного томления мышц при растяжках и наклонах.

Оконное стекло в столовой, почти от пола до потолка, прочерчивала только металлическая полоска подогрева, который Руана предпочитала не включать, чтобы не отвлекаться на его урчание. За окном чернело голое вишневое дерево. На ветке покачивалась пустая птичья кормушка.

Не останавливаясь, Руана вскоре как следует разогрелась и даже забылась; дом уплыл куда-то далеко-далеко. В нем остался ее возраст. И сын. А вот образ мужа исподволь крался за ней. Дурные предчувствия не отступали. Она не думала, что причиной его отлучек и опозданий стала другая женщина, пусть даже просто восторженная студенточка. Причина крылась в другом. Ей самой случилось через это пройти и больно обжечься. Имя этому недугу было – честолюбие. Теперь она открыла себя звукам. Через две улицы залаял Холидей, ему ответила собака Гилбертов, над головой затопал Рэй. К счастью, в следующее мгновение опять грянул «Джетро Талл», перекрывая все остальное.

Руана следила за своим здоровьем и лишь изредка выкуривала сигаретку, да и то тайком, чтобы не подавать дурной пример сыну. Соседки отмечали, что она держит себя в отменной форме, а некоторые даже про-«или показать им комплекс упражнений, хотя она всегда считала, что они просто ищут предлог разговорить замкнутую иностранку. Сейчас, отдыхая в позе „сухасана“ и ровно, глубоко дыша, она никак не могла полностью расслабиться. Липкий страх одиночества – Рэй скоро станет самостоятельным, а муж будет всего себя отдавать карьере – начинался от внутренней стороны лодыжек, поднимался по икрам, проходил сзади под коленками и подползал к бедрам.

В дверь позвонили.

Руана была только рада прервать эти мысли, хотя не любила неожиданностей: домашний уклад, как и медитация, требовал покоя. Она торопливо вскочила, обвязала вокруг бедер висевшую на спинке стула шаль и под грохочущую сверху музыку направилась к входной двери. У нее мелькнуло опасение, что это соседи прибежали с жалобами на громкую музыку – а тут она: в красном трико и шали на бедрах.

Но на пороге стояла Рут, держа в руках бумажный пакет.

– Добрый день, – сказала Руана. – Чем могу помочь?

– Я к Рэю.

– Заходи.

Слова заглушал доносившийся сверху грохот. Рут вошла в прихожую.

– Поднимайся вверх, – прокричала ей Руана, указывая на лестницу.

Мне было видно, какими глазами мать Рэя провожает куртку с капюшоном, глухой ворот джемпера, мешковатый комбинезон. «Для начала и эта сойдет», – подумала Руана.

Рут ходила с матерью в магазин и там, среди бумажных тарелок и пластмассовых вилок-ложек, увидела свечи. Еще в школе она сообразила, какая сегодня дата, а позднее перебрала в памяти все, что успела сделать за день: повалилась в постели, почитала «Под стеклянным колпаком»<sup>13</sup>, помогла прибраться в сарае, который отец упрямо называл бытовкой, а она – «Парнасом», прошвырнулась с матерью по магазинам. Однако ни одно из этих занятий не могло считаться данью моей памяти, и она решила исправить такое положение.

Купив эти свечи, она тут же решила отправиться к Рэю и позвать его с собой. Из-за утренних встреч на стадионе вся школа дразнила их женихом и невестой, причем совершенно не по делу. Рут могла рисовать сколько угодно обнаженных женщин, повязывать голову шарфиком, писать статьи о Дженис Джоуплин, громко протестовать против унижающего женщину бритья ног и подмышек, – в глазах одноклассников из «Фэрфакса» она оставалась придурочной девчон-

<sup>13</sup> Вышедший в 1963г., незадолго до ее самоубийства, роман поэтессы Сильвии Плат (1923-1963)

кой, которую застукали, когда она ЦЕ-ЛО-ВА-ЛАСЬ с придурочным мальчишкой.

Никто бы не поверил (а они сами, естественно, помалкивали), что это был их совместный эксперимент. До этого Рэй целовался только со мной, а Рут – и вовсе ни с кем и никогда, поэтому они сговорились порадоваться и посмотреть, что получится. – Никакого кайфа, – сказала тогда Рут.

Они лежали посреди вороха кленовых листьев, за учительской парковкой. – Это точно, – вздохнул Рэй. – А с Сюзи ты что-нибудь чувствовал?

– Конечно.

– И что же?

– Что хочу еще. Мне даже по ночам снилось, как мы с ней целуемся. Я все собирался спросить, бывает ли у нее такое желание.

– А секс?

– Честно говоря, так далеко я не заходил – ответил Рэй. – Теперь вот целуюсь с тобой, но это не то.

– Надо еще разок попробовать, – предложила Рут. – Я не против, если, конечно, ты не станешь трепаться.

– Я думал, ты предпочитаешь девочек, – признался Рэй.

– Давай договоримся, – сказала Рут. – Ты будешь думать, что я – Сюзи, а я притворюсь, что это правда.

– Ну, ты совсем повернутая, – усмехнулся Рэй.

– Не хочешь? – Рут сжалась.

– Дай-ка посмотреть твои картинки.

– Может, я и повернутая, – Рут достала из сумки альбом с голыми женщинами, которых передрала из «Плейбоя», увеличив или уменьшив некоторые части тела, добавив волосы и складочки туда, где они были подретушированы, – но, по крайней мере, не тащусь от нарисованных телок.

Когда Рут остановилась в дверях, Рэй под музыку скакал по комнате. Он едва не потерял очки, которые в школе старался не носить – отец раскошелился только на самые дешевые, толстые, в уродской оправе. На нем были мешковатые джинсы, все в пятнах, и футболка, в которой – как Рут догадывалась, а я знала наверняка – он спал.

Завидев ее на пороге, да еще с пакетом из магазина, он остановился как вкопанный. Рука тотчас сдернула очки: не зная, куда их девать, он помахал ими в воздухе и выдал «привет».

– Может, сделаешь потише? – прокричала Рут.

– Легко!

Когда грохот прекратился, у нее еще секунду звенело в ушах, и в эту секунду она успела заметить, как Рэй стрельнул глазами.

Он стоял у противоположной стены, их разделяла незастеленная кровать со скомканными простынями, а над кроватью висел мой портрет, который Рут нарисовала по памяти.

– Ты его повесил у себя, – отметила Рут.

– Бесподобный рисунок.

– Только ты да я, больше так никто не думает.

– Моей маме он тоже нравится.

– Она страшно зажата, Рэй, – сказала Рут, снимая с плеча сумку. – Потому и ты такой психованный.

– Что в пакете?

– Свечи, – ответила Рут. – Купила в магазине. Сегодня ведь шестое декабря.

– Знаю.

– Вот я и подумала: надо пойти в поле и зажечь свечи. В знак прощания.

– Сколько можно прощаться?

– Никто тебя не заставляет, – сказала Рут. – Пойду одна.

– Нет, – возразил Рэй, – я с тобой.

Рут, как была, в куртке, села на постель, пока Рэй переодевал футболку. Она разглядывала его со спины: щуплый, но бицепсы вроде бы на месте; цвет кожи – как у матери, только еще привлекательнее – Можем немножко поцеловаться, если хочешь.

Ухмыляясь, он повернулся к ней лицом. Эти эксперименты начинали ему нравиться. Он



больше не представлял меня на месте Рут, хотя и не решался ей об этом сказать.

Ему нравилось, что она последними словами ругает ненавистную школу. Нравилось, что она зрит в корень и делает вид, будто ей не важно, что его отец – доктор (хотя и не врач, добавляла она), а ее отец собирает старье по заброшенным домам; что у Сингхов прекрасная библиотека, а она о таком и мечтать не могла.

Он присел рядом с ней на кровать. – Не хочешь снять куртку? Она не возражала.

Так и случилось, что в годовщину моей смерти Рэй повалил Рут на кровать, они начали целоваться, и в какой-то момент она поймала его взгляд.

– Черт, – вырвалось у нее, – а ведь это – кайф.

Ступив на кромку поля, Рэй и Рут замолчали, и он взял ее за руку. Она не знала, почему он так сделал: то ли потому, что оба представляли, как я умирала, то ли потому, что она ему нравилась. У нее в голове поднялся ураган, который развеял былую проникательность.

Очень скоро она увидела, что была не единственной, кто в тот день вспомнил обо мне. Спиной к ней в поле стояли Хэл и Сэмюел Хеклеры. Их руки, засунутые в карманы, были сжаты в кулаки. На земле Рут заметила желтые нарциссы.

– Это вы принесли цветы? – спросила Рут у Сэмюела.

– Нет, – ответил за брата Хэл, – они здесь до нас лежали.

Миссис Стэд смотрела на это из окна второго этажа, где помещалась спальня ее сына. Она решила накинуть пальто и пойти в поле, даже не задумавшись, насколько это будет уместно.

Грейс Таркинг прогуливалась вокруг квартала, когда увидела, что миссис Стэд выходит из дому с цветком пуансеттии. Они перекинулись парой слов. Грейс сказала, что забежит домой, но очень скоро присоединится к остальным.

Она позвонила своему другу, который жил неподалеку, в более престижном районе. Потом набрала номер Гилбертов. Они так и не оправились от зловещей роли, которую уготовила им судьба: их верный Лабрадор нашел первое доказательство моей гибели. Грейс вызвалась их сопровождать, потому что в их возрасте не каждый рискнет топтать соседские газоны и увязать в рывтинах кукурузного поля. Мистер Гилберт не заставил себя упрашивать: да-да, непременно. Это внутренняя потребность, признался он Грейс Таркинг, особенно для супруги, – но я-то видела, что он и сам до предела подавлен. Он всегда маскировал свои переживания заботой о жене. Первое время они даже хотели отдать свою собаку, но так и не смогли с ней расстаться – слишком уж привязались.

Мистер Гилберт, для которого Рэй выполнял мелкие поручения, считал своего помощника хорошим парнишкой, к которому плохо относятся. Он позвонил Сингхам домой, чтобы узнать, в курсе ли Рэй. Руана предположила, что ее сын уже на месте сбора, и сказала, что сама тоже скоро подойдет.

Выглянув в окно, Линдси увидела Грейс Таркинг и ее бойфренда: Грейс вела под ручку миссис Гилберт, парень поддерживал мистера Гилберта; они ступили на газон О'Дуайеров.

Что-то происходит на поле, мам, – сказала Линдси.

Моя мама читала Мольера, которого серьезно изучала в колледже, но давно забросила. Рядом лежали другие книги, в свое время снискавшие ей репутацию самой продвинутой студентки. Сартр, Колетт, Пруст, Флобер. Пересерстив книжные полки у себя в спальне, она отобрала несколько томов и поставила цель перечитать их до конца года.

– Мне до этого нет дела, – сказала она Линдси. – Вот папа приедет с работы – он, может, и заинтересуется. А ты лучше с братом поиграй.

Моя сестра неделю за неделей старательно опекала маму, не дожидаясь, пока ее об этом попросят. Под ледяной маской что-то надломилось. Линдси это видела. Примостившись возле маминого кресла, она уставилась в окно.

С наступлением темноты по всему полю стали зажигаться свечи, предусмотрительно захваченные из дому прибывающими горожанами. Казалось, все, кого я знала, с кем ходила в детский сад, а потом в школу, – все были здесь. Мистер Ботт задержался у себя в кабинете: готовил материалы для лабораторной работы – ежегодного эксперимента по изучению системы пищеварения у животных. Он немного походил кругами, а когда осознал происходящее, вернулся в школу и сделал несколько звонков. Пришла секретарша, до сих пор переживавшая мою гибель, и привела с собой сына. Пришли учителя, которые не были на официальной церемонии прощания.

Слухи о том, что в убийстве подозревается мистер Гарви, начали распространяться от со-

седа к соседу накануне Дня благодарения. Через сутки у всех на устах было одно и то же: возможно ли такое? Неужели тот затворник, что тихо жил среди них, убил Сюзи Сэлмон? Никто не осмеливался выяснять подробности у моих близких. Зато расспросами донимали и родню наших знакомых, и мальчишек, приходивших к нам подстригать газоны, и их отцов. Горожане искали знакомства с любым, кто мог знать, какие версии отрабатывает полиция, а стало быть, поминальные свечи давали возможность не только почтить мою память, но и разузнать хоть что-нибудь утешительное. Ведь среди них жил убийца; он ходил теми же тротуарами, он покупая скаутское печенье, которым торговали вразнос соседские дочери, и подписку на журналы, которую предлагали соседские сыновья.

На небе меня захлестывали токи энергии и тепла – уже оттого, что на поле пришло столько народу: люди зажигали свечи и тихонько подхватывали печальную песню, которую, по воспоминаниям мистера О'Дуайера, пел еще его дед – уроженец Дублина. Сначала всем было как-то не по себе, но когда у мистера О'Дуайера стали отказывать связки, ему на помощь пришла школьная секретарша, пусть и не обладавшая особо мелодичным голосом. Руана Сингх, прямая как стрела, стояла поодаль от сына, там, где поменьше народу. Доктор Сингх позвонил домой, когда она уже была в дверях, и сообщил, что остается ночевать в университете. А другие отцы, возвращаясь с работы, ставили машины в гараж и спешили сюда. Каждый спрашивал себя, что нужно делать, чтобы и зарабатывать деньги, и смотреть за детьми, обеспечивая их безопасность. Собравшись вместе, они поймут, что это невозможно: никакие меры предосторожности не дают полной гарантии. То, что случилось со мной, может случиться с кем угодно.

Никто из собравшихся не пошел к нам домой. Моих близких некто не потревожил; Наш дом, вместе с черепичной крышей и трубой, поленницей, подъездной рогожкой и забором, покрылся прозрачной ледяной броней, как лес в морозную ночь после оттепели. Вроде бы точно такой же дом, как все остальные, но в то же время совсем не такой. Убийство запирается на кроваво-красную дверь, а что за ней – никому не ведомо.

Когда небо приобрело цвет увядающей розы, Линдси осенило. А моя мама так и не подняла глаз от книги.

– Они устроили поминки по Сюзи, – сказала Линдси. – Вот послушай! – Она с треском распахнула окно. В дом ворвался холодный декабрьский воздух и звук отдаленного пения.

Мама собралась с силами.

– У нас была прощальная церемония, – сказала она. – Мне хватило.

– Хватило чего?

Мамины локти упирались в подлокотники желтого кресла. Она слегка подалась вперед, на лицо упала тень, и теперь Линдси с трудом разбирала выражение ее лица.

– Я не верю, что она ждет нас на небе. Не думаю, что зажженные свечи и людные сборища выражают почтение к ее памяти. Нужно просто осмысленно строить свою жизнь.

– А как? – спросила Линдси.

Она сидела по-турецки на ковре у ног моей мамы, а та не расставалась с книгой, держа палец там, где остановилась.

– Я, например, не хочу вечно быть матерью, я хочу идти дальше.

В этом, как показалось Линдси, был резон. Она и сама не хотела вечно быть девочкой, она хотела идти дальше.

Моя мама положила Мольера на кофейный столик и сползла с кресла на ковер. Я была поражена. Она никогда не сидела на полу – предпочитала располагаться за столиком для квитанции, в кресле с подлокотниками или, в крайнем случае, на торце дивана, а Холидей сворачивался клубком у ее ног.

Она взяла руку моей сестры в свои ладони.

– Ты решила нас бросить? – спросила Линдси.

Мама растерялась. Как можно произносить такое вслух?

И она сказала неправду: – Я вас не брошу, обещаю.

Больше всего ей сейчас хотелось снова стать свободной, какой была та девчонка из магазина «Уонамейкерс», что прятала от управляющего веджвудскую чашечку с отколотой ручкой, мечтала жить в Париже, как Сартр и Симона де Бовуар, и, возвращаясь с работы, хихикала над «ботаником» Джеком Сэлмоном, который на самом-то деле был настоящим симпатягой, хотя на дух не переносил сигареты. В парижских кафе курят все поголовно, убеждала она, и он, кажется,

поверил. В конце того лета, когда он пришел к ней домой и они – оба впервые в жизни – занимались любовью, она зажгла сигарету, и он тоже ради шутки решил покурить; тогда она вместо пепельницы дала ему разбитую фарфоровую чашку, а потом использовала все свое красноречие, чтобы приукрасить историю о том, как она сначала раскокала, а потом вынесла под полую эту, теперь уже ее домашнюю, веджвудскую чашку.

– Иди ко мне, малышка, – сказала мама, и Линдси не стала противиться.

Она прислонилась спиной к маминой груди, и мама стала ее укачивать, сидя на жестком полу.

– Ты молодчина, Линдси, ты поддерживаешь в папе жизнь.

Тут они услышали, как подкатил отцовский автомобиль.

Линдси не отстранилась, но мамины мысли уже перескочили на Руану Сингх, которая выходила покурить во двор. Упоительный аромат «данхилла», долетавший до тротуара, уносил маму далеко-далеко. Ее Последний приятель, с которым она встречалась до папы, обожал «голуаз». Высокомерный юнец, вспоминала на, но настоящий эрудит: рядом с ним и она могла блеснуть.

Подойдя к окну, Линдси воскликнула:

– Смотри, сколько свечей, мам!

– Беги, встречай отца, – сказала ей моя мама.

Линдси застала моего отца в прихожей: он вешал на крючок ключи и снимал пальто. Да, надо пойти, сказал он. Обязательно пойдем.

– Папочка! – закричал мой брат со второго этажа, куда направлялись мои сестра и отец.

– Ох, оглушил, – улыбнулся папа вцепившемся в него Бакли.

– Сколько можно от него скрывать? – сказала Линдси. – Это нечестно – все время от него отмахиваться. Сюзи больше нет. Он ведь все понимает.

Мой братишка смотрел ей в рот.

– Соседи устроили торжественный вечер в память Сюзи, – сказала Линдси. – Мы с тобой и с папой сейчас туда пойдем.

– А у мамы головка болит? – спросил Бакли.

Линдси не хотела врать, но Бакли ухватил самую суть – лучше не скажешь.

– Вот именно.

Линдси договорилась с папой встретиться внизу, а сама потащила Бакли в его комнату, чтобы переодеть.

– А знаешь что: я ее вижу, – сказал Бакли.

Линдси вытаращила глаза.

– Она заходит ко мне поболтать, когда ты на футболе.

Линдси не нашлась, что ответить. Она протянула к нему руки и стиснула в объятиях – как тискала Холидея.

– Ты просто чудо, – сказала она братишке. – Я всегда буду с тобой, что бы ни случилось.

Папа медленно спускался вниз, левой рукой опираясь на деревянные перила, пока не ступил на каменный пол.

Он не таился. А моя мама, в компании с Мольером, перебралась в столовую, с глаз долой, и там углубилась в чтение, стоя в углу. Она не могла дожидаться, когда же хлопнет входная дверь.

Соседи и учителя, друзья и родные стали в круг – по воле случая, недалеко от того места, где меня убили. Мои сестра с братишкой и папа, едва выйдя на улицу, снова услышали пение. Папа весь устремился вперед, чуть ли не полетел навстречу этому теплу и свету. Он всей душой желал, чтобы я осталась в памяти и сердце каждого. Но, наблюдая за происходящим, я кое-что поняла: почти все собравшиеся прощались со мной навсегда. Я превращалась в девочку-потеряшку, одну из многих. Люди разойдутся по домам и забудут меня, как старое письмо, которое никогда не перечитывают, даже не достают из конверта. И я тоже прощалась с ними, желала им только хорошего, по-своему благословляла их за добрые мысли. За то, что у нас на улицах здоровались за руку, подбирали потерянную вещь, чтобы вернуть владельцу, приветливо махали из окон, кивали на бегу и лишь молча переглядывались, видя детские шалости.

Рут первой заметила троих членов моей семьи и дернула Рэя за рукав.

– Иди, поддержи его, – прошептала она.

И Рэй, который познакомился с моим папой уже в первый день долгого пути, вымощенного поисками убийцы, направился к нему. Сэмюел последовал его примеру. Как два молодых пасто-

ра, они подвели моего отца с двумя детьми к своему кругу, который принял их и умолк.

Папа месяцами не выходил из дому, только ездил на работу и обратно да еще сидел на заднем дворике, откуда не видно соседей. Теперь он вглядывался в их шла, пока не осознал, что меня любили даже те, которых он толком не знал. У него потеплело на душе, чего давно уже не случалось – разве что во время кратких, ныне почти забытых проявлений любви между им и сыном, Бакли.

Он увидел мистера О'Дуайера.

– Стэн, – сказал мой отец, – Сюзи любила стоять летом у окна и слушать, как вы поете у себя во дворе. Это ее завораживало. Может, споете для нас?

Как исполнение желаний, которое даруется редко подчас не к месту, не тогда, когда возникает самое Главное желание на свете: вернуть дорогого сердцу человека из мертвых, – голос мистера О'Дуайера, чуть вогнув на первой ноте, полился свободно, чисто и прекрасно.

Его песню подхватили все остальные.

Мне и самой запомнились те летние вечера, о которых упомянул отец. Бывало, я не могла дожидаться темноты, которая несла с собой благодатную прохладу. Стоя у распахнутого окна, я ловила легкий ветерок, на крыльях которого из дома О'Дуайеров прилетала музыка. Я слушала, как мистер О'Дуайер перепевает одну за другой все известные ему ирландские баллады, а ветерок наполнялся запахами земли, воздуха и мха, что предвещало только одно: грозу.

Природа ненадолго замирала. Линдси, устроившись на старой кушетке у себя в комнате, делала уроки, папа в кабинете погружался в книги, мама вязала крючком или мыла посуду.

Мне нравилось переодеваться в длинную ситцевую ночную сорочку и выходить на заднее крыльцо, когда дождь тяжелыми каплями барабанил по крыше, а вокруг вились ветры. Сорочка липла к ногам. Было тепло и чудесно, сверкала молния, через пару мгновений грохотал гром.

Мама подходила к открытой двери и, проговорив свое обычное «вот простудишься и умрешь», замолкала. Мы вместе слушали дробь дождя и раскаты грома, вдыхали поднимающийся к нам запах земли.

– Можно подумать, никакая сила тебя не возьмет, – сказала как-то моя мама.

Я обожала эти минуты, когда мы с ней, казалось, чувствовали одно и то же. Кутаясь в тонкую сорочку, я повернулась к ней и ответила:

– Это точно.

#### КАРТИНКИ

Подаренный родителями фотоаппарат я использовала на все сто. Отщелкала столько пленок, что папа, даже велел мне их рассортировать: какие действительно стоит проявлять, а какие – нет. Поскольку мое увлечение приобретало все больший размах, я завела у себя две коробки. «На проявку» и «Архив». Хоть в чем-то, как сказала моя мама, проявила аккуратность.

Мне было приятно думать, что мой «Кодак-инста-матик» озаряет вспышкой избранные мгновения, которые вот-вот канут в прошлое, но навсегда останутся на пленке. Я вынимала использованный кубик, еще Горячий, и перекачивала его в ладонях. От разрыва нити накаливания тонкое стекло покрывалось синеватыми мраморными разводами или черной копотью. При помощи фотокамеры я сохраняла мгновения жизни, потому что научилась ловить момент и останавливать время. Этого никто не мог у меня отнять: я была повелительницей времени.

Однажды, летним вечером семьдесят пятого года, моя мама спросила отца:

– Ты когда-нибудь занимался любовью в океане?

И он ответил:

– Нет, никогда.

– Я тоже, – сказала мама. – Давай сделаем вид, что мы в океане: как будто я уплываю вдаль и мы расстаемся.

На другой день она уехала в Нью-Гемпшир, в загородный домик своего отца.

В то лето Линдси, Бакли и мой папа, открывая входную дверь, нередко обнаруживали на крыльце кастрюльку с овощным рагу или сдобный кекс. Иногда яблочный пирог – папино любимое лакомство. Вкус этих кулинарных сюрпризов был непредсказуем. Рагу, которое готовила миссис Стэд, было сущей отравой. У миссис Гилберт кексы выходили плохо пропеченными, но, в общем-то, вполне съедобными. Зато яблочные пироги Руаны просто таяли во рту.

После маминого отъезда мой отец долгими ночами сидел в кабинете и, пытаясь чем-то занять голову, раз за разом перечитывал книгу из истории войны Севера и Юга – письма Мэри

Чеснат<sup>14</sup> к мужу. Он хотел забыть обиды и напрасные надежды, но из этого ничего не получалось. Только один раз у него на лице мелькнуло некое подобие улыбки.

«Почему Руана Сингх печет такие маленькие яблочные пироги?» – записал он в своем блокноте.

Как-то осенью позвонила бабушка Линн.

– Джек, – заявила она, – я, пожалуй, переберусь к вам.

Несколько секунд папа в замешательстве молчал.

– Думаю, от меня будет польза и тебе, и детям. Не вековать же мне одной в этом мавзолее.

– Линн, мы уже кое-как приспособились к новой жизни, – пробормотал он.

Но, положив руку на сердце: сколько можно было спихивать Бакли матери Нейта? А ведь за минувшие четыре месяца мамино отсутствие уже вошло в порядок вещей.

Бабушка не сдавалась. Я видела, как она пытается устоять перед последним глотком водки, оставшимся на донышке.

– На спиртное обещаю не налегать... – тут она напряженно задумалась, – до пяти часов. – А подумав еще, выпалила: – Да пропади оно пропадом! Ты только скажи – я вообще могу завязать.

– Вы сами-то понимаете, что сейчас пообещали?

Осознание прокатилось волной от бабушкиной руки, державшей трубку, до закованных в туфли-лодочки ног.

– Понимаю. Как бы да...

Уже положив трубку, он задал себе вопрос: Куда же нам ее поселить?

Но на этот счет сомнений ни у кого не было.

К началу декабря семьдесят пятого исполнился год с того дня, как мистер Гарви, прихватив пару дорожных сумок, свалил из города – и поминай как звали. Витрины магазинов пестрели листовками с его нечетким изображением, но вскоре клейкая лента засалилась, а бумага истрепалась. Линдси и Сэмюел слонялись по улицам или торчали у Хэла в мастерской. Моя сестра за версту обходила кафе, куда ребята из нашей школы заглядывали после уроков. Владелец этого заведения чтит закон и порядок. Увеличив портрет Джорджа Гарви вдвое, он прибил его прямо к двери.

Любопытствующим посетителям хозяин охотно живописал все кошмарные подробности: совсем еще девочка, кукурузное поле, найден только кусок руки.

В конце концов Линдси попросила Хэла подбросить ее до полицейского участка. Ей не терпелось выяснить, как продвигается расследование.

Оставив мастерскую на попечение Сэмюела, они с Хэлом помчались по шоссе сквозь мокрый декабрьский снег.

С самого начала Линдси смутила полицейских своей молодостью и решимостью. В участке она, считай, перезнакомилась со всеми, и все старались держаться от нее подальше. Девчонке всего пятнадцать, а она словно с цепи сорвалась, прет как танк. А у самой груди уже налились аккуратными круглыми яблочками; ноги еще голенастые, но икры аппетитные; а в васильковых глазах такая твердость – кремьень, да и только.

В ожидании приема, сидя на деревянной скамье рядом с Хэлом, Линдси заглянула в открытую дверь и увидела что-то подозрительно знакомое. Эта вещица лежала на столе у детектива Фэрмерна и ярким пятном выделялась на фоне строгого кабинета. Такой цвет мама называла алым: типичный цвет губной помады, более резкий, чем цвет красной розы, и почти не встречающийся в природе. Наша мама всегда гордилась своим умением носить алые вещи: каждый раз, повязывая на шею алый шарфик, она подчеркивала, что даже бабушка Линн не решается носить такой цвет.

– Хэл, – выдавила Линдси, цепenea от недоброго предчувствия.

– Что?

– Видишь там красную тряпочку?

– Ну?

– Сходи за ней, а?

---

<sup>14</sup> Мэри Чеснат (1823-1886) – американская общественная деятельница. Родилась в семье рабовладельцев, но выступала за отмену рабства. Стояла у истоков американского феминизма.

Поймав на себе изумленный взгляд Хэла, Линдси пояснила:

– Кажется, это мамина вещь.

Стоило Хэлу подняться со скамьи, как в другом конце коридора появился Лен. Он сразу понял, куда направляется Хэл, но как ни в чем не бывало приблизился к Линдси и потрепал ее по плечу. Она выдержала его взгляд. – Откуда у вас шарф моей матери?

Лен Фэнермен растерялся:

– Наверное, она его обронила у меня в машине.

Линдси встала и ясными глазами посмотрела на него в упор. Она неумолимо приближалась к сокрушительному вопросу:

– А что она там делала?

– Здорово, Хэл, – сказал Лен.

Хэл так и замер с шарфом в руках. Линдси, выхватив у него полоску алого шелка, вскипела от ярости:

– Откуда у вас шарф моей матери?

Хотя Лен и был детективом, Хэл оказался наблюдательнее: он первым заметил, как у Линдси над головой полыхнула радуга – все цвета фломастеров Призма», весь спектр озарения. То же самое происходило на уроках алгебры или английского, когда моя сестра первой решала уравнение или указывала одноклассникам на двусмысленную фразу. Хэл положил руку ей на плечо и направил к выходу.

– Нам пора, – сказал он.

Позже она выплакала свое горе на плече у Сэмюела, в подсобке автомастерской.

Когда моему брату исполнилось семь лет, он – в память обо мне – построил крепость: давным-давно да с ним собирались сделать это вместе. Мой папа в этом деле не участвовал, просто не мог себя заставить.

Еще слишком свежа была память о строительстве шатра во дворе у исчезнувшего мистера Гарви.

После его бегства в зеленый дом въехала супружеская чета с пятью малолетними дочками. Когда на улице потеплело, бассейн в саду наполнили водой, и до папиного кабинета доносился детский смех. Радостный визг пяти девочек – целых и невредимых.

Их веселье жестоко резало слух, будто по соседству кто-то давил битое стекло. Весной семьдесят шестого, когда мамы уже с нами не было, мой отец даже самыми душными вечерами наглухо закрывал окна своего кабинета, чтобы только не слышать этого щебета. Он смотрел сверху, как его сын в одиночку бродит среди трех кустов вербы и беседует сам с собой. Бакли раскопал в гараже пустые глиняные горшки. Притащил из-за дома никому не нужную решетку для чистки подошв. Собрал еще какой-то хлам, пригодный для возведения крепостных стен. Заручившись помощью Сэмюела, Хэла и Линдси, перекатил на задний двор два огромных валуна, лежавших по бокам подъездной дорожки. После завершения работ Сэмюел не удержался и спросил:

– А крыша-то будет?

Бакли умоляюще посмотрел на Хэла, который мысленно перебрал в голове все содержимое своей мастерской и вспомнил, что к задней стене прислонены два ржавых листа гофрированной жести.

И вот однажды, душным вечером, мой отец выглянул в окно – и не увидел своего сына. Бакли обустроивал крепость изнутри. Стоя на четвереньках, он втаскивал внутрь глиняные горшки и ставил их один на другой, а затем положил сверху доску, которая оказалась почти под самой крышей, сделанной из листов жести. Света поступало как раз достаточно, чтобы можно было читать. Хэл по его просьбе взял баллон черной краски и сделал грозную надпись на фанерной двери: «НЕ ВХОДИТЬ».

Его любимым чтением были комиксы: «Мстители» и «Люди Икс». Он воображал себя Росмахой-Вулверайном, у которого скелет из прочнейшего металла во всей Вселенной, а любая рана к утру заживает. Ни с того ни с сего, правда, очень редко, он задумывался обо мне, вспоминал мой голос, ждал, что я выбегу во двор и забарабаню по крыше крепости, чтобы меня впустили. Иногда ему хотелось, чтобы Линдси с Сэмюелом почаще бывали у нас дома, чтобы папа играл с ним, как раньше. Просто играл бы, не пряча за улыбкой свою тревогу, вечную тревогу, которая теперь незримо висела в воздухе, как электрическое поле. Единственное, чего никогда

не позволял себе мой брат, – это скучать по маме. Он забивался в тоннели небылиц, где слабые обретают звериную силу, берут в руки волшебный молот, прожигают взглядом сталь, поднимаются на крышу небоскреба по отвесной стене. Если его разозлить, он превращался в Громилу Халка, а все остальное время был Человеком-Пауком. Когда наваливалась тяжесть, он проявлял недетское мужество и так вырос. А сердце то смягчалось, то каменело. Сердце – камень, сердце – камень. Глядя с небес на брата, я вспоминала, как говорила бабушка Линн, когда мы с сестрой закатывали глаза или корчили рожи у нее за спиной: «Такими и останетесь».

Второкласником Бакли как-то принес из школы свое сочинение: «Жил-был мальчик, звали его Билли. Он хотел все знать. Увидел он яму и решил туда залезть, а обратно не вылез. Конец».

Папа был слишком поглощен своими мыслями, чтобы заметить неладное. В подражание маме, он скотчем прикрепил этот листок к дверце холодильника, где когда-то, давным-давно, висел намалеванный Бакли рисунок Межграницья. Впрочем, мой брат и сам понял, что рассказ получился так себе, потому что учительница бубнила про него что-то непонятное, как по книжке. Когда бабушка отвернулась, он сорвал листок с холодильника и отнес в мою бывшую комнату, а там сложил в несколько раз и подполз к пустующему тайнику в недрах моей кровати.

В один из душных осенних дней осени семьдесят шестого Лен Фэнермен зашел в хранилище вещдоков и открыл высокий сейф. Там лежали изъятые из подвала мистера Гарви кости животных, а также заключение лаборатории о наличии следов негашеной извести. Лен сам вел расследование, его бригада обыскала весь дом и участок, но больше там ничего не нашли – ни костей, ни трупов. Кровавое пятно на полу в гараже так и осталось моим единственным прощальным посланием. Неделью за неделей, месяц за месяцем Лен Фэнермен ломал голову над ксерокопией наброска, который в свое время выкрала Линдси. Он еще раз привел своих помощников на поле и заставил без продыху перелопачивать землю. В конце концов на другом краю была обнаружена старая бутылка из-под кока-колы. Так появилось недостающее звено: отпечатки пальцев, совпадающие с теми, что сняли в доме мистера Гарви, а также другие отпечатки, идентичные запечатленным в моем свидетельстве о рождении. Теперь сомнений не оставалось: Джек Сэлмон с самого начала был прав.

Однако розыски подозреваемого ничего не дали: Джордж Гарви как в воду канул. Его имя нигде не числилось. Официально такого человека не существовало.

После него остались только макеты различных строений. Лен вызвал агента, который скупал эту продукцию и за приличный процент поставлял в специализированные магазины или отвозил богатым клиентам, пожелавшим иметь копию собственного особняка, безрезультатно. Тогда он разыскал изготовителей миниатюрной мебели, крошечных застекленных окон и дверей с бронзовыми ручками и шпингалетами, а потом связался даже с поставщиком микроскопических зеленых насаждений, сделанных из воздушной ткани. Безрезультатно.

Сейчас Лен в задумчивости сидел за голым конторским столом в подвале полицейского участка и разглядывал вещдоки. Зачем-то перебрал пачку ненужных листовок, которые распечатал мой отец. Мое лицо было знакомо Лену до мельчайших деталей, но он снова и снова всматривался в каждый штрих. У него зрело убеждение, что в этом деле определенно возникнут подвижки благодаря новому размаху строительства. Когда по всей округе роют котлованы и перекапывают землю, можно ожидать появления дополнительных улик, которые и дадут искомый ответ.

На дне коробки лежал пакет, а в нем – шапка с бубенчиками. Когда он показал это моей маме, она упала без чувств. Лен до сих пор не мог для себя определить, в какой момент к нему пришла любовь. Я-то знала: это произошло у нас дома, пока мама рисовала нелепые фигурки на грубой бумаге, а Бакли с Нейтом спали валетиком на диване. Мне даже стало жаль детектива Фэнермена. Взятся расследовать мое убийство – облом. Влюбился в мою маму – и тут облом.

Рассматривая похищенный Линдси набросок с видом кукурузного поля, Лен вынужден был признать: из-за своей халатности он упустил насильника и убийцу. Теперь его мучила совесть. Конечно, этого никто не знал, но если бы Лен тогда не помчался в торговый центр по звонку моей мамы, Джордж Гарви не гулял бы сейчас на свободе.

Вытащив из заднего кармана бумажник, он разложил перед собой фотографии жертв нераскрытых преступлений. В том числе и фото своей жены. Он перевернул все снимки лицом вниз и поочередно надписал на каждом: «Сведений нет». Больше не было надежды со временем выяснить, кто, как и почему. Не было надежды разобраться в причинах самоубийства жены. Не

было надежды узнать судьбу этих детей и подростков. Он сложил все фотографии в коробку, относящуюся к моему делу, и выключил свет в пустом, холодном помещении.

Просто он кое-чего не знал.

Десятого сентября тысяча девятьсот семьдесят шестого года некий житель Коннектикута поехал на охоту. Выходя из лесу, он увидел под ногами какую-то блестящую штуковину. Брелок от моего браслетика – эмблему Пенсильвании, замковый камень. А вслед за тем определил, что поблизости хозяйничал медведь. И что оказалось: зверь вывернул из земли то, что осталось от детской ступни.

Моя мама продержалась в Нью-Гемпшире всего одну зиму, а потом решила отправиться на машине в Калифорнию. Эту идею она вынашивала давным-давно. Один из ее нью-гемпширских приятелей рассказал, что в окрестностях Сан-Франциско всегда можно устроиться на какую-нибудь винодельню. Люди требуются постоянно, работа подвижная, в душу никто не лезет. Эти три довода ее убедили.

Тот же приятель всячески старался уложить ее в постель, но обломился. К тому времени мама поняла, что это ни к чему не приведет. После того свидания с Леном, когда они укрылись в недрах торгового центра, ей стало ясно, что у таких отношений нет будущего. Она даже толком ничего не почувствовала.

Сборы были недолгими. Из каждого города, где мама делала остановку, она посылала открытки моим брату с сестрой. «Привет. Я в Дейтоне. Символ штата Огайо – птица-кардинал». «Вчера на закате добралась до берегов Миссисипи. Река необъятная».

В Аризоне, впервые в жизни проехав целых восемь штатов, она заплатила за ночлег и принесла к себе в номер ведро льда из гостиничного автомата. На следующий день ее ждала Калифорния, и в преддверии этого события была куплена бутылка шампанского. Мама вспоминала байки своего нью-гемпширского приятеля: тот целый год отскребал от плесени гигантские бродильные чаны. Лежа на спине, соскабливал ножичком слой за слоем. Цветом и консистенцией плесень напоминала говяжью печеньку. Сколько потом ни отмывайся под душем, винные мушки будут виться вокруг тебя тучами.

Попивая шампанское из пластикового стакана, она посмотрела на себя в зеркало. Против своей воли.

В памяти всплыл один предновогодний вечер, когда вместе с ней в гостиной сидели мы с сестрой и папа с братом. Впервые наша семья встречала Новый год в полном составе. День был организован так, чтобы Бакли перед этим как следует выспался.

Он открыл глаза, когда было уже темно, и решил, что в такую ночь его ждет что-нибудь поважнее, чем визит Санта-Клауса. У него давно была мечта перенестись в игрушечную страну – вот это был бы настоящий праздник.

Через пару часов он уже зевал и клевал носом, сидя на коленях у моей мамы, которая перебирала пальцами его кудряшки; папа отправился на кухню готовить какао, а мы с сестрой раскладывали по тарелочкам немецкий шоколадный торт. Часы пробили двенадцать раз, но это ознаменовалось только чьим-то отдаленным улюлюканьем и двумя – тремя ружейными выстрелами. Мой брат был поражен. Его разочарование выплеснулось так бурно и стремительно, что мама даже растерялась. На ум пришли слова из песни молодой еще Пегги Ли: «И это все?» Потом раздался оглушительный рев.

Она вспоминала, как мой папа, взяв Бакли на руки, стал ему напевать. Мы все подхватили знакомый мотив: «Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней? Забыть ли старую любовь и не грустить о ней?»

Бакли вытаращил глаза. Слова, рожденные в старой Британии, плыли у него над головой, как мыльные пузыри.

– Листару и любовь? – зачарованно переспросил он.

– А правда, как это понимать? – поинтересовалась я у родителей.

– Старую любовь, – поправил мой папа. – Которая была в старое время.

– Которая давно ушла, – сказала мама и почему-то начала собирать щепотки липких крошек у себя на тарелке.

– Ау, Глаза-Океаны! – окликнул папа. – Ты про нас не забыла?

Она до сих пор помнила, как замкнулась от этого вопроса, будто щелкнула переключателем, вскочила из-за стола и призвала меня убирать посуду.



В тот осенний день тысяча девятьсот семьдесят шестого, добравшись до Калифорнии, она сразу поехала на побережье и только там остановила машину. У нее было такое ощущение, будто она четверо суток ничего не видела, кроме семейных полчищ, которые орали, бранились и ссорились, придавленные сверхъестественной силой повседневности; увидев через лобовое стекло океанские волны, она испытала желанное облегчение. На ум сами собой пришли книги, прочитанные в колледже. «Пробуждение»<sup>15</sup>. И еще история одной писательницы, Вирджинии Вулф<sup>16</sup>. В студенческие годы все это казалось романтикой, как в кино: камни в кармане, шаги в пучину.

Небрежно повязав свитер вокруг талии, она стала спускаться по каменистому склону. Внизу были только острые утесы да волны. Она с осторожностью выбирала дорогу, но я смотрела не на открывшийся впереди вид, а исключительно ей под ноги, боясь, как бы она не поскользнулась.

Мою маму целиком поглотило желание ощутить кожей эти волны, ступить в незнакомые океанские воды, в незнакомом краю, погрузиться в эту крестильную купель. Плюх! – и начинай все с чистого листа. Неужели жизнь – это не более чем игра на выживание в душном зале, где ты мечешься в четырех стенах, без конца передвигая деревянные плахи? В голове крутилось: потрогай волну, волну, волну, а я следила, как ее ступни нащупывают опору среди камней. Когда раздался тот крик, мы услышали его одновременно – и в изумлении одновременно подняли глаза.

Над скалистым берегом прокатился детский плач.

Среди камней виднелась песчаная бухта – теперь ее было хорошо видно, – и там, на расстеленном одеяле, барахтался ребенок, крошечная девочка в розовом вязаном чепчике, ползунках и пинетках. Она была совершенно одна, если не считать мягкой белой игрушки (маме показалось, это барашек).

Поодаль, спиной к моей маме, с деловито-озабоченным видом стояла кучка взрослых, одетых в черное и синее, в высоких ботинках и лихо заломленных шляпах. Мой наметанный глаз фотоохотника выхватил треногу и опутанные проволокой серебряные диски, которые, по мановению руки какого-то парня, бросали на девочку яркие блики.

Моя мама рассмеялась, но лишь один из ассистентов обернулся и разглядел ее среди скал; остальным было не до нее. Они снимают рекламу, догадалась я, но какую именно? Рекламу новой девочки, которая заменит вам прежнюю? Мамин смех осветил ее лицо, и мне открылись незнакомые, жесткие линии морщин.

Позади крошки-девочки плескались волны, прекрасные и пьянящие; им ничего не стоило незаметно подкрасться и смыть малышку с берега. То-то заматались бы эти лощеные красавцы, но поздно – никто не смог бы ее спасти; и даже мать, которая каждой клеткой своего тела должна чувствовать приближение беды, была бы бессильна против этих волн. А жизнь потечет своим чередом, испещряя невозмутимый берег новыми бедами.

В первую же неделю мама нашла работу на винодельне «Крузо», расположенной в долине, недалеко от побережья. Мои брат с сестрой по-прежнему получали почтовые открытки с яркими кусочками жизни, по возможности приукрашенными.

По выходным она бродила по улицам Саусалито или Санта-Розы, элитарных карликовых городков, где все были друг другу чужими, и принуждала себя любоваться манящей новизной этих мест, но стоило ей зайти в сувенирную лавку или в кафе, стены начинали пульсировать, словно больные легкие. Это накатывала тоска, заползала по ногам в нутро, душила, слепила глаза неудержимым натиском слез, и тогда моя мама набирала полную грудь воздуха, чтобы не разреветься в голос на людях. Она заказывала в ресторанчике чашку кофе и ломтик подсушенного хлеба, который сдабривала слезами. Потом шла в цветочный магазин и спрашивала нарциссы; когда их не было в продаже, она чувствовала себя обделенной. Ведь это такая малость – ярко-

<sup>15</sup> Выпущенный в 1899 г. роман американской писательницы Кейт Шопен (1851-1904), предшественницы современного феминизма, о сексуальном и художественном пробуждении молодой жены и матери, которая уходит из семьи и впоследствии кончает жизнь самоубийством.

<sup>16</sup> Вирджиния Вулф (1882-1941) – британская писательница и литературный критик, автор романов «На маяк» (1927), «Орландо» (1928), «Волны» (1931) и др. В приступе безумия утопилась в море неподалеку от своего дома в Сассексе.

желтый цветок.

После первого импровизированного прощания на кукурузном поле у моего папы возникло желание продолжить традицию. Теперь он ежегодно устраивал траурную церемонию, но с каждым разом народу приходило все меньше. Были, конечно, преданные друзья: Рут, чета Гилбертов, но основную массу составляли школьники, для которых мое имя, хотя и окутанное темными слухами, уже превратилось в пустой звук; его упоминали главным образом в назидание ученикам, которые отделялись от коллектива. Особенно девочкам.

Каждый раз, когда мое имя произносили посторонние, меня словно кололи булавкой. Со всем другим делом – если его повторял мой отец или выводила в своем дневнике Рут. Но чужие, произнося мое имя, воскрешали и хоронили меня на одном дыхании. Будто на занятии по экономике вычеркивали товар из одного списка и заносили в другой, под рубрикой «Убитые». Как живую девочку меня помнили только некоторые учителя, например мистер Ботт. Иногда во время обеденного перерыва он садился в старенький красный «фиат» и думал о своей дочери, которая умерла от лейкемии. Из окна его машины виднелось кукурузное поле. Он нередко молился и за меня.

За считанные годы Рэй Сингх превратился в настоящего красавца, от которого в любой толпе исходили какие-то особые токи. Сейчас, в семнадцать лет, он еще не выглядел как взрослый, но это время было не за горами. Длинные ресницы и мечтательные глаза с поволокой, густые черные волосы и нежные юношеские черты лица одинаково привлекали и мужчин, и женщин.

Наблюдая за Рэем, я тосковала не так, как по другим. Мне хотелось дотронуться до него, обнять, познать его тело, которое он сам разглядывал совершенно отстраненным взглядом. Сидя у себя за письменным столом, он углублялся в любимую книгу – «Анатомию» Грея, и в зависимости от того, какой раздел привлекал его внимание, находил у себя сонную артерию или нажимал большим пальцем на самую длинную мышцу тела, портняжную, которая тянется от внешней стороны бедра под колено. Его хитрость стала большим преимуществом, так как под кожей легко прощупывались мышцы и кости.

К моменту поступления в Пенсильванский университет он выучил так много терминов и определений, что я даже начала расстраиваться. Когда голова забита наукой, возможно ли удерживать в памяти что-то другое? Не иначе как дружба с Рут, материнская любовь и воспоминания обо мне уступят место хрусталику глаза и радужной оболочке, полукружным каналам уха, а также моему любимому предмету: свойствам симпатической нервной системы.

Мои волнения оказались напрасными. Руана перерыла весь дом в поисках какого-нибудь особого талисмана, который можно было бы дать ему с собой, не менее солидного и весомого, чем анатомический атлас, но затрагивающего поэтические струнки его натуры. Без ведома сына она положила ему в чемодан томик индийской поэзии. Между его страницами лежала моя давно забытая фотография. Когда он распаковывал вещи в общежитии «Хилл-Хаус», фотография выпала на пол у кровати. Не исключено, что его профессиональный взгляд оценил состояние сосудов глазного яблока, носовых пазух, эпидермиса, но прежде всего он выхватил взглядом мои губы, которые когда-то поцеловал.

В июне тысяча девятьсот семьдесят седьмого, в тот день, когда я должна была бы идти на выпускной вечер, Рут и Рэя в городе не было. Как только занятия в «Фэрфаксе» окончились, Рут отправилась в Нью-Йорк, взяв у матери старый красный чемодан и набив его новыми черными вещами. А Рэй – тот уже заканчивал первый курс университета.

Именно в тот день бабушка Линн, выйдя на кухню, подарила Бакли книгу по садоводству. При этом она доходчиво объяснила, как из семян появляются растения. Сообщила, что ненавистная ему редиска – это самый скороспелый овощ и что обожаемые им цветы тоже можно выращивать из семян. Постепенно научила его распознавать циннии, ноготки, анютины глазки, сирень, гвоздику, петунию и выюнки.

Моя мама время от времени звонила из Калифорнии. Телефонные разговоры родителей получались торопливыми и нервными. Она спрашивалась о Бакли, Линдси и Холидее. Узнавала, как дела дома и нет ли новостей, требующих ее внимания.

– Мы все еще скучаем по тебе, – сказал мой отец в декабре тысяча девятьсот семьдесят седьмого, когда опавшая листва частично улетела с ветром, а частично слежалась в аккуратной, собранной граблями горке, но снега так и не было, хотя земля готовилась его принять.

– Понимаю, – ответила она.

– С преподаванием что-нибудь намечается? Кажется, ты этим планировала заняться?

– Да, именно этим, – согласилась она.

Телефон стоял в офисе винодельни. В послеобеденные часы посетителей было немного, но в скором времени ожидалось прибытие пяти старушек на лимузинах – завзятых любителей дегустации. Помолчав, она произнесла фразу, с которой никто не мог поспорить, в особенности мой отец:

– Бывает, планы меняются.

По приезде в Нью-Йорк Рут сняла каморку у какой-то старухи в Нижнем Ист-Сайде. Другое жилье было ей не по карману, но в любом случае она не собиралась сидеть в четырех стенах. День начинался с того, что она скатывала свой двуспальный матрас и убирала его в угол, иначе ей было не повернуться. Она приходила в этот чулан только раз в сутки и при первой же возможности вылетала оттуда, как пробка. Ей требовался только ночлег да еще адрес – прочная и в то же время ничтожная зацепка в этом городе.

Она подрабатывала в баре, а в свободное время обследовала закоулки Манхэттена; Я смотрела, как она топает по бетонным плитам в своих воинственных ботинках, уверенная в том, что везде и всюду, куда ни кинь, женщины становятся жертвами убийства. И в мрачных трущобах, и в роскошных небоскребах. Она останавливалась у светофора и пристально разглядывала уходящую вдаль улицу. Заходила в кафе или бар и записывала в своем дневнике короткие молитвы, выбирая из всего меню самое дешевое блюдо, чтобы только перед уходом можно было на законном основании воспользоваться туалетом... Она открыла в себе уникальное второе зрение. К чему его приложить, было пока неясно; до поры до времени она лишь кропотливо составляла памятки на будущее, но зато поборола в себе страх. Открывшийся ей мир мертвых женщин и детей стал для нее такой же данностью, как и мир, в котором она жила.

В университетской библиотеке Рэй читал статью по геронтологии, под броским заголовком «Обстоятельства смерти». В исследовании говорилось, что обитатели домов престарелых часто жалуются медперсоналу, будто по ночам видят в ногах кровати какого-то человека, который пытается с ними заговорить или окликает по имени. От таких видений больные порой настолько возбуждаются, что приходится давать им успокоительное и даже привязывать к кровати.

В статье высказывалось предположение, что такие видения обусловлены множественными предсмертными микроинсультами: «Данное явление традиционно называют „ангелом смерти“, однако в беседе с родственниками больных целесообразно трактовать его как следствие серии микроинсультов, усугубляющих тяжелое состояние пациента».

Прервав чтение на этом месте и заложив пальцем нужную страницу, Рэй представил себе, на что это похоже. Если стоишь, ко всему готовый, у кровати больного старика – и вдруг мимо пролетает какая-то тень и слегка тебя задевает, потому что ты оказался у нее на пути, в точности как Рут – много лет назад, на школьной автостоянке.

Мистер Гарви кочевал по Северо-Восточному коридору, от пригородов Бостона до северной оконечности южных штатов – там подворачивались легкие заработки, да и лишних вопросов никто не задавал; время от времени он даже делал попытку исправиться. Его всегда влекла Пенсильвания, он исколесил ее вдоль и поперек, иногда останавливаясь на ночевку рядом с нашим городком, на дороге местного значения, за супермаркетом «Севен-Илевен», где еще сохранилась узкая лесополоса между этим круглосуточным магазином и железнодорожными путями. С каждым разом он видел здесь все больше окурков и пустых жестянок. Но все равно не упускал возможности наведаться в знакомые места, пусть даже с некоторым риском, – либо на рассвете, либо поздно вечером, когда дорогу переходили редкие нынче дикие фазаны, сверкавшие глазами в свете фар. Детей и подростков больше не посылали на окраину города за ежевикой, потому что на месте старой фермы, где раньше было много ягод, земля расчищалась под застройку. Со временем он приноровился собирать грибы и наедался ими до отвала, когда случалось заночевать на заросших лугах парка Вэлли-Фордж. В одну из таких ночей – я сама видела – он наткнулся на тела двух горе-туристов, отравившихся поганками. Заботливо осмотрев трупы, он забрал все мало-мальски ценное и продолжил путь.

Доступ в крепость получили только Хэл, Нейт и Холидей. Под камнями трава не росла, и во время дождя ноги утопали в жирной грязи; тем не менее крепость устояла. Впрочем, Бакли приходил туда все реже, и в конце концов Хэл не выдержал.

– Что ж у тебя крепость-то протекает, Бак? – сказал он. – Ты же взрослый парень, десять лет стукнуло.

Просмолить бы надо.

И бабушка Линн не смогла ему возразить: мужчины были ее слабостью. Она стала давить на Бака, чтобы тот выполнял все указания, а перед приходом Хэла наряжалась с особой тщательностью.

– Что это вы делаете? – спросил ее отец, выползая субботним утром из своей берлоги на соблазнительный запах лимонной цедры, сливочного масла и золотистой опары, которая подходила в кастрюльках.

– Сдобные булочки, – ответила бабушка Линн.

Мой отец испугался, что у нее съехала крыша. Было десять утра, столбик термометра приближался к тридцати градусам, а бабушка успела накраситься по полной программе да еще натянула колготки. Потом он заметил во дворе Хэла.

– Линн, побойтесь бога, – зашептал он. – Этот мальчик годится вам в...

– Но он такой очаровашка!

Папа только покачал головой и присел за кухонный стол:

– Когда же будут готовы приворотные булочки, уважаемая Мата Хари?

В декабре восемьдесят первого, когда позвонили из Делавера, Лен с крайней неохотой взял трубку: он уже знал, что наметилась связь между убийством в Уилмингтоне и обнаруженным в семьдесят шестом году телом девочки из Коннектикута. Один дотошный следователь, занимаясь коннектикутским делом, проверил упоминание об амулете в виде замкового камня и в свободное от службы время добрался до списка личных вещей, которые были у меня с собой в последний день.

– Это «глухарь» – сказал в телефонную трубку Лен.

– Продиктуйте нам все данные.

– Джордж Гарви. – Лен с уверенностью произнес это имя, и сидевшие за соседними столами сослуживцы встрепенулись. – Преступление совершено в декабре семьдесят третьего. Имя жертвы – Сюзи Сэлмон, возраст – четырнадцать лет.

– Труп этой несовершеннолетней, Саймон, так и не найден?

– Не Саймон, а Сэлмон, как – «лосось». Найден только фрагмент руки.

– Родственники есть?

– Есть.

– В Коннектикуте найдены зубы. В деле имеется стоматологическая карта?

– Конечно имеется.

– Тогда можно лишний раз не тревожить семью, – сказал Лену незнакомый детектив.

Лен поспешил достать из хранилища коробку с вещдоками, хотя надеялся больше никогда к ней не возвращаться. А теперь все шло к тому, что придется звонить моим родителям. Но он решил оттянуть этот момент, насколько возможно, пока из Делавера не поступят уточненные сведения.

Узнав от Сэмюела, как Линдси выкрала карандашный рисунок, Хэл без малого восемь лет осторожно наводил справки через друзей-байкеров из разных штатов и пытался напасть на след Джорджа Гарви. Подобно Лену Фэнермену, он дал себе зарок не болтать лишнего, пока не будет знать наверняка. Как-то раз к нему на ночь глядя наведалься один из «ангелов ада» по имени Ральф Чичетти, известный своим криминальным прошлым. Он обмолвился, что его покойная мамаша сдавала комнату какому-то хмырю, а тот, похоже, ее и прикончил. Хэл начал задавать свои обычные вопросы. Мол, какой у того хмыря рост, какое телосложение, какие привычки. Жилец называл себя не Джорджем Гарви, а каким-то другим именем, но это ерунда. Главное – картина убийства была совершенно иной. Софи Чичетти дожила до сорока девяти лет. Она скончалась в собственном доме от удара тупым предметом, и ее тело, без признаков борьбы, осталось лежать на том же месте. Хэл, увлекавшийся детективами, знал, что у каждого убийцы есть свой почерк, своя манера. Поэтому, когда у издавшего виды «Харлея» был отрегулирован момент зажигания, Чичетти с Хэлом перешли на другие темы, а потом и вовсе умолкли. Но напоследок Чичетти невзначай добавил кое-что еще, и у Хэла волосы встали дыбом.

– Этот мудака строил игрушечные домики, – сказал Ральф Чичетти.

Хэл бросился звонить Лену.

Шли годы. Деревья у нас во дворе разрослись до неузнаваемости. А я все наблюдала за родными и соседями, за учителями, которые преподавали в нашей средней школе или должны были преподавать у меня в старших классах. Сидя в наблюдательной башне, я воображала, будто залезла на макушку тополя, под которым мой брат, до сих пор игравший с Нейтом в прятки, когда-то проглотил древесный сучок, а то еще представляла, как перенеслась в Нью-Йорк, примостилась на перилах и дожидаясь Рут. Я делала уроки вместе с Рэем. Мчалась с мамой по трассе «Пасифик Хайвей», вдыхая теплый соленый воздух. Но каждый мой день заканчивался рядом с отцом, у него в кабинете.

Я перебирала в уме эти картинки, скопившиеся в результате постоянных наблюдений, и видела, как одна причина – моя смерть – сплела их в единое полотно. Никто бы не смог предсказать, как мое исчезновение повлияет на калейдоскоп земных событий. Но я крепко держалась за эти картинки, бережно их сохраняла. Пока я смотрела сверху, ни одна из них не потерялась.

Во время всенощной, когда Холли играла на саксофоне, а миссис Бетель Утемайер ей подыгрывала, я увидела Холидея: он бежал мимо белой пушистой лайки. На земле он дождался до глубокой старости и после ухода мамы спал у папиных ног, не отходя ни на шаг. Пока Бакли строил свою крепость, пес крутился рядом; если Линдси и Сэмюел целовались на крыльце, только ему позволялось совать туда свой собачий нос. В последние годы жизни бабушка Линн по воскресеньям готовила для него большую лепешку с арахисовым маслом и бросала ее прямо на пол, потому что ей нравилось смотреть, как пес пытается поддеть носом этот плоский блин.

Я ждала, что он меня учует, искала подтверждение тому, что здесь, по другую сторону, осталась той же девочкой, подле которой он спал. Ждать пришлось недолго: он был так рад встрече, что сбил меня с ног.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

К тому времени, когда Линдси исполнился двадцать один год, в ее жизни произошло много такого, что мне и не снилось, но я уже не терзалась. Просто всюду следовала за ней. Получила диплом колледжа, уселась на мотоцикл позади Сэмюела, обхватила его руками за пояс и прижалась покрепче к теплой спине...

Нет, все понятно, это была Линдси. Я не обольщалась. Но при взгляде с небес мне было легче раствориться в ней, чем в других.

После выпуска они с Сэмюелом помчались на мотоцикле к папе и бабушке Линн, потому что клятвенно обещали не притрагиваться к шампанскому, засунутому в багажную сумку мотоцикла, пока не переступят порог дома. «Мы – дипломированные специалисты!» – говорил Сэмюел. Мой папа ему полностью доверял. Как-никак, его дочь – теперь единственная – за все минувшие годы ничего плохого не видела от этого парня.

По пути из Филадельфии, на тридцатом шоссе, их настиг дождь. Он начинался исподволь, покалывая тонкими иголками мою сестру и Сэмюела, ехавших на предельно допустимой скорости пятьдесят миль в час.

Холодные капли, падая на сухой, раскаленный асфальт, поднимали в воздух испарения, спекшиеся за день под палящим июньским солнцем. Линдси любила прильнуть щекой к спине Сэмюела, как раз между лопатками, и вдыхать запахи асфальта и редких придорожных кустарников. Ей вспоминалось, как перед грозой ветер надувал белые платья выпускниц, выстроившихся вдоль Мейси-Холла. Казалось, девушки вот-вот оторвутся от земли.

Когда до поворота к дому оставалось миль восемь, изморось сменилась проливным дождем, и Сэмюел прокричал Линдси, что дальше ехать рискованно.

Они дотянули до полосы между двумя торговыми зонами, где еще уцелели деревья, готовые в любой момент пасть жертвой очередного придорожного супермаркета или автомагазина. При повороте на обочину мотоцикл занесло. Сэмюел, ударив по тормозам, опустил ноги на мокрый гравий и, как учил его Хэл, выждал, чтобы моя сестра сошла с заднего сиденья и отступила в сторону.

Подняв щиток шлема, он объявил:

– Приехали. Надо закатить байк под деревья.

Линдси пошла следом; мягкая подкладка шлема заглушала стук дождя. Увязая в грязи, они с Сэмюелом старались перешагивать через кучи мусора, скопившиеся на обочине. Им казалось,

что дождь хлынул еще сильнее, и моя сестра порадовалась, что после торжественной церемонии сменила нарядное платье на кожаные штаны и куртку, которые всучил ей Хэл, – а она отбивалась, как могла, говоря, что будет похожа на извращенку.

Сэмюел вел мотоцикл к росшим в ряд дубам; Линдси не отставала. Неделью назад они сходили в мужскую парикмахерскую на Маркет-Стрит и сделали себе одинаковые короткие стрижки, хотя у Линдси волосы были светлее и мягче. Стоило им снять шлемы, как по макушкам начали долбить крупные дождевые капли, падающие сквозь дубовую листву, а у Линдси вдобавок потекла тушь. Я смотрела, как Сэмюел подушечкой большого пальца вытирает ей щеки.

– Поздравляю с окончанием, – сказал он в темноте, склоняясь, чтобы ее поцеловать.

После того как они впервые поцеловались у нас на кухне, я не сомневалась, что Сэмюел будет у моей сестры – как мы с ней приговаривали, фыркая от смеха, когда играли с куклами Барби или смотрели по телику ток-шоу Бобби Шермана, – единственным и неповторимым. Сэмюел вошел в ее жизнь, когда это было ей нужнее всего; потом их отношения только крепили. Не разлучаясь, они вместе поступили в Темпл. Ему там быстро все осточертело, и ей приходилось его тянуть. Зато Линдси нашла себя, и ради этого он готов был терпеть до конца.

– Давай укроемся, где листва погуще, – сказал он.

– А мотоцикл?

– Дождь кончится – попросим Хэла за нами приехать.

– Ну и влипли! – вырвалось у Линдси.

Сэмюел рассмеялся и взял ее за руку. Не успели они сделать пару шагов, как прогремели раскаты грома, и Линдси вздрогнула. Он крепче стиснул ее ладонь. В отдалении непрерывно бились молнии, гром рокотал все сильнее. Линдси, в отличие от меня, всегда боялась грозы: дрожала, не находила себе места. Ей казалось, что во всей округе деревья раскалываются пополам, дома вспыхивают от удара молнии, а собаки забиваются в подвалы.

Они пробирались через низкую поросль, которая даже под защитой деревьев успела пропитаться дождем. Время было еще не позднее, но на землю уже опустились сумерки; Сэмюелу пришлось включить фонарик. В этой безлюдной местности все же ощущалось человеческое присутствие: под ногами то и дело скрежетали жестянки и перекатывались пустые бутылки. И вдруг, сквозь густой кустарник и тьму, оба одновременно заметили ряд разбитых окон, зияющих под самой крышей какого-то старинного особняка в викторианском стиле. Сэмюел тотчас выключил фонарик.

– Думаешь, внутри кто-то есть? – спросила Линдси.

– Уж больно там темно.

– И жутковато.

Они переглянулись, и у моей сестры вырвалось то, о чем подумали оба:

– Зато сухо!

Держась за руки, они что есть духу припустили в сторону дома; только чудо помогло им не свалиться в непролазную грязь.

Вблизи Сэмюел разглядел островерхую крышу и крестообразную резьбу под фронтонами. На первом этаже почти все окна были забиты фанерными щитами, но входная дверь свободно болталась на петлях и колотила по штукатурке внутренней стены. Невзирая на ливень, Сэмюел хотел было получше рассмотреть наружные карнизы и наличники, но вбежал в дом вместе с Линдси. Они остановились за порогом, дрожа и оглядываясь назад, на пригородные лесные заросли. Я мигом осмотрела комнаты. Дом был пуст. По углам не таились привидения, в комнатах не обосновались бродяги.

В этих краях неосвоенные земельные участки исчезали не по дням, а по часам, но именно они были приметами моего детства. Мы жили в районе самой первой застройки, где раньше простирались фермерские угодья. Наш район стал примером для подражания – его точные копии расплодились в огромных количествах, но у меня в памяти прочно засел кусок придорожной местности, еще не изуродованный крашеными заборами и водосточными трубами, мощеными дорожками и гигантскими почтовыми ящиками. То же самое было памятно и Сэмюелу.

– Вау! – изумилась Линдси. – Как по-твоему, сколько лет этой развалюхе?

Ее голос эхом отдавался от стен, как в пустой церкви.

– Сейчас прикинем, – сказал Сэмюел.

Забитые щитами окна не пропускали света, но луч фонарика выхватил камин, а потом и де-

ревянные защитные рейки вдоль стен, где некогда стояли стулья.

– Гляди, какой пол. – Сэмюел опустился на колени, увлекая за собой Линдси. – Паркет наборного дерева. Видно, хозяева были покруче своих соседей.

Линдси улыбнулась. Если Хэла в этой жизни интересовали только мотоциклетные двигатели, то Сэмюел был сам не свой до деревянной архитектуры.

Он провел пальцами по полу и заставил Линдси сделать то же самое.

– Этой развалюхе цены нет, – заключил он.

– Викторианский стиль? – попыталась угадать Линдси.

– Даже боюсь произносить, – сказал Сэмюел, – но сдается мне, это неоготика. По карнизам, я заметил, идут крестообразные раскосы, значит, дом построен после тысяча восемьсот шестидесятого года.

– Смотри-ка, – кивнула Линдси.

В самом центре комнаты чернело старое кострище.

– Просто варварство, – расстроился Сэмюел.

– Странно, почему было не разжечь камин? Хоть в этой комнате, хоть в любой другой.

Но Сэмюел, пытаясь разобраться в типах перекрытий, уже разглядывал дыру, прожженную пламенем в потолке.

– Давай слезаем наверх, – предложил он.

– Как в склепе, – посоветовала Линдси, оказавшись на лестнице. – Такая тишина – прямо уши закладывает.

Не останавливаясь, Сэмюел осторожно стукнул кулаком по штукатурке.

– Здесь кого-нибудь замуровать – как нечего делать.

И тут настал один из тех неловких моментов, которых они всегда старались избегать, а я ждала с нетерпением. Сами собой всплывали главные вопросы. Где сейчас я? Будет ли упомянуто мое имя? Будет ли сказано обо мне хоть слово? В последнее время, как ни печально, ответ был один: нет. На моей улице больше не бывало праздника.

Впрочем, дом был непростой, да и вечер выдался особенный – выпускные торжества и дни рождения всегда давали мне капельку жизни, поднимали чуть выше в списках памяти, отчего Линдси поневоле задумывалась обо мне дольше обычного. Но сейчас она промолчала. На нее нахлынуло тягостное чувство, которое она пережила в доме мистера Гарви и долго не могла забыть: будто я почему-то оказалась рядом, направляла ее движения и мысли, неотступно шла следом, как невидимый двойник.

Лестница привела их в ту комнату, которая просматривалась снизу сквозь дыру в потолке.

– Хочу, чтобы это был мой дом, – сказал Сэмюел.

– В самом деле?

– Он меня зовет, нутром чую.

– При свете дня ты, наверно, запоешь по-другому, – сказала Линдси.

– Такого чуда в жизни не видел, – произнес он.

– Сэмюел Хеклер, – изрекла моя сестра, – мастер склеивать разбитое вдребезги.

– Кто бы говорил, – сказал он.

Они помолчали, вдыхая сырость. По крыше барабанил дождь, но Линдси казалось, что она спрятана в надежном укрытии, вдали от мира, вдвоем с человеком, которого любила больше всех на свете.

Моя сестра взяла его за руку, и я пошла вместе с ними к порогу восьмигранного закутка, выходящего туда, где прежде был парадный въезд. Этот выступ нависал над входом в особняк.

– Готические эркеры, – сказал Сэмюел, обернувшись к Линдси. – Окна, сделанные наподобие маленьких комнаток, – готические эркеры.

– Вижу, они тебя волнуют? – улыбнулась Линдси.

Я осязала их обоих во тьме, под шум дождя. Не знаю, отметила ли про себя Линдси, но, когда они с Сэмюелом принялись расстегивать кожаные куртки, молнии угасли, а хрипы в горле Бога – эти жуткие раскаты грома – прекратились.

Сидя у себя в кабинете, отец протянул руку и взял стеклянный шар. Круглые стенки оказались приятно прохладными. Отец потряс шар и стал смотреть, как пингвин исчезает, а потом медленно высвобождается из-под мягкого снежного покрова.

В день выпуска Хэл прикатил к нам домой на мотоцикле, но мой папа не только не успокоился – мол, если один байк пробился сквозь грозу и благополучно доставил человека к дверям, то и другой уж как-нибудь доберется, – а, наоборот, заподозрил самое плохое.

Церемония вручения дипломов доставила ему, так сказать, муки радости. Бакли, сидя рядом, добросовестно подсказывал, когда улыбаться и куда смотреть. Умом отец и сам это понимал, просто у него в последние годы развилась некоторая медлительность – по крайней мере, так он объяснял свое отличие от нормальных людей. В страховых заявлениях, с которыми ему приходилось иметь дело по работе, встречалось такое понятие: время реакции. Заметив источник опасности, к примеру встречный автомобиль или сорвавшийся с берега камень, человек способен отреагировать только через определенный промежуток времени. У моего отца время реакции сильно зашкаливало за средние показатели; можно было подумать, он живет в другом измерении, где восприятие полностью искажается перед лицом неизбежности.

Бакли постучался в полуоткрытую дверь.

– Заходи.

– Папа, ничего с ними не случится. – В свои двенадцать лет мой брат был не по-детски заботлив и рассудителен. Притом что он не вносил в семью деньги и не вел хозяйство, дом держался на нем.

– Ты шикарно выглядел в костюме, сынок, – сказал отец.

– Приятно слышать.

Моему брату похвала и впрямь была небезразлична. Он хотел, чтобы папа им гордился, и в то утро даже попросил бабушку Линн подровнять ему челку, чтобы не лезла в глаза. У него был самый что ни на есть переходный возраст – уже не ребенок, еще не взрослый. Обычно он ходил в широкой футболке и мешковатых джинсах, но в тот день сам решил надеть костюм.

– Хэл и бабушка уже ждут, – напомнил Бакли.

– Сейчас спущусь.

Бакли аккуратно прикрыл дверь, щелкнув язычком замка.

Той осенью папа отдал проявить последнюю отснятую пленку из тех, что хранились у меня в заветной коробочке, и сейчас, выдвинув ящик письменного стола, осторожно вынул эти фотографии – в последнее время он частенько так делал: когда его звали обедать, когда бередила душу какая-нибудь телепередача или задевала за живое газетная статья.

Он не раз мне выговаривал, что кадры, которые я считала «художественными», сделаны просто наобум, однако лучший его портрет получился именно у меня: лицо под определенным ракурсом помещено в квадрат три на три дюйма и смотрится как ромб.

Если судить по тем снимкам, которые он сейчас держал в руках, его наставления по поводу ракурса и композиции не пропали даром. Отдавая пленки в печать, он не имел понятия, что я там нащелкала и в каком порядке разложены кассеты. Сперва перед ним предстали – в немыслимых количествах – только Холидей и мои ступни на траве. В серых расплывчатых пятнах угадывались летящие птицы; попытка запечатлеть ивы на фоне заката была безнадежно испорчена зернистостью. Но в какой-то момент я переключилась на мамины портреты. Получив эти снимки, папа долго сидел в машине и разглядывал женское лицо, к тому времени почти забытое.

Потом он без конца вынимал эти фотографии, и каждый раз у него в душе поднималось странное чувство. Ему никак не удавалось разобраться, что же это такое. Заторможенность долго не позволяла дать этому название. И только в последнее время стало ясно: он снова полюбил.

У него не укладывалось в голове, что двое людей, которые связаны узами брака и ни на день не расстанутся, способны забыть внешность друг друга, но если бы его хорошенько потрясти, он бы именно так и сказал. Ключом послужили два последних кадра. Он тогда приехал с работы, и Холидей захлебнулся лаем, услышав, как машина въезжает в гараж, а мне нужно было удержать маму на месте.

– Он и без тебя выйдет, – говорила я. – Не двигайся.

И она не двигалась. В занятиях фотографией мне, помимо всего прочего, нравилось командовать людьми, особенно родителями, когда на них нацелен объектив.

Краем глаза я видела, как папа вышел через боковую дверь во двор. У него в руке был тонкий портфель, в который мы с Линдси когда-то давно сунули нос, но не нашли ничего интересного, только перепотели от страха. Прежде чем отец опустил портфель на пол, я успела в последний раз снять маму в одиночестве. Ее взгляд уже выдавал беспокойство и смущение, она



будто погрузилась в пучину, а всплывая, примерила какую-то маску. На следующей фотографии эта маска частично скрыла ее лицо, а на самом последнем снимке, где папа слегка наклонился для поцелуя в щечку, маска уже сидела, как влитая.

– Неужели это моя вина? – спрашивал он у ее изображения, разложив снимки в ряд. – Как это случилось?

– Молнии улетели, – заметила моя сестра.

Ее кожа оставалась влажной, но не от дождя, а от пота.

– Люблю тебя, – сказал Сэмюел.

– И я тебя.

– Нет, погоди, я не просто люблю тебя – я хочу, чтобы мы поженились и переехали в этот дом.

– Что я слышу?

– Над нами больше не висит этот поганый, долбанный колледж! – выкрикнул Сэмюел.

Маленькая комната поглотила его крик и даже не ответила эхом.

– Но я собираюсь учиться дальше, – сказала моя сестра.

Поднявшись с пола, Сэмюел тут же опустился рядом с ней на колени.

– Выходи за меня замуж.

– Сэмюел, ты ли это?

– Мне осточертело ходить в мальчиках. Выходи за меня, и я сделаю из этого дома сказку.

– А на что мы будем жить?

– Заработаем, – сказал он. – Уж как-нибудь.

Она села, а потом, в точности как Сэмюел, опустилась на колени. Полуголые, они дрожали от холода, но в груди у каждого разливалось тепло.

– Я согласна.

– Согласна?

– Думаю, да, – сказала моя сестра. – Да, точно!

Смысл некоторых фраз начал до меня доходить только в небесном краю. Никогда в жизни я не видела курицу с отрезанной головой. Для меня это выражение ничего особенного не значило, разве что напоминало о моей участи. Но, услышав их разговор, я заметалась по небесам, как... как курица с отрезанной головой! Моему счастью не было границ, я вопила от радости. Моя сестре! Мой Сэмюел! Моя мечта!

У Линдси брызнули слезы. Он прижал ее к себе и стал укачивать.

– Ты счастлива, любимая моя? – спросил он.

Она кивнула, уткнувшись в его голую грудь.

– Еще как. – Внезапно Линдси окаменела. – Мой отец. – Подняв голову, она заглянула Сэмюелу в глаза. – Он же сходит с ума.

– Представляю. – Сэмюел попытался настроиться на ее волну.

– Сколько отсюда до нашего дома?

– Миль десять. Ну, может, восемь.

– Побежали, – скомандовала она.

– Ты рехнулась.

– У нас во второй багажной сумке лежат кроссовки.

В кожаных штанах и куртке далеко не убежишь, и они припустили по шоссе в одних трусах и майках, хотя у нас в семье отродясь не бывала стрикеров. Сэмюел, как всегда, бежал впереди, задавая темп. Дорога была пуста. Когда мимо проносился одинокий автомобиль, на них обрушивались такие водопады, что оба начинали глотать воздух, как рыбы. Им и раньше случалось бегать в плохую погоду, но не под таким жутким ливнем. Они стали соревноваться, кто сумеет лучше укрыться от дождя, и, пританцовывая, ныряли под нависающие кроны деревьев, увязая в придорожной грязи и слякоти. Но на исходе третьей мили оба уже не произносили ни звука и держали свой привычный, ровный ритм, слушая только свое дыхание и хлюпанье мокрых кроссовок по асфальту.

В какой-то миг, угодив в огромную лужу и даже не пытаясь ее обогнуть, Линдси вспомнила, как мы с ней ходили в бассейн, пока моя смерть не положила конец размеренному существованию нашей семьи. Бассейн находился на этом самом шоссе, но моя сестра даже не подняла голову, чтобы высмотреть знакомое ограждение. Ее захватили воспоминания. У нас с ней были

купальные костюмы с гофрированными юбочками. Мы обе совсем недавно (но я все же раньше) научились плавать под водой с открытыми глазами. Смотрели друг на дружку иплыли бок о бок: у каждой волосы – шлейфом, юбочка – венчиком, щеки надуты. Потом как по команде обнимались и пулей уносились вверх, прорезая водную гладь. У нас едва не лопались барабанные перепонки, легкие жадно втягивали воздух – и мы умирали со смеху.

Я наблюдала, как бежит моя красавица-сестра, как работают ее мышцы и легкие, как приходят на выручку наши тренировки в бассейне: она смотрела прямо сквозь дождевые струи, четко работала ногами в том ритме, который задавал Сэмюел, и при этом бежала не ко мне и не от меня. Бежала, как боец, оправившийся после огнестрела, когда рана наконец перестала кровоточить, а потом и зарубцевалась по прошествии долгих восьми лет.

Когда до нашего дома оставалась последняя миля, дождь пошел на убыль. Из окон стали выглядывать люди.

Сэмюел сбавил темп, и Линдси вместе с ним. Их майки приросли к коже.

У Линдси закололо в боку, но как только боль прошла, она опять прибавила шагу и поравнялась с Сэмюелом. Ни с того ни с сего она покрылась гусиной кожей и просияла улыбкой от уха до уха.

– Мы поженимся! – выдохнула она.

Сэмюел остановился, прижал ее к себе и стал целовать.

Мимо проезжала машина; водитель посигналил.

Когда у нас в доме прозвенел звонок, было четыре часа. Хэл, сидя на кухне в мамином поварском фартуке, разрезал на квадратики – по указанию бабушки Линн – пласт печенья с орехами и изюмом. Ему нравилось чувствовать себя полезным, и бабушка не упускала случая загрузить его по хозяйству. Они прекрасно спелись. А Бакли, хранитель домашнего очага, любил вкусно поесть.

– Я сам открою, – сказал папа.

Во время грозы он утешался спиртным, которое щедрой рукой подливала бабушка Линн; но сейчас он обнаружил редкое проворство, если не сказать изящество, как отставной балетный премьер, слегка припадающий на ногу после тысяч вращений и прыжков.

– Я чуть с ума не сошел, – заговорил он, распахивая дверь.

Линдси прикрывала грудь руками, и даже папу разобрал смех. Деликатно отвернувшись, он поспешил в чулан за одеялами. Сэмюел первым делом принялся укутывать Линдси, а мой папа неловко накинул второе одеяло ему на плечи. На каменном полу образовались лужицы. Когда Линдси была надежно прикрыта, на пороге прихожей сгрудились Бакли, Хэл и бабушка Линн.

– Бакли, тащи сюда полотенца, – приказала бабушка.

– Вы в таком виде ехали на байке? – Хэл не поверил своим глазам.

– Нет, мы бегом, – сказал Сэмюел.

– Да вы что?

– Ну-ка, быстро в столовую, – скомандовал папа. – Сейчас разожжем камин.

Сидя спиной к огню, они еще долго тряслись от озноба и рюмку за рюмкой поглощали бренди, которое Бакли, по наущению бабушки Линн, подавал им на серебряном подносе. Между делом все выслушали рассказ про мотоцикл и про особняк с восьмигранными эркерами, о которых Сэмюел не мог говорить без восторга.

– Байк-то не раздолбали? – спросил Хэл.

– Уж как вышло, – ответил Сэмюел, – но своим ходом его сюда не перегнать.

– Теперь я спокоен: вы живы-здоровы, – сказал мой отец.

– Ради вашего спокойствия, мистер Сэлмон, мы в грозу неслись по шоссе, как угорелые.

Мои бабушка и брат сидели в сторонке, подальше от огня.

– Чтобы никто не волновался, – добавила Линдси.

– Линдси в первую очередь думала именно о вас.

Наступила неловкая пауза. Сэмюел, конечно, сказал чистую правду, но вместе с тем слишком явно подчеркнул очевидный факт: Линдси и Бакли принимали все свои решения с оглядкой на моего слабого здоровьем отца.

Бабушка Линн, встретившись глазами с моей сестрой, подмигнула.

– Мы тут с Хэлом и Бакли испекли мазурку, – сообщила она. – Еще у меня есть замороженная лазанья, хотите – разогрею.

Она поднялась с кресла, и моя сестра последовала ее примеру, вроде как собираясь помочь.

– С удовольствием отведаю вашего печенья, Линн, – сказал Сэмюел.

– «Линн»? Хорошенькое дело! – воскликнула бабушка. – Глядишь, ты и Джеку скоро начнешь говорить «Джек»?

– Все может быть.

Как только Бакли с бабушкой вышли из комнаты, Хэл заерзал.

– Сейчас мы там, общими усилиями... – пробормотал он.

Сэмюел и Линдси с отцом прислушивались к оживленной болтовне и звону тарелок. В углу громко тикали часы, про которые мама говорила: «наши антикварные ходики».

– Я и правда волнуюсь по любому поводу, есть такой грех, – произнес мой отец. – Сэмюел совсем не то хотел сказать, – вступилась Линдси. – Сэмюел молчал; я не сводила с него глаз.

– Мистер Сэлмон, – начал он после долгого молчания, еще не решаясь сказать «Джек», – я сделал Линдси предложение.

Линдси едва не задохнулась, но даже не взглянула в сторону Сэмюела. Она смотрела на моего отца.

В гостиную вошел Бакли, неся блюдо с квадратиками печенья; следом появился Хэл, у которого между пальцев свисали бокалы, а в другой руке была бутылка шампанского «Дом Периньон» урожая тысяча, девятьсот семьдесят восьмого года.

– От бабушки, по случаю окончания колледжа, – объявил Хэл.

Тут через порог перешагнула и бабушка Линн, которая несла только свой коктейль. В отсветах пламени льдинки заиграли, как бриллианты.

Но Линдси не замечала никого, кроме отца.

– Что ты скажешь, папа?

– Я скажу вот что, – с трудом проговорил он, выбираясь из кресла, чтобы пожать руку Сэмюелу. – О таком зяте можно только мечтать.

Бабушка Линн уловила суть:

– Господи, деточка моя! Поздравляю!

Даже Бакли запрыгал от радости, выбравшись из своей скорлупы. И только мне была видна тонкая, дрожащая нить между моей сестрой и отцом. Незримый шнур, грозивший затянуться петлей на шее.

В потолок выстрелила пробка.

– Ну, профессионал! – Это бабушка потафила Хэлу, который разливал шампанское.

Среди общего ликования и несмолкающих бабушкиных тостов один лишь Бакли заметил мое присутствие под «нашими антикварными ходиками» – и уставился во все глаза. Ему разрешили выпить шампанского. От меня расходились воздушные флюиды. Кто-то протянул ему печенье. Он взял подрумяненный квадратик, но есть не стал. Его взгляд был прикован к моему облику, который нисколько не изменился: волосы расчесаны на прямой пробор, грудь по девчоночьи плоская, бедра почти не развиты. Он хотел окликнуть меня по имени. Но в тот же миг я исчезла.

С годами мне наскучило подглядывать. Я устраивалась в поездах Пригородного вокзала в Филадельфии. Пассажиры входили и выходили; до меня доносились их разговоры, заглушаемые хлопаньем дверей, объявлениями остановок, шарканьем подошв и перестуком тонких каблучков: сначала по асфальту, затем по металлу и, наконец, совсем тихо, бух-бух, по ковровым дорожкам. Линдси во время спортивных тренировок называла это активным отдыхом: у меня мышцы были в тонусе, а голова свободна. Я слушала звуки железной дороги, раскачивалась в такт движению поезда и время от времени улавливала голоса других, обретающихся теперь вдалеке от Земли. Голоса таких же, как я, – наблюдателей.

Почти у каждого жителя небесных сфер на Земле есть родственная душа: возлюбленный, друг или даже незнакомец, который в трудную минуту проявил доброту, накормил, обогрел улыбкой. Так вот, когда я переставала наблюдать за происходящим на Земле, мне становилось слышно, как другие говорят со своими близкими, но, увы, проку от этого не было. Бесполезные хвалы и поучения детям, односторонние признания в любви, вечно пустые почтовые открытки.

Состав прибывал на конечную станцию или делал остановку между 30-й улицей и Овербруком, а я слушала имена и фразы: «Тише ты, стакан разобьешь»; «Слушайся отца»; «Глянь, как ее толстит это платье»; «Я с тобой, мама»; «...Эсмеральда, Салли, Люп, Кий-ша, Фрэнк...» Раз-

ных имен – не счесть. Потом состав набирал скорость, и эти немые слова небес доносились все громче и громче. А уж на середине перегона голоса нашей тоски обрушивались, как гром, – я даже не выдерживала и открывала глаза.

В наступившей тишине я видела, как женщины за окном развешивают или снимают выстиранное белье. Они склонялись над корзинами, доставали белоснежные, желтые, розовые простыни и расправляли их на веревке. Я считала, сколько там мужских трусов, сколько мальчишеских и сколько веселых девичьих трусиков. Ветер трепал чистое белье, и этот звук, желанный и щемящий звук жизни, вытеснял бесконечные чужие имена.

Мокрое белье: хлоп-хлоп, мокрая тяжесть односпальных и двуспальных пододеяльников. Реальные звуки навевали память о звуках из прошлого: когда-то я лежала под развешанным бельем и ловила языком падающие капли, а то еще мы с Линдси играли в пятнашки среди развевающихся полотнищ. Помню, как нам влетало от мамы, когда она обнаруживала, что о совершенно новые простыни кто-то вытер перепачканные в арахисовом масле пальцы, а на папиных сорочках красуются липкие бляшки от лимонной карамели. Цвета и запахи, реальность, воображение и память соединялись для меня в какой-то, удивительный сплав.

В тот день, отвернувшись от Земли, я долго разъезжала по железной дороге, и к вечеру в голове осталась одна-единственная мысль: «Только не шевелись», – говорил мне отец, когда я держала бутылку с парусником, а он, чтобы отпустить клипер в свободное плаванье по синим волнам, пережигал нитку, которая удерживала мачту. И я терпела, понимая важность момента, потому что весь заключенный в бутылке мир зависел от меня одной.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Когда отец Рут в телефонном разговоре упомянул мусорный коллектор, она сама находилась в крошечной комнатенке, которую снимала на Пятой авеню. Намотав на руку длинный черный шнур, она отвечала рублеными, невнятными фразами. Квартирная хозяйка, любопытная старуха, вечно подслушивала, и Рут старалась поменьше болтать по телефону. Выйдя на улицу, она собиралась перезвонить родителям за их счет и договориться о приезде.

У нее давно созрело решение отправиться в прощальную поездку, пока застройщики не перекрыли доступ к старой шахте. Такие места, как эта мусорная бездна, всю жизнь ее гипнотизировали, но она никому об этом не рассказывала, равно как и о моем убийстве, и о нашей последней встрече на учительской парковке. В Нью-Йорке не стоило делиться сокровенным: она не раз слышала, как люди, развязав языки в баре, порочили своих близких и трясли грязным бельем ради дешевой популярности, а то и просто за порцию виски. Сокровенное, решила она, нельзя делать разменной монетой. В своих дневниковых записях и стихах она соблюдала особый кодекс чести. «Не раскрывайся, не раскрывайся», – молча твердила она, когда испытывала желание с кем-нибудь поделиться, и в конце концов отправлялась бродить по городу, но видела перед собой только кукурузное поле, да еще отца, который разглядывает спасенную от уничтожения старую лепнину. Нью-Йорк служил удобной декорацией для ее размышлений. Хотя она упрямо топала и кружила по улицам и переулкам, город совершенно не трогал ее душу.

Она уже не напоминала «двинутую», как было в старших классах, но до сих пор, если приглядеться, в ее глазах мелькала животная одержимость, от которой многим делалось не по себе. Казалось, она постоянно высматривает что-то живое или неживое, чей черед еще не настал. Даже ее осанка слегка напоминала вопросительный знак. В баре, где она подрабатывала, ей делали массу комплиментов: мол, шикарные волосы, изящные руки; стоило ей выйти из-за стойки в зал, как посетители начинали восхищаться ее стройными ножками, но никто ни разу не похвалил ее глаза.

Сейчас она торопливо натянула черные колготки, короткую черную юбку, черные ботинки и черную футболку. Вся одежда была в пятнах, потому что служила и рабочей униформой, и повседневным гардеробом. Но пятна были заметны лишь при дневном свете, и Рут не сразу их обнаруживала: соберется, к примеру, посидеть в уличном кафе, окинет себя взглядом – и видит на юбке темные водочные потеки или следы от виски. Куда впитался алкоголь, там черная ткань становилась еще чернее. Это наблюдение показалось ей интересным; она даже записала в дневнике: «Спиртное действует на текстиль точно так же, как на человека».

Отправляясь на Пятую авеню выпить чашечку кофе, она по дороге тайком заводила беседы

с собаками, большей частью со шпицами и чи-хуа-хуа, которые нежились на коленях у толстых украинок, рассеявшихся на ступенях. Самые злобные шавки провожали ее истерическим лаем, но именно к ним Рут питала особое пристрастие.

Потом она бродила по улицам – просто шла куда глаза глядят, а из земли поднималась боль, которая просачивалась сквозь чеканящие шаг подошвы. С ней никто не здоровался, разве что городские сумасшедшие, а она придумала себе такую игру: сколько раз подряд удастся перейти через дорогу, не пропуская поток машин. Она не замедляла ход ради удобства встречных, будь то студенты университета или старухи с сумками на колесиках, пересекала любую толпу и летела дальше – только ветер свистел. Мысленно она представляла, что весь мир смотрит ей вслед, но при этом ценила свою анонимность. Помимо работы, ее нигде не ждали; никто не знал, где она и что делает. Такой безвестности многие могли бы позавидовать.

Скорее всего, она не догадывалась, что Сэмюел сделал предложение моей сестре; да и откуда ей было знать – разве что от Рэя, единственного, с кем она поддерживала отношения после окончания школы. Когда моя мама ушла из семьи, в «Фэрфаксе» начались сплетни. По классам и коридорам – теперь уже среди старшеклассников – снова побежали шепотки, и Рут видела, что моя сестра в который раз оказалась на высоте. Иногда они сталкивались в коридоре и Рут подбадривала ее, как могла, но только без свидетелей, чтобы не бросить тень на Линдси. Ведь в школе Рут считалась шизанутой, и она это прекрасно знала, равно как и то, что единственный вечер, который они с моей сестрой провели вместе на слете в лесной школе, был нечаянным сном, сотканным из лоскутков вдали от ненавистного школьного распорядка.

А с Рэем все было по-другому. Их поцелуи, объятия и ранние ласки остались для нее музейными ценностями, которые память хранила под стеклянным колпаком. Приезжая навестить родителей, она каждый раз договаривалась с ним о встрече; когда она решила на прощание съездить к заброшенной шахте, для нее не стоял вопрос, кого позвать с собой. Нетрудно было предвидеть: он будет только рад отвлечься от зубрежки, а если повезет, еще и расскажет ей о какой-нибудь хирургической операции, на которой ему довелось присутствовать. Рэй обладал даром полностью передавать все ощущения, а не просто описывать процедуры. Сам того не ведая, он посылал ей какие-то пульсирующие волны.

Устремившись по Первой авеню в северном направлении, она могла не глядя отметить те места, где прежде останавливалась и надолго застывала как вкопанная: у нее крепла уверенность, что здесь когда-то была убита женщина или девочка. Вечерами она пыталась заносить это в дневник, но так сильно увязала в кошмарах воображаемого кровопролития под какими-нибудь темными сводами или в безлюдном переулке, что забывала написать о явном и очевидном: о тех знакомых ей местах, где, согласно криминальной хронике, действительно убили и закопали женщину.

Ей было невдомек, что на небесах она стала едва ли не знаменитостью. Я многим рассказывала, чем она занимается, как улавливает моменты тишины среди городской сутолоки, как сочиняет короткие именные молитвы и заносит их в дневник. Слава о ней разнеслась так стремительно, что женщины выстраивались в очередь, чтобы узнать, не нашла ли она случайно то место, где у них отняли жизнь. На небесах у нее появились свои поклонницы, но она бы расстроилась, узнав, что эта публика, собравшись вместе, не благоговееет над ее портретом под перезвон небесных литавр, а превращается в толпу девчонок-фанаток, которые готовы рвать друг у друга из рук последний номер «Тин-Бит».

Мне выпало следовать за ней взглядом, и я, в отличие от оголтелых фанаток, видела не только интересное, но и горькое. У Рут возникал некий образ, который намертво врезался ей в память. Иногда это было, как вспышка: падение с лестницы, резкий удар, чей-то крик, чьи-то пальцы сжимаются на тонкой шее. Но порой перед ней разворачивалась вся трагедия, от начала до конца, причем в реальном времени убийства женщины или девочки.

Прохожим было плевать на деловитую молодую женщину в черном, которая ни с того ни с сего замирала на многолюдной улице. Она косила под начинающую художницу и могла пройти весь Манхэттен вдоль и поперек, не то чтобы сливаясь с толпой, но и не выделяясь, а потому не привлекала внимания. Но мы-то знали: она выполняет важную миссию, от которой большинство живущих на Земле шарахалось, как от чумы.

После выпуска Линдси и Сэмюела я на следующий же день отправилась на такую прогулку вместе с ней. Когда она дошла до Центрального парка, время близилось к вечеру, но отдыхаю-

щие не спешили расходиться. На подстриженной траве Овечьего луга расположились парочки. Рут прощупала их взглядом. В солнечный послеобеденный час такая въедливость пробирала до костей. Когда молодые люди с открытыми лицами ловили на себе этот взгляд, они тут же замыкались или отводили глаза.

Она двигалась зигзагами по всему парку. Можно было сразу направиться в зловещие уголки, да хоть в тот же Рэмблз, где преступления совершаются прямо под деревьями, но Рут выбирала такие места, которые считались безопасными. Прохладный, подернутый рябью утиный пруд в оживленной юго-восточной части парка или безмятежный искусственный водоем, где старики запускали лодочки, любовно вырезанные из коры.

Присев на скамью у посыпанной гравием аллеи, ведущей к зоопарку, она стала наблюдать за детьми, которых пасли няни, и за одиночными посетителями, устроившимися почитать на солнышке или в тени. После марш-броска из центра города ее сморила усталость, но она достала из сумки дневник, положила его на колени и вооружилась ручкой, изображая работу мысли. Когда занимаешься слежкой, лучше делать вид, будто поглощена конкретным делом – Рут это давно усвоила. Иначе начнут приставать незнакомцы. Дневник был ее лучшим другом. Только ему она полностью доверяла.

На траве, по другую сторону аллеи, было расстелено одеяло, с которого поднялась маленькая девочка, воспользовавшись тем, что ее няня задремала на солнце. Малышка побежала к поросшему кустами пригорку, отделенному забором от Пятой авеню. Как только Рут приготовилась ринуться в мир переплетенных человеческих жизней, то есть окликнуть нерадивую опекуницу, та вдруг очнулась, будто кто-то втайне от непосвященных дернул за невидимую веревочку. Няня резко села и окриком заставила девочку вернуться.

В такие минуты перед глазами у Рут возникал особый шифр: условными знаками становились все девочки, кому посчастливилось вырасти и дожить до глубокой старости, и в каждой из них была зашифрована другая, которой не посчастливилось. Участь живых неразрывно смыкалась с участью убитых. Так вот, когда няня, блюдя распорядок дня, свернула одеяло и собрала сумку, Рут увидела совсем другую девочку – ту, которая побежала к зарослям и не вернулась.

По ее одежде Рут поняла, что с той поры прошло немало времени, вот и все. Больше ей ничего не было видно: ни гувернантки, ни матери, ни времени на часах – только исчезнувшая девочка.

Я не отходила от Рут ни на шаг. В раскрытом дневнике она сделала запись: «Время? Девочка в Ц. п. идет к зарослям. Белый кружевной воротничок, фасонный». Захлопнув дневник, она спрятала его в сумку. Поблизости было такое место, где она могла прийти в себя. Вольер с пингвинами.

Там мы с ней и провели остаток дня. Рут, одетая в черное, сидела на скамье перед стеклянной загородкой; в полутьме белели только руки и лицо. Пингвины ковыляли мимо, кряхтели и прыгали в воду. Если на скалистом берегу эти симпатичные создания казались неуклюжими и толстыми, как сардельки, то под водой они превращались в тренированных пловцов, облаченных во фраки. Детишки вопили от восторга, прижимаясь носами к стеклу, а Рут пересчитывала живых и погибших, и в тесноте пингвиньего вольера, где эхом разносились счастливые детские возгласы, ей удавалось на короткое время заглушить в себе совсем другой крик.

В субботу мой брат, по обыкновению, проснулся раньше всех. Он теперь учился в седьмом классе и больше не носил с собой завтрак из дому, а ходил в кафетерий. Его приняли в дискуссионный клуб, но по физкультуре, как в свое время Рут, он был на последнем или на предпоследнем месте. В отличие от Линдси, у него не обнаружилось никаких спортивных данных. Бабушка Линн говорила: «Мальчик двигается с достоинством». В школе он прикипел не к учителям, а к библиотекарьше, высокой и тощей, с жесткими, как проволока, волосами, которая вечно пила чай из термоса и рассказывала про Англию, где прошли ее молодые годы. Бабли полгода говорил с британским акцентом и неподдельно оживлялся, когда моя сестра смотрела передачи о культуре Великобритании.

Спросив у папы разрешения заняться огородом, который при маме содержался в образцовом порядке, в ответ он услышал: «Валяй, Бак, каждый сходит с ума по-своему».

И точно. Мой брат не просто сходил с ума, а проявлял нешуточную, маниакальную одержимость: если не спалось, читал ночами напролет старые каталоги, от корки до корки изучил все книги по садоводству, имевшиеся в школьной библиотеке. Бабушка рекомендовала ему посеять

чинными рядками петрушку и базилик, а Хэл советовал выращивать «что-нибудь солидное» – баклажаны, тыквы, огурцы, морковь и фасоль. Бакли послушался обоих.

Книгам по садоводству он особо не доверял. С какой радости надо сажать на видном месте тюльпаны, а томаты и зелень загонять в дальний угол? Он не спеша перекопал весь участок, ежедневно донимая папу просьбами достать ему какие-то особые семена, и стал ездить с бабушкой Линн по магазинам, где безропотно таскал за ней сумки, а взамен просил на минутку при тормозить у цветочного, чтобы прикупить очередной кустик цветочной рассады. Теперь ему не терпелось увидеть, какими вырастут сортовые помидоры, голубые маргаритки, петунии, анютины глазки и сальвии. Фанерная конура, которая в пору детских игр служила ему крепостью, теперь превратилась в сарай для хранения садового инвентаря и удобрений.

Впрочем, моя бабушка знала наперед: в один прекрасный день ему станет ясно, что эти посадки вместе не уживаются, многие семена, посаженные не в срок, вообще не дают всходов, нежные, бархатистые стебельки огурцов на корню гибнут под коварным натиском картофеля и моркови, петрушку забивают цепкие сорняки, а всякие вредители запросто могут сожрать молодые завязи. Но она запаслась терпением. Не стала его отговаривать. Это все без толку. Дожив до семидесяти лет, она понимала, что вправить человеку мозги может только время.

Спустившись из кабинета в кухню, чтобы выпить чашку кофе, папа увидел, что Бакли тащит из подвала коробку со старой ветошью.

– Чегой-то у тебя там, Фермер Бак? – По утрам он всегда пребывал в благодушном настроении.

– Да вот, хочу подвязать томаты, – ответил мой брат.

– Неужто пошли в рост? – Отец остановился посреди кухни.

Он спустился босиком, в синем махровом халате. Бабушка Линн каждое утро заряжала для него кофеварку. Сделав маленький глоток, он посмотрел на сына сверху вниз.

– Сегодня утром проверял. – Бакли сиял от удовольствия. – Листья раскрываются, как кулачки.

Папа стоя прихлебывал кофе и пересказывал этот разговор бабушке Линн, когда через кухонное окно вдруг заметил, какие вещи Бакли вытащил из коробки. Это была моя одежда. Моя одежда, которую Линдси перебрала по одной вещице, чтобы оставить себе что-нибудь подходящее. Моя одежда, которую бабушка, вселившись ко мне в комнату, потихоньку запихнула в коробку, воспользовавшись папиным отсутствием. Эту коробку она потом отнесла в подвал и мелко надписала сверху: «Не выбрасывать».

Кофейная чашка опустилась на стол. Папа вышел на заднее крыльцо и окрикнул Бакли.

– Что случилось, пап? – Моего брата встревожил отцовский тон.

– Это носила Сюзи, – на ходу проговорил мой отец.

Бакли держал в руке мое черное платье из бумазеи.

Отец подошел вплотную, вырвал платье у него из рук, а потом, не говоря ни слова, подобрал и все остальные вещи, которые Бакли успел вывалить из коробки. Когда он молча шагнул к дому, задыхаясь и прижимая к груди ворох одежды, от него летели искры.

Только я одна видела это в цвете. У Бакли кожа возле ушей, на скулах и подбородке пошла оранжевыми и пунцовыми пятнами.

– Жалко, что ли? – спросил он.

Это был удар в спину.

– Почему нельзя этими тряпками подвязать рассаду?

Отец обернулся. Его сын стоял посреди возделанного клочка жирной, рыхлой земли, утыканной хилыми ростками.

– Да как у тебя язык повернулся?

– Ты все-таки сделай выбор. А то получается несправедливо, – сказал мой брат.

– Бак? – Не веря своим ушам, отец еще плотнее прижал к груди ворох платьев.

От меня не укрылось, что Бакли взвился от досады. У него за спиной высилась солнечно-желтая гряда золотарника, которая после моей смерти вымахала ровно вдвое.

– Ты меня уже достал! – выкрикнул Бакли. – Вон, у Кийши отец погиб: она же не сходит с ума!

– Кийша учится с тобой в одном классе?

– Хотя бы!

Отец замер. Босые, мокрые от росы ноги покалывала стриженная трава; холодная и влажная земля пружинила, суля неизведанные возможности.

– Прости, не знал. Когда же это случилось?

– Да какая разница? Тебе-то что? – Развернувшись на пятках, Бакли принялся топтать нежные побеги.

– Бак, прекрати! – закричал отец.

Мой брат повернул голову:

– Ты ничего не понимаешь!

– Не сердись, – выговорил отец. – Это же одежда Сюзи, вот мне и... Может, я хватил через край, но вещи-то ее... она их носила.

– Это ты забрал башмачок? – спросил мой брат, осушив слезы.

– Что?

– Ты его забрал. Из моей комнаты.

– Бакли, о чем ты?

– Я хранил у себя башмачок из «монополии», а потом он куда-то делся. Это ты его забрал! Хочешь показать, что ты один ее помнишь!

– Кажется, ты что-то начал рассказывать. Договаривай. Как погиб отец твоей одноклассницы?

– Оставь вещи.

Папа с осторожностью опустил мою одежду на траву.

– Как он погиб – это вообще не в тему.

– А что в тему? – бесхитростно спросил папа.

Он вдруг перенесся в ту пору, когда отходил от наркоза после операции на колене и увидел у своей постели пятилетнего сынишку, который не мог дожидаться, когда же он откроет глаза, чтобы можно было сказать: «Папа, тью-тью!»

– Да то. Человек умер – значит, умер.

А боль все не унималась.

– Я понимаю.

– По тебе не заметно. Когда у Кийши умер отец, ей было шесть лет. Теперь она его почти не вспоминает.

– Еще вспомнит, – сказал мой папа.

– А нам что прикажешь делать?

– Кому это?

– Нам, папа. Мне и Линдси. От нас даже мама сбежала, потому что не вытерпела.

– Не горячись, Бак, – сказал папа.

Он сдерживался, как мог; воздух уходил из легких, распирая ребра. Ему слышался слабый голос: отпусти, отпусти, отпусти.

– Как-как? – переспросил он.

– Я ничего не говорил, – буркнул мой брат.

Отпусти, отпусти, отпусти.

– Ну, извини, – произнес папа. – Что-то мне нехорошо.

От мокрой травы ноги стали совсем ледяными. В груди образовалась пустота, где тут же начали роиться пчелы. Их жужжание отдавалось эхом, стуча в барабанные перепонки.

Отпусти.

Папа рухнул на колени. Одна рука задергалась, как во сне. В нее впивались сотни иголок. Мой брат кинулся к нему.

– Папа!

– Сынок. – У отца сорвался голос; рука потянулась к моему брату.

– Я за бабушкой. – Бакли убежал в дом.

Папино лицо исказилось от спазма; лежа на боку, он зарылся головой в мою одежду и неслышно шептал: «Как тут сделаешь выбор? У меня же вас трое, я всех люблю одинаково».

Вечером отца увезли в больницу и подключили к мониторам, которые тихо урчали и время от времени пикали. Настало время согреть ему ноги, растереть спину. Успокоить, направить. Только в какую сторону?

Настенные часы у него над кроватью отсчитывали минуты. Это напомнило мне наше с



Линдси гадание по ромашке: «любит – не любит». Часы поймали ритм и выстукивали два моих потаенных желания: «умрет – не умрет, умрет – не умрет». Помимо своей воли я разрывала на части его слабое сердце. Умрет – навсегда будет со мной. Разве грешно этого желать?

А Бакли, натянув одеяло до подбородка, маялся у себя в темной комнате. Его не пустили в реанимацию, хотя они с Линдси примчались в больницу следом за машиной «скорой помощи». Мой брат сгорал от стыда, хотя Линдси ни словом его не упрекнула. Она только опрашивала: «О чем у вас был разговор? Что его подкосило?»

В детстве моего брата преследовал страх потерять самого дорогого ему человека. Он любил и Линдси, и бабушку Линн, и Сэмюела с Хэлом, но только вокруг отца он ходил на цыпочках, наведываясь к нему утром и вечером как по расписанию – убедиться, что тот никуда не делся.

Мы стояли по бокам, погибшая дочь и живой сын, и каждый хотел одного. Чтобы отец всегда был рядом. Но такое не могло сбыться для обоих сразу.

За весь этот срок отец только дважды отсутствовал во время вечерней поверки. Один раз с наступлением темноты он ушел в поле караулить мистера Гарви, а теперь вот лежал в больнице с подозрением на второй инфаркт.

Бакли твердил себе, что давно вышел из детского возраста, но меня все равно переполняла жалость. Когда папа заходил пожелать ему спокойной ночи, это было нечто. Остановившись у окна, он первым делом опускал жалюзи, а потом для верности проводил по ним ладонью, чтобы поправить любую непослушную реечку, из-за которой утром солнечный луч мог до срока разбудить его ребенка. Тут мой брат в сладостном ожидании покрывался гусиной кожей.

«Готов, Бак?» – спрашивал папа, а Бакли иногда отзывался «так точно», а иногда – «пуск!», но когда ему было особенно невтерпеж, и голова шла кругом, и уже хотелось спать, он просто повторял: «Готов!» Тогда мой папа брался двумя пальцами за верхнюю простыню, голубую (если она была куплена специально для Бакли) или сиреневую (если ему стелили мою), поднимал ее в воздух и резко разжимал пальцы. Простыня надувалась, как купол парашюта, и до странности медленно оседала вниз, на открытые колени и локти, на подбородок и щеки. И дуновение воздуха, и легкость ткани касались кожи одновременно, даруя высвобождение и защиту. Это было диво дивное, после него оставалось какое-то щемящее чувство, по телу пробегала легкая дрожь, но в груди еще теплилась робкая надежда, что, если хорошенько попросить, папа в виде исключения повторит все сначала. Дуновение и легкость, дуновение и легкость, безмолвное единство: маленький сын, скорбящий отец.

Той ночью, когда голова Бакли коснулась подушки, он весь сжался в комочек. Ему даже не пришлось в голову опустить жалюзи, и за окном виднелся пригорок, испещренный пятнами света от чужих домов. На фоне противоположной стены темнели реечные дверцы стенного шкафа; в детстве он с ужасом представлял, как сквозь щели протискиваются злобные ведьмы, а под кроватью их уже поджидают двуглавые змеи. Но эти страхи давно канули в прошлое.

– Сюзи, пожалуйста, сделай так, чтобы папа не умирал, – шептал Бакли. – Мне без него никак.

Расставшись с братом, я спустилась по башенным ступеням и побрела по мощенной кирпичом дороге, под фонарями, похожими на сочные ягоды. Впереди оказалась развилка.

Очень скоро кирпичное мощение сменилось булыжным, потом под ногами заскрежетала острая щебенка, а дальше, на многие мили вокруг, была просто утоптанная земля. Я остановилась. Прожив на небесах не Один год, я уже знала: сейчас что-то произойдет. Свет померк, небо свод сделался приторно-синим, как в день моей смерти, и тут впереди, далеко-далеко, возникла чья-то фигура, движущаяся мне навстречу, – то ли мужская, то ли женская, то ли детская, то ли взрослая. Когда взошла луна, стало ясно, что это мужчина. Меня охватила тревога, и я, задыхаясь, бросилась вперед, чтобы его разглядеть. Неужели это мой отец? Неужели сбылось мое отчаянное желание?

– Сюзи, – окликнул встречный, когда я остановилась шагах в десяти, и приветственно вскинул руки. – Не узнаешь?

И я сделалась шестилетней крохой и перенеслась в гостиную знакомого дома в Иллинойсе. По старой привычке, я встала туфельками на его ступни.

– Дедушка!

Сейчас мы с ним оказались на небе вдвоем, я стала легкой, как перышко, ведь мне было

шесть лет, а ему пятьдесят шесть, и мой папа привез нас к нему в гости. Мы закружились в медленном танце, от которого дедушку каждый раз прошибала слеза.

– Помнишь композитора? – спросил он.

– Барбер!

– «Адажио для струнных», – уточнил он.

Во время плавных шагов и вращений я ни разу не сбилась и не споткнулась, не то что на Земле, а сама вспоминала, как однажды застала деда в слезах и спросила, почему он плачет.

– Иногда слезы сами текут, Сюзи, даже после долгих лет разлуки. – Он на мгновение прижал меня к груди, но я тут же побежала играть с Линдси: дедушкин двор в те годы казался необъятным.

Среди этого синего безвременья мы больше не сказали друг другу ни слова, просто скользили в танце – и все. Ноя знала: пока длится танец, что-то происходит на небе и на Земле. Какой-то сдвиг. Неравномерное движение, про которое нам рассказывали на уроках физики. Небывалые сейсмические толчки, разрыв и сжатие пространства и времени. Прильнув к дедушкиной груди, я вдыхала стариковский запах, схожий с папиным, только пронафталинированный, запах плоти на Земле, запах неба на небесах. Кумкват, скунс, отборный табак.

Музыка смолкла; наш танец длился, наверно, целую вечность. Дед отступил назад, и за его спиной зажегся желтоватый свет.

– Мне пора, – сказал он.

– Ты куда? – встревожилась я.

– Не беспокойся, милая. До тебя нынче рукой подать.

Развернувшись, он зашагал прочь и вскоре исчез среди теней и пыли. Среди вечности.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Придя утром на винодельню «Крузо», моя мама нашла адресованную ей полуграмотную записку, нацарапанную рукой уборщика. Ей в глаза бросилось слово «срочно», и она даже нарушила ежедневный ритуал. Вместо того чтобы выпить чашку кофе за созерцанием бесконечных виноградных лоз, она сразу отперла зал для публичных дегустаций, в потемках нащупала за деревянной стойкой бара телефон и стала звонить в Пенсильванию. Номер не отвечал.

Тогда она через городское справочное бюро узнала номер доктора Ахила Сингха.

– Да-да, – подтвердила Руана, – часа два назад мы с Рэем видели «скорую». Полагаю, они все поехали в больницу.

– А кого увезли на «скорой»?

– Может быть, вашу маму?

Но из содержания записки следовало, что ее мать как раз и продиктовала это сообщение. В больницу попал либо кто-то из детей, либо Джек. Она поблагодарила Руану и повесила трубку. Потом схватила тяжелый красный телефон, чтобы поставить его на стойку. От неосторожного движения к ее ногам полетела цветная россыпь дегустационных листов, которые были придавлены телефонным аппаратом: «Лимонно-желтый = молодое Chardonney, нежно-желтый = Sauvignon blanc...» Получив здесь работу, она сразу взяла за правило приходить пораньше и теперь благодарила за это судьбу. В голову лезли только названия городских больниц, куда она давным-давно отвозила детей в случае травмы или внезапного подъема температуры. Набирая номера один за другим, мама дошла до той клиники, в которую я когда-то спешным порядком доставила Бакли, и там наконец услышала: «Джек Сэлмон – да, есть такой пациент. Доставлен в тяжелом состоянии».

– Что с ним?

– Кем вы приходите мистеру Сэлмону?

Она выдавила фразу, которую не произносила уже несколько лет:

– Я его жена.

– У него инфаркт.

Опустившись на пробково-каучуковый коврик, лежащий на полу за стойкой, она сидела без движения, пока не пришел дежурный распорядитель. Тогда у нее опять вырвались чужие слова: «муж», «инфаркт».

Мама очнулась в фургоне уборщика – этот тихий человек, почти никогда не выходивший

за ворота, мчал ее в международный аэропорт Сан-Франциско.

Она купила билет на ближайший рейс; лететь предстояло с пересадкой в Чикаго. Когда самолет, набрав высоту, нырнул в облака, она стала прислушиваться к перезвону музыкальных сигналов, которые подсказывали экипажу, что делать дальше и к чему готовиться. По салону, дребезжа, проехала тележка с напитками. У мамы перед глазами были не кресла самолета, а холодная каменная арка винного заводика, за которой хранились пустые бочки, только вместо посетителей, которые часто спасались в этой прохладе от палящего солнца, там сидел мой отец, протягивая ей разбитую чашку веджвудского фарфора. В аэропорту Чикаго, за два часа ожидания, она кое-как взяла себя в руки, купила зубную щетку и пачку сигарет, а потом опять позвонила в приемный покой и попросила, чтобы к телефону позвали бабушку Линн.

– Мама, я уже в Чикаго, – сообщила она. – Скоро буду.

– Абигайль, слава богу! – воскликнула бабушка. – Я еще раз звонила тебе на работу, мне сказали, ты уехала.

– Как он там?

– Зовет тебя.

– Дети с тобой?

– Со мной. Сэмюел тоже здесь. Я как раз собиралась тебя порадовать: Сэмюел сделал Линдси предложение.

– Чудесно, – сказала мама.

– Абигайль...

– Да? – Моей маме нечасто доводилось слышать робкие нотки в материнском голосе.

– Джек все время зовет Сюзи.

За порогом аэровокзала «О'Хэйр» моя мама закурила и остановилась, пропуская стайку школьников с рюкзаками и музыкальными инструментами. На каждом футляре желтела именная бирка с иллинойской надпечаткой: «Край патриотов».

Сырой, промозглый воздух Чикаго смешивался с выхлопными газами припаркованных в два ряда такси; у стоянки было нечем дышать.

Мама в рекордное время докурила сигарету и тут же зажгла следующую. После каждой затяжки она попеременно грела руки на груди. У нее даже не было возможности переодеться: она прилетела в линялых, но чистых джинсах и бледно-оранжевой футболке с вышитым на кармашке названием: «Винный завод Крузо». Ее кожу покрывал легкий загар, отчего голубые глаза стали еще ярче. Стянутые резинкой волосы струились по спине. Мне была видна легкая проседь у нее на висках и за ушами.

Она держалась за две колбы песочных часов и сама не понимала, как такое может быть. Время, прожитое в одиночестве, истекало; за счет силы тяготения его вытеснял тот час, когда старые узы влекут в обратную сторону. И они натянулись с удвоенной мощью. Брак. Недуг.

Не отходя от аэровокзала, она вытащила из заднего кармана джинсов мужской бумажник, который купила в первые дни работы на винодельне, чтобы не оставлять без присмотра сумочку. Щелчком бросила окурки в сторону такси и отделилась от стены, чтобы присесть на бетонный парапет, охранявший плашку жухлой травы с унылым деревцем посередине.

В бумажнике хранились фотографии, которые она разглядывала каждый день. Один снимок лежал особняком, в кожаном отделении для кредиток, обратной стороной вверх. То самое изображение, что хранилось в полиции, приобщенное к делу; то самое, что Рэй заложил в сборник индийских стихов, принадлежавший его матери. Это была моя школьная фотография, которая попала на газетные полосы и листовки с объявлениями о розыске, а с ними в каждый почтовый ящик.

По прошествии восьми лет этот снимок даже для моей мамы примелькался, как рекламный щит. Стал чуть ли не надгробным памятником. Вечный румянец, вечно голубые глаза.

Достав эту фотографию, она повернула ее лицом к себе и слегка согнула в ладони. Маму огорчало, что на снимке не видны мои зубы – ее всегда умиляли их округлые, чуть зазубренные краешки. В тот год я пообещала, что сделаю рот до ушей; когда буду сниматься для школьного ежегодника, но перед объективом задергалась и еле растянула сжатые губы в подобии улыбки. По трансляции объявили ее рейс. Она поднялась с парапета, обернулась и поглядела на тоненькое; из последних сил бьющееся за жизнь деревце. Моя школьная фотография опустилась нижним краем на землю, а верхним прислонилась к стволу-прутику. Через автоматически открыва-

ющиеся двери мама прошла на посадку.

Во время рейса на Филадельфию она сидела в одиночестве, на среднем месте в ряду из трех кресел. Ей невольно думалось, что на соседних местах с ней, как с матерью, могли бы лететь дети. С одного боку – Линдси. С другого – Бакли. По определению, она, естественно, оставалась матерью, но в какой-то момент перестала ею быть. Отгородившись от их жизни чуть ли не на десять лет, она больше не могла претендовать на право и гордость материнства. Ей давно стало ясно, что быть матерью – это призвание, мечта многих юных девушек. Но мою маму такая мечта обошла стороной, и судьба послала ей самое страшное, – самое жестокое наказание за то, что я не была для нее желанной.

На протяжении всего полета я смотрела во все глаза и сквозь облака загадывала для нее освобождение. Когда она представляла, что ждет впереди, ее душил ужас, но в этой тяжести зрело целительное снадобье. Стюардесса принесла подушечку в синем чехле, и мама ненадолго забылась сном.

Пока самолет, гася скорость, бежал по взлетно-посадочной полосе, мама силилась вспомнить, как ее занесло в Филадельфию и какой сейчас год. Она торопливо перебирала в памяти готовые фразы – для детей, для матери, для Джека. Но с наступлением тишины и неподвижности все мысли сосредоточились на одном: как спуститься на землю.

Она с трудом узнала родную дочь, ожидавшую у подножья нескончаемого пандуса. За прошедшие годы Линдси стала угловатой и худой, ни грамма лишнего веса. Рядом стоял юноша – ее точный мужской портрет: брат-близнец, да и только. Чуть выше ростом, чуть шире в плечах. Сэмюел. Моя мама так пристально всматривалась в этих двоих, так храбрилась под их жесткими взглядами, что вначале не Заметила щекастого мальчугана, который примостился в сторонке, на подлокотнике кресла.

Его она увидела позже – когда ступила на пандус, когда прошло первое оцепенение, когда их всех отпустила вязкая желатиновая топь.

Мама шла по ковровой дорожке среди рокота объявлений и мелькания радостных лиц. Но при виде сына ее внезапно засосала воронка времени. Год тысяча девятьсот сорок четвертый. Лагерь «Уиннекукка». Девчонка двенадцати лет: пухлые щеки, толстые ляжки. Все то, что, по счастью, не унаследовали ее дочери, досталось сыну. Как долго ее не было рядом. Сколь многое безвозвратно упущено.

Надумай она посчитать (я сделала это за нее), ей бы пришлось в голову, что за семьдесят три шага она совершила больше того, о чем мечтала почти семь лет.

Первой окликнула ее моя сестра:

– Мам!

От этого мама стремительно перенеслась на тридцать восемь лет вперед, оставив позади одинокую девочку из лагеря «Уиннекукка».

– Линдси, – выдохнула мама.

Линдси молча смотрела ей в глаза. Бакли опустил ноги на пол, долго изучал свои ботинки, затем покосился через плечо и уставился в окно, на самолет, который выплевывал пассажиров в складчатую кишку трапа.

– Как отец? – спросила мама.

У моей сестры будто отнялся язык от единственного слова – «мам». Во рту остался неприятный мыльный привкус.

– К сожалению, не в лучшей форме, – пришел на помощь Сэмюел.

Это была самая длинная фраза, сказанная при встрече, и мама преисполнилась чрезмерной благодарности.

– Бакли? – неуверенно позвала мама, не подготовив выражение лица. Она была собой – уж какая есть.

Мой брат повернул голову, словно прицеливаясь.

– Бак, – поправил он.

– Бак, – тихо повторила Мама и принялась разглядывать свои руки.

«Где твои кольца?» – вертелось на языке у Линдси.

– Пойдемте? – предложил Сэмюел.

Вчетвером они направились к выходу из терминала по длинному, устланному ковровой дорожкой тоннелю. Проходя мимо выдачи багажа, мама сказала:

– Я належке.

Они неловко переминались с ноги на ногу, пока Сэмюел разглядывал указатели, ища путь на стоянку.

– Мам, – сделала вторую попытку моя сестра.

– Я тебе солгала, – сказала мама, не дав Линдси раскрыть рот.

Их глаза встретились, полыхнула огненная проволока, и я увидела, клянусь, как на ровном месте выпирает какой-то бугор, словно проглоченная крыса из сытого брюха змеи. Тайна о них с Леном Фэнерменом.

– По эскалатору вверх, – сказал Сэмюел. – К пешеходному мостику.

Он позвал Бакли, которого заворожил вид кадровых офицеров службы безопасности. Форма всегда притягивала его, как магнитом.

Когда автомобиль вырулил на шоссе, Линдси снова заговорила:

– Бакли из-за возраста не пропускают к папе.

Мама обернулась назад.

– Это я устрою. – Взглянув на Бакли, она впервые попыталась улыбнуться.

– Пошла ты в жопу, – прошипел мой брат, глядя в пол.

Она похолодела. В машине вдруг стало тесно. Воздух густо налился кровью, раскалываясь под лавиной ярости.

– Бак, – она вовремя вспомнила его нынешнее имя, – погляди-ка на меня.

Подняв голову, он пробуравил ее ненавидящим взглядом.

В следующий миг она уже смотрела вперед сквозь ветровое стекло, а до Линдси с Сэмюелом и моего брата доносились с трудом сдерживаемые всхлипы и сдавленные рыдания. Не никакие слезы не могли смягчить Бакли. Его ненависть исподволь копилась годами, неделю за неделей, изо дня в день. Внутри него сидел четырехлетний мальчонка с обнаженным сердцем. Сердце – камень, сердце – камень.

– Сейчас навестим мистера Сэлмона, и всем станет легче, – проговорил Сэмюел, но так тихо, что даже сам не расслышал, и тут же включил радио.

Это была та самая больница, куда она приезжала среди ночи восемь лет назад. Другой этаж, другая краска, но, переступив порог, она сразу похолодела от воспоминаний о том посещении. Лен толчками вбивал ее в шершавую стену. А ей хотелось бежать – лететь в Калифорнию, к своему размеренному бытию, к работе среди незнакомцев. Чтобы затаиться меж кряжистых древесных стволов и тропических лепестков, раствориться в чуждой зелени, в чуждой толпе.

Вид материнских лодыжек и туфелек на шпильках вернул ее к действительности. Уехав куда глаза глядят, она успела забыть многое, в том числе и ноги своей матери, далекие от совершенства форм. Сейчас это были отечные семидесятилетние ноги в неудобных до смешного туфлях.

Но когда она вошла в палату, все прочее – сын, дочь, мать – отодвинулось на задний план. Тяжелые папины веки дрогнули от звука ее шагов. От его плеча и запястья тянулись провода и трубочки. Голова беззащитно покоилась на плоской квадратной подушке.

Взяв его за руку, она тихо заплакала, не сдерживая слезы.

– Глаза-Океаны, – выговорил он.

Она только кивнула. Разбитый, сломленный человек. Ее муж.

– Девочка моя, – вырвался у него тяжелый выдох.

– Джек.

– Видишь, чего мне стоило вернуть тебя домой.

– Не перестарался? – спросила она со слабой улыбкой.

– Посмотрим.

Так сбылась моя несбыточная надежда: увидеть их вместе.

Мой отец ловил взглядом отсветы, цветные искорки в маминых глазах, и держался за них, чтобы остаться на плаву. Они были для него обломками мачты и палубы давно исчезнувшей шхуны, которая столкнулась с чем-то огромным и пошла ко дну. А на его долю остались только щепки да миражи. Ослабевшая рука попыталась дотянуться до маминой щеки. Маме пришлось наклониться, чтобы коснуться щекой его ладони. Бабушка Линн на удивление бесшумно двигалась на шпильках. Привстав на цыпочки, она вышла из палаты, а потом прошествовала по коридору своей обычной походкой. Навстречу ей попала медсестра, которая несла записку для

Джека Сэлмона, палата 582. Недолго думая, бабушка перехватила листок. Она никогда в жизни не видела того, кто продиктовал это сообщение, но имя было ей знакомо. «К вам собирается приехать Лен Фэнермен. Желает скорейшего выздоровления». Бабушка аккуратно сложила листок пополам. Завидев Линдси и Бакли, которые присоединились к Сэмюэлу, ожидавшему в холле, она щелкнула металлическим замком сумочки и спрятала записку между пудреницей и щеткой для волос.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Поздним вечером, когда мистер Гарви добрался до крытой жестью лачуги в Коннектикуте, дело явно шло к дождю. Несколько лет назад в этой хижине он убил молоденькую официантку и выгреб из кармашка ее передника чаевые – как раз хватило на покупку новых брюк. Сейчас гниение должно было уже закончиться, и верно: подойдя ближе, он не учуял трупного запаха. Но лачуга стояла нараспашку, и земляной пол оказался развороченным. Мистер Гарви набрал побольше воздуха и опасливо приблизился к порогу. Заснул он возле ее пустой могилы.

В противовес списку мертвых, я в какой-то момент качала составлять свой личный список живых. Лен Фэнермен, по моим наблюдениям, занимался тем же. В свободное от службы время он брал на заметку юных девушек и старух, а также каждую вторую женщину из тех, что расцвечивали собой весь возрастной спектр между этими двумя полюсами; таков был его путь к выживанию. Девочка-подросток в торговом центре: незагорелые ноги, куцее детское платьишко, щемящая незащищенность, которая запала в душу и мне, и Лену. Трясущиеся старушки с «ходунками»: упрямо красят волосы в ненатуральные оттенки своего бывшего натурального цвета. Немолодые матери-одиночки, которые мечутся по продуктовому отделу, не видя, что их детишки втихаря тащат с полок сладости. Заметив кого-нибудь из числа таких женщин, я пополняла свой список. Все они пока были целы и невредимы. Но иногда я видела и таких, кому причинили страдание, – избитых мужьями, изнасилованных чужаками, а то родными отцами, – и каждый раз хотела вступиться.

Лен сталкивался с этими несчастными постоянно. Что ни день, они прибегали в участок, но даже за пределами своего кабинета он узнавал их за версту. К примеру, жена галантерейщика: с фингалами не ходит, но жметесь, как нашкодившая собачонка, и разговаривает виноватым шепотом. Или взять ту девочку, которую он каждый раз видел на шоссе, когда ездил на север штата проводить сестер. С годами она совсем исхудала, щеки опали, на бледном лице выделялись только скорбно-безнадежные глаза. Если ее не оказывалось на месте, это вызывало у него тревогу. Если же она оказывалась, где всегда, это одновременно и угнетало, и придавало сил.

Мое дело на какое-то время зависло, но за последние месяцы старое досье пополнилось новыми фактами: к нему добавилось имя еще одной возможной жертвы – Софи Чичетти, а также имя ее сына и вымышленная фамилия, под которой скрывался Джордж Гарви. Кроме того, в деле появился и мой брелок: замковый камень Пенсильвании. Порывшись в коробке с вещдоками, Лен извлек его на свет и в который раз нащупал мои инициалы. Эту безделушку обследовали под микроскопом на предмет каких-либо следов, но она оказалась абсолютно чистой, если не считать, что ее обнаружили на месте убийства другой девочки.

Как только было установлено, что подвеска принадлежала мне, Лен принял решение отдать ее моему отцу. Такой план был нарушением всех служебных инструкций, но ведь полиция так и не смогла предъявить родителям мой труп; в наличии была раскисшая книга из школьной библиотеки да еще страницы из моей тетради по биологии, слипшиеся с любовной запиской от мальчика. Бутылка из-под кока-колы. Вязаная шапка с бубенчиками. Все это он зафиксировал и сдал на хранение. Но брелок-амулет – совсем другое дело, вот Лен и надумал его вернуть.

Медсестра, с которой Лен встречался после отъезда моей мамы, сразу ему позвонила, увидев в списке вновь поступивших пациентов имя Джека Сэлмона. Лен решил навестить моего отца и принести ему амулет, как будто волшебная сила могла ускорить папино выздоровление.

Наблюдая за ним, я почему-то вспоминала контейнеры с жидкими токсинами, которые скопились за автосервисом Хэла, где разросшийся вдоль железной дороги кустарник так и подбивал местных промышленников к незаконному сбросу токсичных отходов. Так вот: контейнеры были герметично закупорены, но со временем их содержимое стало просачиваться наружу. За

годы маминого бегства у меня возникло и сочувствие, и уважение к Лену. Опираясь на материальные свидетельства, он пытался понять непостижимое. Я видела: мы с ним в этом похожи.

Перед входом в больницу какая-то девушка продавала букетики нарциссов, перевязанные бледно-лиловыми ленточками. На моих глазах мама купила у нее весь товар оптом.

Сестра Элиот, которая вспомнила мою маму восемь лет спустя, предложила свою помощь, увидев ее в коридоре с охапкой цветов. Она разыскала в кладовой несколько кувшинов, а затем, пока отец спал, вместе с моей мамой набрала в них воды и расставила цветы по всей палате. Наверно, трагедия и вправду облагораживает женскую внешность, думала сестра Элиот, потому что моя мама стала еще прекраснее.

Линдси, Сэмюел и бабушка Линн поехали забирать Бакли. Моя мама была еще не готова увидеть наш дом. Она полностью сосредоточилась на отце. Все остальное подождет: и дом, который встретит ее немым укором, и сын с дочерью. Ей надо было перекусить и много чего обдумать. Больничный кафетерий она обошла стороной, потому что яркие лампы навевали ей мысли о том, что в больницах делаются попытки – правда, безуспешные – лишить человека сна, чтобы он круглые сутки готовил себя к новым сюрпризам: вместо кофе – какая-то бурда, стулья жесткие, на этажах грохочут лифты. Оказавшись на свежем воздухе, она зашагала вниз по пандусу.

Стемнело; на стоянке, куда она однажды примчалась в одной ночной рубашке, было множество свободных мест. Она плотнее закуталась в кофту, которую оставила ей мать.

Пересекая стоянку, она присматривалась к темным машинам и гадала, что за люди приехали в больницу. На пассажирском сиденье то тут, то там попадались россыпи кассет и детские креслица. Это превратилось для нее в игру: что интересного можно разглядеть внутри? Теперь ей было уже не так тоскливо и одиноко, словно она опять стала маленькой девочкой, которая играла в шпионов, когда родители брали ее с собой в гости. Агент Абигайль на спецзадании. Вижу пушистую игрушечную собаку, вижу футбольный мяч, вижу женщину! Вот она, незнакомка за рулем. Женщина не сразу почувствовала на себе посторонний взгляд; но как только их глаза встретились, моя мама резко отвернулась, будто ее внезапно привлекли огни давно знакомой закуской, куда она, собственно, и направлялась. Ей хватило беглого взгляда, чтобы понять, почему та женщина засиделась в машине: она собиралась с духом, перед тем как войти в здание больницы. Моей маме было хорошо знакомо такое выражение лица. Так выглядит человек, который дорого бы дал, чтобы оказаться сейчас в другом месте.

Помедлив на садовой аллее между главным корпусом и отделением реанимации, она пожалела, что не взяла с собой сигареты. Утром все было четко и ясно. У Джека инфаркт. Нужно лететь домой. Но сейчас она утратила прежнюю уверенность. Сколько еще придется ждать? Что еще случится до ее отъезда? У нее за спиной открылась и захлопнулась дверца машины: та женщина зашагала к больнице.

В закуской все было как в тумане. Моя мама присела к отгороженному столику и выбрала такое блюдо, которого в Калифорнии, похоже, вообще не знали – куриный шницель.

Погрузившись в задумчивость, она не сразу заметила, что сидящий напротив мужчина пялится на нее без зазрения совести. Как всегда, она мысленно вычленила каждую деталь его внешности. Такая привычка появилась у нее после моего убийства, пока она еще не уехала из Пенсильвании: увидев подозрительного незнакомца, она в уме разрезала его на части. Это происходило быстрее (страх вообще не знает промедления), чем она успевала – хотя бы ради приличия – себя упрекнуть. Принесли ее заказ, шницель и чай, и она переключилась на еду: резиновое мясо, обваленное в песчаных крошках панировки, и перестоявшийся чай с металлическим привкусом. Она думала, что продержится дома пару дней, не более. Куда бы ни упал ее взгляд, она повсюду видела меня, а сидевший напротив незнакомец мог оказаться моим убийцей.

Она разделалась с ужином, заплатила по счету и вышла, не поднимая глаз. От звона бубенчика над дверью она вздрогнула и чуть не задохнулась.

Пришлось взять себя в руки, чтобы неторопливо перейти через шоссе, но, когда она очутилась на стоянке, дыхание все еще было частым и неровным. Машина нерешительной посетительницы стояла на том же месте.

В главном вестибюле, где родственники больных обычно не задерживались, она решила присесть и собраться с мыслями.

Надо побыть у его постели до утра, а когда он придет в сознание, можно будет распрощаться. Как только она приняла это решение, на нее снизошло желанное спокойствие. Внезапное

снятие ответственности. Билет в дальние края.

Время было позднее, одиннадцатый час, и она поднялась в пустом лифте на пятый этаж, где уже приглушили свет. На посту в коридоре шепотом сплетничали две медсестры. До нее доносились радостно-возбужденные нотки их болтовни; в воздухе витала легкая интимность. В тот миг, когда у одной из сестер вырвался пронзительный смешок, моя мама распахнула дверь отцовской палаты, и створки сомкнулись у нее за спиной.

Наконец-то одна.

За закрытой дверью стояла тишина, словно в безвоздушном пространстве. В коридоре я чувствовала себя ненужной, понимала, что пора уходить. Но меня словно пригвоздили к месту.

В слабом свете флуоресцентной лампы, укрепленной над кроватью, моя мама увидела его спящим и сразу вспомнила, как в этой самой больнице пыталась отрезать себя от него.

А мне, когда она взяла моего отца за руку, вспомнилось, как мы с сестрой играли у нас дома, в коридоре на втором этаже, под оттиском, снятым со старинного надгробья. Я изображала погибшего рыцаря, который вместе с верным псом отправился на небеса, а она – бойкую вдовушку. «Как можно ожидать, что я всю свою жизнь посвящу человеку, застывшему во времени?» Любимая фраза Линдси.

Мама долго сидела, сжимая папину руку. Она думала: как было бы хорошо прилечь на чистую больничную простыню рядом с мужем. Но это исключено.

Она наклонилась к нему. Сквозь волну антисептиков и спирта пробивался травяной запах его кожи. Уйдя из дому, она забрала свою любимую папину рубашку и временами расхаживала в ней по комнате, чтобы его частица перешла к ней. Стремясь как можно дольше сохранить этот запах, мама никогда не выходила в ней на улицу. Как-то ночью, измучившись от тоски, она надела рубашку на подушку, застегнула на все пуговицы и легла с ней в обнимку, как глупая школьница.

Вдалеке, за плотно закрытым окном, слышался приглушенный рев машин на шоссе, но больница на ночь закрывалась. Лишь каучуковые подошвы дежурных медсестер мягко ступали по коридору.

Как раз той зимой она сказала молоденькой девушке, с которой они вместе работали по субботам в дегустационном баре, что в отношениях между мужчиной и женщиной кто-то один всегда оказывается сильнее другого.

– Это не означает, что слабый не любит сильного, – сказала она, ища понимания.

Напарница вылупилась на нее, как баран на новые ворота. Но для мамы было важно то, что она сама, произнеся это вслух, узнала в себе того, кто слабее.

От этого открытия у нее потемнело перед глазами. Почему же она всегда считала, что все наоборот?

Придвинув стул вплотную к изголовью, она опустила лицо на край подушки, чтобы следить, как дышит мой отец, видеть, как у него подрагивает веко. Как же можно так сильно любить – и скрывать это от себя самой, просыпаясь по утрам вдали от дома? Она прочертила границу дорогами, отгородилась рекламными щитами, опустила шлагбаумы, отломила зеркало заднего вида. Неужели она думала, что от этого он исчезнет? Что из памяти сотрутся годы и дети?

Глядя на мужа, она успокаивалась от его равномерного дыхания. Все оказалось так просто, что поначалу она даже этого не поняла. Перед глазами возникали комнаты в нашем доме и прожитые в них долгие часы, которые она старалась вытравить из памяти/Теперь, когда она вернулась, воспоминания оказались еще слаще на вкус – как цукаты, забытые на полке в чулане. На той же полке хранились все памятные даты, и наивность их первой любви, и крепкий жгут, сплетенный из общих мечтаний, и основательный корень расцветающей семьи. И первое проявление этой основательности.

Она заметила на лице у моего папы новую морщинку. Полубовалась серебристыми висками.

Вскоре после полуночи она заснула, хотя изо всех сил старалась не смыкать глаз – чтобы насмотреться на это лицо и вобрать все сразу, а утром проститься.

Они мирно спали рядом, и я шепотом пропела:

Камешки-косточки, семечек горсточки, В поле тропинки, стеклышки-льдинки. Сюзи тоскует, сидит у окошка. Кто же ее приголубит немножко?...

Часа в два ночи хлынул дождь. Он обрушился на больницу, на наш дом, на мои небеса. И



крытая жестью лачуга, где спал мистер Гарви, тоже приняла этот ливень. Молоточки дождя стучали по крыше прямо у него над головой. Ему снилась не та девушка, чьи останки были выкопаны и как раз сейчас находились на экспертизе, а Линдси Сэлмон – 5! 5! 5! – ускользающая сквозь живую изгородь. Этот сон всякий раз становился предвестником опасности. Ее мелькнувшая футболка одним ударом выбила его жизнь из привычной колеи.

Около четырех часов утра я увидела, как мой отец проснулся и ощутил на щеке тепло мамино дыхание, еще не зная, что она спит рядом. Мы с ним оба хотели, чтобы он ее обнял, но у него не хватило сил. Зато можно было пойти другим путем. Поведать ей о том, что он испытал после моей смерти, – о том, что неумолимо лезло в голову, хотя было скрыто от всех, кроме меня.

Ему было жалко ее будить. Больничную тишину нарушал только шум дождя. Дождь – мой отец это знал – следил за ним из темноты и сырости, и ему вспомнилось, как Линдси и Сэмюел возникли на пороге, насквозь промокшие и счастливые: они все дорогу бежали, чтобы только скорее вернуться к нему. Он часто ловил себя на том, что командует себе: равнение на середину. Линдси. Линдси. Линдси. Бакли. Бакли. Бакли.

Уличные фонари выхватывали из темноты круги дождя, прямо как в фильмах его детства. Голливудский дождь. Он закрыл глаза, ощутив на щеке умиротворяющее дыхание моей мамы, и стал слушать легкий перестук дождевых капель по тонким металлическим подоконникам, а потом услышал слабый птичий щебет. Наверно, птаха свила гнездо прямо за окном, а птенцы проснулись от дождя и обнаружили, что мать упорхнула; впору было спешить им на помощь. Его ладонь накрывали ослабевшие мамины пальцы. Она здесь, и в этот раз, несмотря ни на что, он должен позволить ей оставаться собой.

Вот тут-то я и проскользнула в папину палату. Очутилась там вместе с ними. Раньше я только незримо парила сверху, а теперь стояла рядом, как живая.

Я сделалась совсем маленькой; уж не знаю, можно ли было разглядеть меня в темноте. В течение восьми с половиной лет я каждый день оставляла папу без присмотра на несколько часов, точно так же, как оставляла маму, Рут и Рэя, сестру и братишку и, уж конечно, мистера Гарви, а мой отец – теперь я поняла – не оставлял меня ни на минуту. Его преданность раз за разом свидетельствовала, как меня любили на Земле. В теплом свете папиной любви я так и осталась девочкой по имени Сюзи Сэлмон, у которой вся жизнь впереди.

– Я так и знал, что в полной тишине тебя можно услышать, – прошептал он. – Стоит только заткнуть дыхание – и ты вернешься.

– Джек, – сказала, просыпаясь, моя мама, – кажется, я задремала.

– Чудо, что ты вернулась, – сказал он.

Мама посмотрела ему в глаза. И все исчезло.

– Как ты справляешься? – спросила она.

– У меня нет выбора, Абби, – ответил он. – Что мне еще остается?

– Уехать, начать все сначала, – сказала она.

– Тебе это помогло?

Вопрос остался без ответа. Я протянула к ним руку и растворилась.

– Приляг ко мне, – попросил мой отец. – У нас есть немножко времени, пока эскулапы тебя не выставили.

Она словно застыла.

– Здесь ко мне отнеслись по-доброму, – сказала она. – Сестра Элиот даже помогла расставить цветы, пока ты спал.

Оглядевшись, мой папа наконец-то заметил букеты.

– Нарциссы, – сказал он.

– Цветы Сюзи.

Папино лицо осветилось улыбкой:

– Вот так это и делается – хранишь память, даришь цветы.

– Это так тяжело, – сказала мама.

– Да, – кивнул он, – тяжело.

Мама едва-едва сумела примоститься на краешке больничной койки. Они вытянулись рядом, чтобы смотреть друг другу в глаза.

– Как прошла встреча с Бакли и Линдси?

– Лучше не спрашивай, – сказала она.

Немного помолчав, он сжал ее руку.

– Ты изменилась, – заметил он.

– Хочешь сказать, постарела.

Мне было видно, как он приподнялся на локте, взял прядь маминых волос и заправил за ухо.

– За это время я снова в тебя влюбился, – сказал он.

Я бы все отдала, чтобы сейчас оказаться на мамином месте. Его любовь к ней питали не застывшие картины прошлого. Эту любовь питало все – ее сломленный дух, ее бегство, ее возвращение, ее близость к нему в этой больничной палате, до восхода солнца, до прихода врачей. Он любил ее за то, что мог осторожно гладить ее волосы и безрассудно бросаться в глаза-океаны.

Мама так и не заставила себя произнести «я тебя люблю».

– Ты останешься? – спросил папа.

– Ненадолго.

Это было уже кое-что.

– Ну и хорошо, – сказал он. – А что ты говорила в Калифорнии, когда тебя спрашивали о семье?

– Вслух говорила, что у меня двое детей. Про себя говорила: трое. И каждый раз просила у нее прощения.

– А мужа упоминала? – спросил он.

Она задержала на нем взгляд:

– Нет.

– Вот так раз, – протянул он.

– Джек, я вернулась не для того, чтобы притворяться, – ответила она.

– А для чего?

– Мне позвонила мать. Сказала, что у тебя инфаркт. Я вспомнила твоего отца.

– Подумала, что я могу умереть, как он?

– Да.

– Ты спала, – сказал он, – и не видела ее.

– Кого?

– Она вошла в комнату, а потом вышла. Мне показалось, это была Сюзи.

– Джек, – настороженно сказала мама, но без очевидной тревоги в голосе.

– Не прикидывайся, будто ты ничего не видела.

Тут ее прорвало.

– Я вижу ее повсюду, – выдохнула она, – даже в Калифорнии она была повсюду. В автобусе, на улице, возле школы. Вижу ее волосы – а лицо чужое. Вижу ее фигурку, ее походку. Вижу, как девочка нянчит младшего брата или как играют две сестренки – и думаю, сколько потеряла Линдси. Для нее и для Бакли такие отношения утрачены навсегда, но меня тоже судьба не пощадит, потому что я вас бросила. Переложила все на тебя, ну и еще на мать.

– Она у нас молодчина, – вставил мой отец. – Настоящая скала. Кое-где дает слабину, но все равно – скала.

– Понимаю.

– И все-таки: если я буду настаивать, что в палате пару минут назад была Сюзи, что ты скажешь?

– Что ты рехнулся и что, скорее всего, ты прав.

Мой отец легонько провел пальцем по маминому носу. Когда его палец коснулся ее губ, они слегка приоткрылись.

– Придвинься поближе, – сказал папа, – я, как-никак, больной.

Я смотрела, как целовались мои родители. Они делали это с открытыми глазами, и мама разрыдалась. Ее слезы катились по папиным щекам, и вскоре он тоже не выдержал.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Оставив родителей в больнице, я отправилась провести Рэя Сингха. Мы расстались, когда нам обоим было по четырнадцать лет. Сейчас его голова покоилась на подушке. Темные волосы

на желтом квадрате, смуглая кожа на желтой простыне. Он всегда был мне дорог. Я пересчитала каждую ресницу на его закрытых глазах. Не сбылось, не случилось. Но я не собиралась с ним расставаться, так же как и с родителями.

Когда мы с ним затаились на помосте в школьном зале, слушая, как внизу отчитывают Рут, Рэй Сингх был совсем близко, и его дыхание сливалось с моим. На меня повеяло ароматом гвоздики и корицы, которыми, я воображала, он за завтраком приправлял кашу. А еще на меня повеяло другим, смутным запахом, запахом близости человеческого тела, которое жило не по таким законам, как мое.

С момента, когда я поняла, что это случится, и до того, когда это действительно произошло, я старалась не оставаться наедине с Рэем Сингхом ни в школе, ни на улице. Боялась того, чего больше всего хотела, – поцелуя. Боялась, что у меня не получится, как у других, и уже тем более – как расписывают журналы «17», «Гламур» и «Вог». Боялась осрамиться, да так, что первый поцелуй перечеркнет все надежды. Но исподволь собирала информацию.

– Первый поцелуй – это колокольчик судьбы, – сказала как-то по телефону бабушка Линн.

Я держала трубку, а отец пошел на кухню позвать маму. До меня донеслись его слова: «Как всегда, подшофе».

– Если бы мне довелось испытать это еще раз, я бы накрамила губы самым ярким цветом, лучше всего – «файер-энд-айс», но «Ревлон» тогда еще не выпускал такую помаду. Я бы поставила на своего парня клеймо.

– Мама? – Моя мама подошла к параллельному телефону в спальне.

– У нас серьезный разговор, Абигайль. О поцелуях.

– Далеко ли вы продвинулись?

– Пойми, Сюзи, – продолжала бабушка Линн, – будешь нос воротить – с носом и останешься.

– В каком смысле?

– Ох уж мне эти поцелуи, – сказала мама. – Разбирайтесь сами.

Я сто раз пыталась расколоть на эту тему родителей, чтобы от них узнать мужское и женское мнение. После наших разговоров у меня в голове остался лишь образ мамы с папой в каком-то мареве: губы едва-едва соприкасаются, кругом дымовая завеса.

Чуть помедлив, бабушка Линн шепотом спросила:

– Сюзи, слышишь меня?

– Да, бабушка.

Она опять помолчала.

– Я впервые поцеловалась как раз в твоём возрасте. Но это был взрослый мужчина. Отец моей подружки.

– Бабушка! – ужаснулась я.

– Надеюсь, ты не проболтаешься?

– Ни за что.

– Это была сказка, – продолжала бабушка Линн. – Он знал толк в поцелуях. Мальчишек, которые ко мне клеились, я и близко не подпускала. Упиралась ладошкой им в грудь и отталкивала. А мистер Макгэйерн оказался на высоте.

– И как это было?

– Изумительно, – сказала она. – Я знала, что за такие дела по головке не погладят, но это было чудо – по крайней мере, для меня. За него не поручусь – не спрашивала, потому что мы с ним больше никогда не оставались наедине.

– А тебе этого хотелось?

– Еще бы. Я на всю жизнь запомнила тот первый поцелуй.

– А как же дедушка?

– Да так себе, – процедила она, и я услышала, как на том конце провода в бокале позвякивает лед. – У меня из головы не идет мистер Макгэйерн, хотя мы были вместе всего-ничего. А у тебя есть на примете какой-нибудь мальчик?

Родители не задавали мне таких вопросов. Теперь-то я понимаю, что они уже тогда обо всем догадывались, а может, что-то пронюхали и обменялись насмешливыми соображениями.

Я через силу выдавила:

– Есть.

- Как его зовут?
- Рэй Сингх.
- Он тебе нравится?
- Нравится.
- Так за чем же дело стало?
- Боюсь, у меня не получится.
- Сюзи!
- Что?
- Не лишай себя маленьких радостей, детка!

Но в тот день, когда, стоя у своего шкафчика, я услышала, как Рэй позвал меня по имени – откуда-то сзади, а не сверху, – мои чувства оказались не очень-то радостными. Но и не безрадостными. Прежде мир делился на белое и черное, а тут все перепуталось. Короче: можно сказать, я пришла в смятение. Точнее, меня охватило смятение. Счастье + Испуг = Смятение.

– Рэй, – хотела сказать я, но, прежде чем у меня вырвалось его имя, он слегка склонил голову и накрыл губами мой полуоткрытый рот.

Хоть я и ждала этого целый месяц, все произошло так внезапно, что мне показалось мало. Я чуть не лопнула – так мне хотелось поцеловаться с ним еще.

На следующее утро мистер Коннорс приготовил для Рут газетную вырезку. На ней были подробные чертежи мусорного коллектора, где промышляли флэнеганы, и материалы, касающиеся планов его ликвидации. Пока Рут одевалась, отец приписал на полях: Это просто выгребная яма. Туда опять провалится какой-нибудь олух на своей машине».

– Папа говорит, для него это конец света, – сказала Рут, помахивая статьей перед глазами Рэя, когда тот заехал за ней на синем «шевроле». – Наш дом попадает в зону отчуждения. Вот, полюбуйся. Здесь четыре микрорайона показаны кубиками, как на детском рисунке: отсюда наглядно видно, где пройдет граница.

– Между прочим, доброе утро, Рут, – сказал Рэй, выворачивая на шоссе и косясь на ее непристегнутый ремень.

- Ой, извини, – спохватилась Рут. – Привет!
- Так что там говорится, в этой статье? – спросил Рэй.
- Хороший сегодня денек, не правда ли? Дивная погода.
- Ну ладно, ладно. Рассказывай.

Вот уже несколько месяцев каждая встреча с Рут лишний раз подтверждала ее пылкость и любознательность – два качества, благодаря которым они с Рэем сблизились и до сих пор не расстались.

– На первых трех схемах – один и тот же разрез, но стрелки указывают в разные места: «грунт», «трещиноватый известняк», «разрыв породы». И аршинный заголовок: «Заткнуть глотку», а под ним – помельче: «Пасть забетонируют, в трещины закачают цементный раствор».

– Пасть? – переспросил Рэй.

– Я и сама удивилась, – сказала Рут. – С другого боку есть еще одна стрелка – прямо проект века, честное слово, – и подпись: «Заключительный цикл: засыпка ствола».

Рэй расхохотался.

– Как хирургическое вмешательство, – сказала Рут. – Наша планета больна, ей требуется сложная операция.

– Думаю, бездна всегда внушает людям первобытный страх.

– Еще бы! – подхватила Рут. – Тем более с хищной пастью! Давай туда съездим, поглядим.

Примерно через милю на шоссе появился знак «дорожные работы». Рэй взял влево и свернул туда, где прежде росли деревья, а теперь змеились кольца новых развязок, обрамленные невысокими аккуратными столбиками с красно-желтыми флажками.

Не успели они вкусить радость первооткрывателей, как впереди на шоссе показался Джо Эллис.

Рут не стала ему махать, Рэй – тем более, да и Джо сделал вид, что их не узнал.

– Мама говорит, он до сих пор живет с родителями и нигде не работает.

– Чем же, интересно, он занимается? – спросил Рэй.

– Наводит страх на всю округу, не иначе.

– Горбатого могила исправит, – сказал Рэй.

Рут провожала глазами длинные ряды незастроенных участков. Рэй опять вырулил на трассу и за железнодорожным переездом свернул на шоссе номер 30, которое вело к мусорному колллектору.

Высунув руку из окна, Рут ощутила влажность – напоминание о ночном ливне. Хотя Рэя в свое время Подозревали в причастности к моему исчезновению, он не держал зла на полицейских: те просто делали свою работу. А Джо Эллис так и не отмылся от обвинений в убийстве кошек и собак, которых на самом-то деле прикончил мистер Гарви. Теперь этот парень слонялся по округе, держась подальше от людей, и надеялся завести дружбу хотя бы с кошками и собаками. К моему величайшему огорчению, животные чуяли в нем надлом – человеческий изъян – и старались не попадаться ему на глаза.

На шоссе номер 30, у заставы Илз-Род, к которой приближались Рэй и Рут, я увидела Лена, выходящего из квартиры над парикмахерской. Он шел к машине, неся с собой легкий студенческий рюкзачок. Это был подарок женщины, хозяйки квартиры. Она когда-то пригласила Лена на чашку кофе, познакомившись с ним в полицейском участке, куда ее направили из колледжа «Уэст-Честер» на стажировку по криминалистике. В рюкзаке лежали разрозненные предметы: одни предназначались для показа моему отцу, а другие вообще не предназначались для родительских глаз. К последним относились фотографии мест, где были обнаружены закопанные детские трупы, – но во всех случаях локтевые суставы были на месте.

Когда Лен позвонил в больницу, медсестра сказала, что у мистера Сэлмона сейчас находится жена и еще кто-то из родных – Лен терзался чувством вины, а когда он въехал на больничную парковку, муки совести сделались просто нестерпимыми. Он не сразу вышел из машины, а еще посидел под беспощадным солнцем, которое жарило сквозь лобовое стекло.

Я видела: Лен раздумывает, как выразить словами то, что предстоит сказать. Над ним довлела одна – единственная мысль: начиная с семьдесят пятого года, то есть почти за семь лет знакомства, которое теперь еле теплилось, семейство Сэлмонов не теряло надежды увидеть мои останки или услышать весть об аресте мистера Гарви. Но их ждал только амулет.

Подхватив рюкзак, он запер машину и прошел мимо девушки, торговавшей у входа нарциссами. Он знал номер папиной палаты и поэтому, поднявшись на пятый этаж, не стал обращаться к медсестрам, а просто постучался в приоткрытую дверь.

Моя мама стояла к нему спиной. Его словно ударило, когда она повернулась на его стук, не отпуская руки моего отца. А я вдруг почувствовала себя никому не нужной.

Поймав на себе взгляд Лена, мама сначала немного растерялась, а потом выбрала самый легкий путь.

– Ага, полиция тут как тут! – Она попыталась обратить эту встречу в шутку.

– Лен, – только и сумел выговорить папа. – Абби, помоги мне сесть.

– Как самочувствие, мистер Сэлмон? – спросил Лен, пока мама, нажимая на кнопку, поднимала изголовье кровати.

– Зовите меня просто Джек, – попросил папа.

– Не стану вас обнадеживать, – сказал Лен, – мы его не поймали.

Папа заметно сник.

Мама подложила ему под спину и шею поролоновые подушки.

– В таком случае, что вас сюда привело? – спросила она.

– Мы нашли одну вещь, которая принадлежала Сюзи, сказал Лен.

Он в точности повторил те слова, с которыми когда-то предъявил родителям мою вязаную шапку с бубенчиками. У мамы в голове эта фраза отозвалась далеким эхом.

Прошлой ночью, когда мама смотрела на спящего отца, а вслед за тем он, проснувшись, увидел ее голову на своей подушке, оба хотели стереть из памяти ту первую ночь, со снегом, градом и дождем, когда они прильнули друг к другу, но так и не решились облечь в слова заветную надежду. Именно прошлой ночью мой папа впервые произнес: «Она к нам не вернется».

Простая истина, которую давно усвоили все, кто меня знал. Но ему нужно было проговорить это вслух, а ей – услышать от него эти слова.

– Мы нашли подвеску от ее браслета, – сказал Лен. – Замковый камень Пенсильвании, с гравировкой.

– Это я купил, – сказал папа, – в городе, у станции метро «Тринадцатая улица». Там стоял киоск; продавец надел защитные очки и тут же выгравировал инициалы, не взяв за работу ни

цента. Я и для Линдси такой же купил. Помнишь, Абигайль?

– Помню, – сказала мама.

– Мы нашли его около закопанного тела в Коннектикуте.

Мои родители вдруг на мгновение замерли, как зверьки, вмерзшие в лед: широко раскрытые глаза молили о свободе.

– Это была не Сюзи, – сказал Лен, спеша заполнить паузу. – Но можно сделать вывод, что Гарви причастен к другим убийствам, в Делавэре и Коннектикуте. Амулетик Сюзи найден, в районе Хартфорда.

Папа и мама следили, как Лен теребит тугую молнию на своем рюкзаке. Мама пригладила папины волосы и попыталась поймать его взгляд. Но папа думал только о подоплеке этого неожиданного визита – о возобновлении моего дела. И маме, которая едва начала обретать уверенность, пришлось скрыть, что ей невыносимо переживать это заново. Имя Джорджа Гарви лишило ее дара речи. Она никогда не знала, что о нем сказать. Ей казалось, что вечно ожидать его ареста и наказания – это все равно что приучать себя к жизни с врагом, тогда как сейчас важнее было научиться жить в этом мире без меня.

Лен вытащил из рюкзака большой пластиковый пакет на «молнии». Родители заметили, как внутри что-то блеснуло. Лен протянул пакет маме, и та взяла его в руки, держа на некотором отдалении.

– Разве вам это не понадобится, Лен? – спросил папа.

– Экспертиза уже проведена, – сказал он. – Место находки зафиксировано, сделаны необходимые снимки. Возможно, когда-нибудь я попрошу его обратно, но пока можете оставить себе.

– Открой пакет, Абби, – попросил папа.

Я видела: мама на весу отодвинула язычок «молнии» и склонилась над кроватью.

– Пусть хранится у тебя, Джек, – сказала она. – Это ведь был твой подарок.

Папа трясущимися руками взял пакет и не сразу нащупал в нем острые уголки металла. Потом он с осторожностью извлек подвеску, стараясь не дотрагиваться до пластика. Это мне напомнило, как в детстве мы с Линдси играли в шпионов: если коснешься какого-нибудь предмета – завоет сирена, и тогда тебе несдобровать.

– Вы уверены, что это он убил тех девочек? – спросила мама, не отрываясь от золотого камешка на папиной ладони.

– Полной уверенности не бывает, – сказал Лен.

И опять его слова прозвучали эхом из прошлого.

У Лена был определенный набор фраз. Последнюю у него позаимствовал папа, чтобы приободрить нашу семью. Жестокая фраза, способная обескровить надежду.

– Думаю, вам лучше уйти, – сказала мама.

– Абигайль! – возмутился папа.

– У меня больше нет сил.

– Буду беречь эту вещицу, Лен, – пообещал мой отец.

Перед уходом Лен приподнял воображаемую шляпу. До маминого отъезда у них случился роман, но какой-то тягостный. Близость во имя забвения. А ведь именно это влекло его теперь в квартиру над парикмахерской.

Я отправилась на юг, к Рут и Рэю, но вместо них увидела мистера Гарви. Он сидел за баранкой рыжего фургона, собранного из кусков одной и той же модели, – чудовище Франкенштейна на колесах. Кое-как прихваченный тросом капот то и дело щелкал челюстями, угрожая встречному ветру.

Двигатель наотрез отказывался превышать максимально допустимую скорость, хотя мистер Гарви что есть силы давил на педаль газа. Он провел ночь рядом с пустой могилой, и во сне его преследовало: 5! 5! 5!

Проснувшись на рассвете, он двинулся в Пенсильванию.

Силуэт мистера Гарви казался каким-то нечетким. На протяжении многих лет он гнал от себя воспоминания об убитых женщинах, но сейчас жертвы всплывали одна за другой.

Самую первую девочку он обесчестил случайно. Что-то его разозлило – и уже было не остановиться, по крайней мере, так это виделось ему по прошествии времени. После этого она перестала ходить в гимназию, куда они оба были недавно приняты, но он не придал этому значе-

ния. Его родители то и дело кочевали с места на место, и он подумал, что одноклассница тоже куда-то переехала. Он раскаивался в изнасиловании этой тихони, которая, кстати, даже не пикнула, и считал, что вскоре оно у обоих выветрится из памяти. Его толкнула к ней какая-то неведомая внешняя сила. Когда все было кончено, она еще несколько мгновений смотрела на него в упор. Бездонными глазами. Потом натянула порванные трусы и прижала их пояском юбки, чтобы не спадали. Ни один из них не произнес ни звука, и она ушла. Тогда он порезал себе руку перочинным ножиком, чтобы легче было обставиться, если отец спросит, откуда кровь: вот, мол, смотри – и вытянуть руку. Случайно порезался.

Но вопросов не последовало; никто его не искал. Ни отец той девчонки, ни брат, ни копы.

Тут я узрела очередное видение мистера Гарви. Рядом с ним возникла все та же девочка, которая умерла через пару лет после того случая – сгорела, когда ее брат заснул с сигаретой. Она расположилась на переднем сиденье. Я подумала: неровен час, он и меня начнет вспоминать.

Единственное, что изменилось с того дня, когда Мистер Гарви привез меня к Флэнагенам, – это ограждение из крашенных суриком стоек. И еще: по некоторым признакам стало видно, что клоака распространяется вширь. Южная стена сторожки покосилась, а крыльцо медленно, но верно уходило под землю.

Рэй предусмотрительно припарковался на другой стороне Флэт-роуд, под буйными зарослями кустарника. Но «шевроле» пассажирской стороной нависал над бордюром;

– Куда подевались Флэнагены? – спросил Рэй, выходя из машины.

– Папа рассказывал, что корпорация, которая выкупила землю, предоставила им другой участок, и они снялась с места. – Как-то здесь неуютно, – поежился Рэй.

Они перешли пустынную дорогу. Над ними синело небо с редкими облаками. С того места, где они стояли, можно было различить задворки автомастерской Хэла по другую сторону железной дороги.

– Неужели здесь до сих пор обретается Хэл Хэклер? – спросила Рут. – Помню, я от него тащилась.

Она повернула в сторону котлована. Дальше они шли молча. Рут двигалась по спирали, огибая края. Рэй ступал за ней след в след. Издалека мусорный коллектор выглядел совершенно безобидным – как большое заросшее болото, даже слегка подсохшее. Но если приглядеться, создавалось впечатление, будто здесь кончается земля и начинается какая-то зыбь горчичного цвета. Мягкая и бугристая, она засасывала все, что нарушало ее границы.

– Не боишься провалиться? – спросил Рэй.

– Мы с тобой не тяжелые, – ответила Рут.

– Если почувствуешь, что тебя затягивает, – дальше ни шагу.

Наблюдая за ними, я вспоминала, как держала Бали за руку в тот день, когда мы отправились «на похороны холодильника». Пока папа беседовал с мистером Флэнагеном, мы с Бакли подошли к самому краю, где земля уже размягчилась, и, клянусь, я почувствовала, как она медленно проседает у меня под ногами. Похожее ощущение возникало у меня на церковном кладбище, где среди могил были кротовьи ходы.

Между прочим, именно мысли о кротах – слепых, носатых, зубастых, – которые я почерпнула из книжек, помогли мне впоследствии примириться с тем, что я провалилась сквозь землю не как-нибудь, а в тяжелом стальном сейфе. По крайней мере, кротам было до меня не добраться.

Рут на цыпочках приблизилась к той границе, которую про себя считала краем земли, а я в это время вспоминала, как смеялся мой папа в тот давний-давний день. По дороге домой я сочинила для Бакли целую историю. Будто бы там, под землей, есть целый городок, и подземные человечки думают, что на них сыплются дары из земного рая.

– Когда к ним прилетит наш холодильник, – разошлась я, – они будут воздавать нам хвалу, потому что подземные человечки – мастера на все руки, они что хочешь соберут по частям.

Папин смех выплескивался из машины.

– Рути, – окликнул Рэй, – дальше нельзя.

Носками туфель она уже касалась зыбкой топи, а каблуками упиралась в твердый грунт; мне даже померещилось, что она сейчас вытянет руки, примет стойку ныряльщика, оттолкнется... и окажется здесь, рядом со мной. Но сзади подошел Рэй.

– Отрыжка земли, – произнес он.

Мы втроем разглядывали выплывающий наружу металлический угол.

– Здоровенный «Мэйтэг», шестьдесят девятого года выпуска, – прокомментировал Рэй.

Но зыбь медленно выдавливала из себя не стиральную машину и уж тем более не сейф, а красную газовую плиту.

– Ты когда-нибудь задумывался, где покойся тело Сюзи Сэлмон? – спросила Рут.

Я хотела выбраться из зарослей кустарника, которые наполовину скрывали их серебристо-синюю машину, перейти дорогу, остановиться у этого болота, легонько тронуть ее за плечо и крикнуть: «Я здесь! Как ты догадалась? Супер! В яблочко!»

– Нет, никогда, – ответил Рэй. – Это по твоей части.

– Как быстро здесь все меняется. Приезжаю – и каждый раз недосчитываюсь какой-нибудь старой приметы, – заметила Рут.

– Не хочешь заглянуть в сторожку? – спросил ее Рэй, а сам думал обо мне.

Как он запал на меня в тринадцать лет. Как шел за мной из школы и ему врезались в память обыденные детали: моя несуразная юбка в клетку, суконная куртка, вся в шерсти Холидея, солнечные блики на непослушных русых волосах, которые я считала мышинными. А потом, через несколько дней, на уроке истории, когда он вместо доклада на тему войны 1812 года почему-то начал зачитывать сочинение по «Джен Эйр», я одна не стала смеяться, и в моем взгляде он прочел сочувствие.

Рэй направился к обреченной сторожке, которая уже лишилась всех мало-мальски приличных дверных ручек и водопроводных кранов – их под покровом темноты свинтил мистер Коннорс. А Рут все стояла на прежнем месте. Когда Рэй переступил через порог, это и произошло. Ясно как божий день: она увидела, как я стою рядом с ней и разглядываю то место, где мистер Гарви от меня избавился.

– Сюзи, – выдохнула Рут, скрепив тем самым мое присутствие.

Но я не отзывалась.

– Я пишу тебе стихи, – проговорила она, чтобы только меня задержать.

Мечта всей ее жизни наконец-то стала явью.

– Нет ли у тебя каких-нибудь пожеланий, Сюзи?

Тут я исчезла.

Рут бросило в дрожь; она замерла в ожидании под угасающими лучами пенсильванского солнца. А у меня не шел из головы ее вопрос: «Нет ли у тебя каких-нибудь пожеланий?»

Мастерская Хэла, стоявшая по другую сторону железнодорожных путей, в тот день пустовала. Он позволил себя выходной и отвез Сэмюэла и Бакли в Рэд-нор, на выставку-продажу мотоциклов. Я видела, как Бакли, остановившись возле красного мини-байка, гладит ладошкой круглобокую резину переднего колеса. У мальчишки приближался день рождения, поэтому Хэл и Сэмюэл наблюдали за ним с особым пристрастием. Хэл собирался подарить моему брату старый альти Сэмюэла, но бабушка Линн стояла насмерть.

– Дружочек мой, – приговаривала она, – ему для разрядки нужно что-нибудь кондовое, а все эти деликатные штучки – не в коня корм.

Тогда Хэл и Сэмюэл скинулись и приобрели для моего брата подержанную барабанную установку.

Бабушка Линн завернула в торговый центр: она хотела купить моей маме что-нибудь из одежды, простое, но элегантное, чтобы дочь согласилась хоть немного приодеться. Наловчившись за долгие годы практики, она подошла к стойке с черными платьями и, как по волшебству, вытащила единственное темно-синее. Оказавшаяся рядом покупательница – я сама видела – просто изошла от зависти.

В больнице мама читала моему отцу вчерашний номер «Ивнинг Бюллетин», а он следил за движениями ее губ и совсем не слушал. Он хотел поцеловать ее. И Линдси.

У меня на глазах мистер Гарви среди бела дня свернул в направлении нашего квартала. Он всегда действовал внагиак, полагаясь на свою неприметную внешность, – даже здесь, где люди поклялись, что никогда его не простят, где поговаривали, будто у него мозги набекрень, где заподозрили, что покойная жена, которую он называл разными именами, была на самом деле одной из его жертв.



Линдси в тот день осталась одна.

В районе якорной застройки мистер Гарви проехал мимо дома Нейта. Мать семейства обрезала увядшие цветы на своей любимой клумбе, очертаниями напоминающей фасолину. Заслышав шум мотора, она подняла голову. Самодельный рыжий фургон был ей незнаком: она решила, что кто-то из повзрослевших местных ребят пригласил на каникулы университетских друзей. Сидящего за баранкой мистера Гарви она не узнала. Тот свернул налево, на дорогу местного значения, которая вела к той самой улице, где когда-то стоял его дом. У моих ног завыл Холидей, да так жалобно, будто плакал на пути к ветеринару.

Руана Сингх не обернулась. Через окно столовой мне было видно, как она сортирует по алфавиту новые книги, чтобы расставить их на безупречных полках. В каждом дворе играли дети: одни взлетали на качелях, другие осваивали ходули, третьи гонялись друг за дружкой с водяными пистолетами. И все они могли стать жертвами.

За поворотом нашей улицы был городской сквер, по другую сторону которого жили Гилберты. Пожилая чета сидела дома: хозяин тяжело болел. Вскоре мистер Гарви завидел свой старый дом, давно перекрашенный в другой цвет, хотя для меня и моих родных он навсегда остался «зеленым домом». Новые владельцы предпочли розовато-лиловые тона, выкопали бассейн, а с той стороны, куда выходило подвальное оконце, поставили беседку из красного дерева, которая теперь была увита плющом и завалена детскими игрушками. Цветочные бордюры утонули под слоем цемента, потому что хозяевам понадобилось расширить подъездную аллею. А еще они застеклили веранду морозостойким стеклом, сквозь которое можно было разглядеть что-то вроде кабинета. Во дворе за домом звучал детский смех. Из дверей вышла женщина в панаме, с садовыми ножницами в руках. Она долгим взглядом проводила водителя рыжего фургона, и тут ее что-то толкнуло изнутри, как тошнота, поднимающаяся из пустого желудка. Резко развернувшись, она ушла в дом и притаилась за занавеской. Мало ли что.

Он проехал еще несколько домов.

Вот и она, моя бесценная сестренка. Он засек ее в окне второго этажа. Стрижка под мальчика, от детской пухлости не осталось и следа, но это была она – сидя за чертежной доской, служившей ей письменным столом, читала книгу по психологии.

В тот миг я увидела странную процессию.

Пока он разглядывал окна нашего дома и гадал, где находятся другие члены семьи и хромает ли по-прежнему мой отец, я увидела останки зверей и женщин, которые покидали дом мистера Гарви и устремлялись дальше. А он следил за моей сестрой и вспоминал простыни, натянутые на каркас брачного шатра. В тот день, глядя прямо в глаза моему отцу, он запросто произнес мое имя. Ага, ведь была еще собака, которая, что ни день, завывала у его дома, но эта пустилайка наверняка сдохла.

Линдси пошевелилась за оконным стеклом, и я увидела, что он не сводит с нее глаз. Она встала и повернулась спиной, направляясь в глубь комнаты, к книжному стеллажу. Протянула руку, сняла с полки еще одну книгу. Потом вернулась к своему рабочему месту, и взгляд мистера Гарви задержался на ее лице, но тут в зеркале заднего вида показалась черно-белая патрульная машина, которая медленно приближалась сзади.

Надежды оторваться уже не было. Тогда, устроившись поудобнее, он приготовился в последний раз надеть маску, десятилетиями скрывавшую его от служителей закона, – маску добропорядочного гражданина, которого можно жалеть или презирать, но нельзя ни в чем обвинить. Патрульный офицер притормозил; вереница женщин скользнула в фургон; кошки свернулись на полу.

– Сбились с дороги? – спросил молодой полицейский, приблизившись к оранжевому фургону.

– Я здесь когда-то жил, – ответил мистер Гарви.

Обалдеть. Это была чистая правда.

– К нам поступил вызов. Сказали: подозрительная машина.

– Вижу, кукурузное поле нынче застраивается, – сказал мистер Гарви.

А я знала, что все частички моего тела, которые он унес с собой, могли в этот момент устремиться вниз и по отдельности рухнуть к нему в фургон.

– Здесь будет новый школьный корпус.

– То-то я и смотрю: район теперь выглядит побогаче, – с грустью промолвил мистер Гарви.

– Думаю, вам лучше продолжить движение, – сказал полицейский.

Ему было неловко разглядывать рыжую колымагу, но на всякий случай, как я успела заметить, он черкнул у себя в блокноте ее номер.

– Сожалею, если я кого-то напугал.

В своем деле мистер Гарви был настоящим профи, но в тот миг мне уже было на него плевать. Чем дальше он уезжал, тем пристальнее я смотрела на Линдси, которая читала учебники и впитывала факты – такая умница, такая невредимая. В «Тэмпле» она решила учиться на психотерапевта. А я размышляла о том, какая причудливая смесь осталась висеть в воздухе: газон перед нашим домом, дневной свет, мучимая тошнотой соседка, полицейский. Не это ли счастливое стечение обстоятельств уберегло сегодня мою сестру? Каждый день – знак вопроса.

Рут так и не призналась Рэю, что же с ней произошло. Она решила для начала занести это в дневник. Когда они переходили дорогу, возвращаясь к машине, Рэй заметил, что огромный вал, куда свозили землю после рытья котлованов под новые строения, зарос кустарником, испещренным фиолетовыми звездочками.

– Это барвинок, – определил Рэй. – Надо собрать для мамы букет.

– Валяй! Можешь не торопиться, – сказала Рут.

Рэй нырнул в невысокие заросли, которые начинались прямо за водительской дверцей, и стал карабкаться по цветущему склону, а Рут осталась у машины. Сейчас Рэй не думал обо мне. Он думал об улыбке своей матери. Верный способ заставить ее улыбаться – это привезти ей букет полевых цветов, хотя бы таких, как эти, которые можно засушить: сначала она расправит каждый лепесток, а потом уложит цветы между черно-белыми страницами словарей и справочников. Рэй добрался до самой вершины вала и решил обследовать противоположный склон.

Как только он исчез из виду, у меня по спине пробежал холодок. Рядом со мной хрипло и глухо залаял Холидей, и тут я поняла: если он так надрывается, то это не по Линдси. Между тем мистер Гарви, добравшись до заставы Илз-Ррд, увидел свалку и оранжевые стойки ограждения, точь-в-точь под цвет его колымаги. Там он в свое время избавился от одного трупа. Ему вспомнился матушкин янтарный кулон: когда она сунула это украшение ему в руки, оно было еще теплым.

Рут привиделся фургон, а за окном – женщины в окровавленных лохмотьях. Ее неудержимо потянуло на дорогу. Напротив того места, которое стало мне могилой, мимо нее прогрохотал мистер Гарви. Но Рут видела только этих женщин. Потом – темнота.

В этот миг я упала на Землю.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Рут упала на дорогу. Это я сама видела. Мистер Гарви, никем не замеченный, никем не любимый, никому не нужный, унесся прочь – это я пропустила.

Потеряв равновесие, я стала обреченно клониться вбок. Вывалилась через открытую дверцу своего наблюдательного пункта, понеслась по траве и пересекла дальнюю границу той небесной сферы, где обитала все эти годы.

В воздухе, прямо над мной, колоколом зазвенел голос Рэя:

– Рут, что с тобой?

Подбежав, он схватил ее за плечи.

– Рут! Рут! – кричал он. – Что случилось?

А я была в ее глазах и смотрела вверх. Спину терзало грубое дорожное покрытие, под одеждой ныли кровавые ссадины. Все ощущения стали моими – тепло солнечных лучей, запах асфальта; вот только увидеть Рут я не могла.

У нее клочкотало в груди, сводило живот, но легкие еще втягивали воздух. Вдруг по телу прошла судорога. По ее телу. Сверху нависало лицо Рэя: веки подрагивали, а глаза без всякой надежды обшаривали пустынную дорогу, где неоткуда было ждать помощи. Он не заметил ту машину. Пробиваясь сквозь кустарник, он радостно сжимал в руке букетик полевых цветов, собранных ДЛЯ матери, – и тут увидел Рут, распростертую на асфальте.

Рут билась своей оболочкой, ища выход. Она боролась за то, чтобы вырваться оттуда навсегда, но я, вселившись в нее, не отпускала. Хотела ее удержать, молила о невозможном, а она вырывалась. Никакая сила не смогла бы ее остановить, прервать ее полет. Сколько раз я

смотрела на нее с неба, а теперь видела только смутное пятно рядом с собой. Неистовство и гнев поднимали ее ввысь.

– Рут, – повторял Рэй, – ты меня слышишь?

Перед тем как у нее вырвался последний вздох, с которым угас свет дня и мир утратил рассудок, я увидела серые глаза Рэя Сингха, смуглую кожу и губы, которые однажды поцеловала. А потом, точно рука, выдернутая из беспощадного захвата, Рут промелькнула мимо него.

Рэй звал меня взглядом. Утратив желание наблюдать со стороны, я преисполнилась другим, мучительным желанием. Снова ходить по Земле. Не смотреть сверху, а просто быть – упоительный дар! – подле него.

Где-то в синем-синем Межграницье мы с Рут уже повстречались: когда я падала на Землю, она пролетала мимо. Но это была не призрачная тень человеческой фигуры. Это была молодая особа, себе на уме, для которой не писаны никакие правила.

Я проникла в ее оболочку.

С небес меня кто-то звал. Оказалось, это Фрэнни. Она бежала к башне, выкрикивая мое имя. Холидей захлебывался оглушительным лаем. Потом вдруг и Фрэнни, и Холидей исчезли; наступила тишина. Какой-то груз придавил меня к земле; в моей руке была чья-то ладонь. В ушах, как в бездонном океане, тонуло все, что я знала: голоса, лица, события. Впервые с момента смерти я разомкнула веки. На меня смотрели серые глаза. Я так и застыла, когда до меня дошло, что за тяжесть давила сверху: это была тяжесть человеческого тела.

Я попыталась заговорить.

– Тихо, – предостерег меня Рэй. – Как ты?

Умерла, хотела сказать я. Но у кого повернется язык сказать: «Я умерла, а теперь оживаю»?

Рэй стоял на коленях. На асфальте и у меня на груди пестрели полевые цветы, собранные для Руаны. Несколько лепестков яркими каплями упали на темную одежду Рэя. Потом он наклонился и прижал ухо к моей грудной клетке. Нашупал у меня на запястье пульс.

– У тебя был обморок? – спросил он, убедившись, что сердце бьется.

Я кивнула. Мне было ясно, что такая милость пребудет со мной на Земле не вечно, что желание Рут окажется мимолетным.

– Все пройдет, – выдохнула я, но так слабо и так далеко, что Рэй не услышал. Тогда я изо всех сил постаралась широко раскрыть глаза и поймать его взгляд. Какая-то сила поднимала меня с асфальта. Я подумала, что улываю к себе на небеса, но оказалось, это была попытка встать на ноги.

– Рут, – позвал Рэй, – не двигайся, ты очень слаба. Давай-ка я тебя донесу до машины.

Моя улыбка полыхнула тысячеваттной вспышкой:

– Я могу идти.

Не сводя с меня глаз, Рэй медленно отпустил мой локоть, но по-прежнему держал за руку. Он помог мне подняться, и цветы посыпались на дорогу. На небесах женщины бросали к ногам розовые лепестки при виде Рут Коннорс.

Его прекрасное лицо тронула изумленная улыбка.

– Жива, – сказал он, осторожно приблизив ко мне лицо, чтобы проверить зрачки.

Я ощущала вес телесной оболочки Рут, ее роскошные груди и пышные бедра, но знала, что на мне лежит невероятная ответственность. Моя душа вернулась на Землю. Прилетела с неба в самоволку – и получила такой подарок. Усилием воли я заставила себя выпрямиться.

– Рут?

Непривычно было слышать такое обращение.

– Да? – отозвалась я.

– Ты какая-то не такая, – сказал он. – Что-то переменилось.

Мы стояли посреди дороги, и это был мой час. Мне так много хотелось ему сказать, но что тут скажешь? Я – Сюзи; времени в обрез». Мне не хватило решимости признаться; вместо этого я попросила:

– Поцелуй меня.

– Что-о-о?

– Не хочешь? – Я тронула пальцами его подбородок, на котором восемь лет назад еще не пробивалась эта легкая щетина.

– Что с тобой стряслось? – недоуменно спросил он.

– Кошка падает с десятого этажа и приземляется на все четыре лапы. Ты ведь о таком читал, хотя сам не видел.

Заинтригованный, Рэй не спускал с меня взгляда. Он наклонил голову, и наши губы мягко соприкоснулись. Меня словно пронзило насквозь. Еще один поцелуй, драгоценная награда, украденный подарок. Его лаза были так близко, что я различала на сером фоне зеленые искорки.

Держась за руки, мы молча двинулись к машине. Он держался чуть позади, не выпуская из поля зрения тело Рут.

Потом он открыл дверцу пассажирского места, я опустилась на сиденье и поставила ноги на коврик. Обойдя с другой стороны, он сел за руль и пристально взгляделся в мое лицо.

– В чем дело? – спросила я. Он еще раз легонько поцеловал меня в губы. Как давно я об этом мечтала. Время остановилось, и я упивалась этим моментом. Касание его губ, легкое покалывание щетины, звук поцелуя, с которым разомкнулись наши губы, а потом соприкоснулись вновь и опять разъединились с какой-то жестокой решимостью. Этот звук эхом отдавался в гулком тоннеле одиночества, откуда я могла лишь наблюдать, как соприкасаются и ласкают друг друга те, кого я знала на Земле. Меня никогда так не ласкали. Прикосновения чужих рук, не ведающих нежности, причинили мне только страдание и боль. Но после смерти за мною на небеса протянулся бледный луч, неуверенный и робкий: поцелуй Рэя Сингха. Каким-то чудом Рут это поняла.

У меня застучало в висках: да, я прячусь в оболочке Рут, но только до того предела, когда меня берет за руку и целует Рэй, потому что за этой чертой начинаюсь я, за ней царят мои желания, здесь мне самой, а не Рут, хочется вырваться из телесной оболочки. Я увидела Холли. Она смеялась, запрокинув голову. Потом жалобно завыл Холидей почуяв, что я ушла от него туда, где мы с ним раньше обитали вместе.

– Куда? – спросил Рэй.

Всеохватный вопрос, ответы без конца и края. У меня не было ни малейшего желания преследовать мистера Гарви. Взглянув на Рэя, я поняла, зачем я здесь. Чтобы унести с собой кусочек неба, доселе мне неведомый.

– В мастерскую Хэла Хеклера, – твердо сказала я.

– Зачем?

– Ты спросил, я ответила.

– Рут?

– Что?

– Можно тебя еще раз поцеловать?

– Нужно, – вспыхнула я.

Под урчание двигателя наши губы соединились вновь, и тут на мгновение появилась Рут, дающая наставления старикам в беретах и глухих черных свитерах: те держали на ветру мерцающие зажигалки, скандируя нараспев ее имя.

Рэй отстранился:

– Что-то не так?

– Когда мы целуемся, я уношусь на небеса, – сказала я.

– И что там хорошего?

– Для кого как.

– А точнее? – улыбнулся он. – Изложи факты.

– Полюби меня, тогда изложу.

– Ты в уме? – спросил он, а я про себя отметила: не догоняет.

– Движок прогрелся, – бросила я вместо ответа.

Он дернул за блестящий хромированный рычаг справа от руля, и мы тронулись с места как ни в чем не бывало – парень с девушкой решили прокатиться. Когда Рэй разворачивался, старый, залатанный тротуар блеснул на солнце искорками слюды.

В самом конце Флэт-роуд я показала ему грунтовую дорогу к заставе Илз-Род, от которой было недалеко до переезда.

– Скоро эти места будет не узнать, – сказал Рэй, резко свернув с гравия на укатанную землю.

Железнодорожная ветка соединяла Гаррисберг с Филадельфией; все близлежащие дома

шли на слом, старожилы переселялись кто куда, а их участки захватывали промышленники.

– Ты после университета останешься здесь? – спросила я.

– Здесь никто не останется, – ответил Рэй. – Это и ежу понятно.

У меня захватило дух. Вот что значит возможность выбора. Подумать только: на Земле я могла бы уехать в другой город, куда угодно. И тут я задумалась: возможно ли такое на небесах? Ведь за минувшие годы меня ни разу не потянуло к перемене мест – может, оттого, что и мыслей таких не было?

Мы заехали на расчищенную полосу земли перед мастерской Хэла. Рэй остановил машину.

– Что мы тут забыли? – спросил он.

– Ну и вопрос! Нам же надо кое-что разведать, – ответила я.

Мы обошли мастерскую сзади, я пошарила над притолокой и достала ключ.

– Как ты догадалась?

– Будто я не знаю, где ключи прячут! – ответила я. – Тут большого ума не надо.

Внутри ничего не изменилось; в носшибанул резкий запах смазки. Я сказала:

– Пойду в душ. А ты располагайся.

Возле топчана болтался электрический шнур. На ходу я щёлкнула выключателем, и над лежанкой загорелась россыпь крошечных белых огоньков – другого источника света в камере не было, если не считать маленького пыльного оконца в задней стене.

– Какой еще душ? – спросил Рэй. – И вообще, откуда ты знаешь про эту халупу? – В его голосе звучало беспокойство, которого прежде не было.

– Имей терпение, Рэй, – сказала я. – Скоро объясню.

Зайдя в тесную ванную, я не стала плотно закрывать дверь. Стянула с себя одежду. Рут и ждала, пока нагреется вода; мне не терпелось, чтобы Рут меня заметила, чтобы она увидела свое тело так, как видела его я, во всей безупречной, живой красоте.

В этом закутке было душно и сыро; ванну разъедали вековые пятна – видимо, в нее сливали все, что течет. Я открыла горячий кран на полную мощность, но все равно дрожала от озноба. Тогда я окликнула Рэя. Позвала его в ванную.,

– Занавеска прозрачная, – сказал он, отводя взгляд.

– Ну и что? – сказала я, – Это неплохо. Раздевайся, иди ко мне.

– Сюзи, ты же знаешь, я не такой.

У меня захолонуло сердце.

– Что-что? – Я уставилась на него сквозь полотнище тонкого белого пластика, которое Хэл приспособил вместо занавески, но увидела только темный силуэт, обрамленный точечками света.

– Говорю тебе, я не из таких.

– Ты назвал меня Сюзи.

Он помолчал, потом отдернул занавеску и, стараясь смотреть только на мое лицо и больше никуда, переспросил:

– Сюзи?

– Иди ко мне, – повторила я, едва сдерживая слезы. – Прошу тебя, иди ко мне.

Я зажмурилась и стала ждать. Горячие струи покалывали мне щеки, шею, груди, живот, бедра. Было слышно, как Рэй зашевелился; ремень со стуком упал на пол, из карманов посыпалась мелочь.

На меня нахлынуло предчувствие, знакомое с детства: когда родители брали меня кататься на машине, я сворачивалась калачиком на заднем сиденье и закрывала глаза, твердо зная, что в конце прогулки меня возьмут на руки и внесут в дом. Такое предчувствие рождается из доверия.

Рэй отдернул занавеску. Я развернулась к нему лицом и открыла глаза. Внизу живота сладко заныло.

– Залезай, – сказала я.

Он медленно переступил через край ванны. Сперва у него не хватило духу ко мне притронуться, но потом его палец осторожно коснулся небольшого шрама у меня на боку. Мы вместе смотрели, как палец движется по рваной полоске плоти.

– В семьдесят пятом, – напомнила я, – Рут получила травму на волейбольной площадке.

Меня снова затрясло.

– Ты – не Рут, – выговорил он, не веря себе.

Поймав его руку, которая дошла до конца старого пореза, я положила ее себе под левую грудь и сказала:

– Я давно к тебе присматривалась. Люби меня.

Его губы приоткрылись, но слова, которые вертелись на языке, были до того странными, что не произносились вслух. Когда Рэй подушечкой большого пальца тронул мой сосок, я привлекла к себе знакомое с детства смуглое лицо. Мы поцеловались. Водяные струи сбегали между нашими телами, увлажняя пучки темных волос, пробивающиеся у него на груди. Целуя его, я хотела видеть Рут, я хотела видеть Холидея, я хотела убедиться, что они тоже видят меня. Под душем можно было плакать в открытую, и Рэй ловил губами мои слезы, недоумевая, почему они хлынули в три ручья.

Я прикасалась к нему и задерживала руки там, где мне хотелось. Поддержала в ладони его локоть. Пропустила между пальцами темные завитки внизу живота. Скользнула ниже, к тому стержню, какой насильно загонял в меня мистер Гарви. В голове мелькнуло: вот оно, благо. А потом: вот оно, благоденствие.

– Рэй?

– Не знаю, как тебя называть.

– Сюзи.

Чтобы предотвратить расспросы, я накрыла ему рот ладонью.

– Помнишь, как ты мне написал записку? Помнишь свою подпись: «Мавр»?

Мы оба на мгновение замерли; бусины воды, скопившиеся у него на плечах, сбежали вниз.

Без лишних слов он оторвал меня от ржавого днища, и я обвила ногами его бедра. Избегая горячих струй, он нашел опору – край ванны. Когда он оказался во мне, я обхватила ладонями его лицо и впиалась ему в губы.

Прошла минута, а то и больше; он отстранился.

– Теперь говори, что там хорошего.

– Иногда похоже на старшую школу, – задыхаясь, призывалась я. – Мне так и не довелось в ней поучиться, зато на небесах можно разводить костер прямо в классе, носиться по коридорам, орать во все горло. А иногда все по-другому. Точь-в-точь как Новая Шотландия, или Танжер, или Тибет. Любое место, какое раньше виделось только в мечтах.

– А Рут сейчас там?

– Рут пока ведет разговоры, но впоследствии туда вернется.

– А ты сейчас там? Тебе себя видно?

– Нет, я сейчас здесь, – сказала я.

– Но скоро исчезнешь.

Я не стала его обманывать. Только склонила голову.

– Верно, Рэй. Это так.

И нас захватила любовь. Из душа мы перебрались на топчан, под ненастоящие звезды. Пока Рэй отдыхал, я расчерчивала поцелуями его спину, благословляя каждую мышцу, каждую родинку, каждое пятнышко.

– Не исчезай. – Он закрыл блестящие агатовые глаза, и я почувствовала легкое и ровное дыхание сна.

– Меня зовут Сюзи, – шептала я. – Фамилия – Сэлмон, как «лосось». – Опустив голову ему на грудь, я уснула рядом с ним.

Когда я открыла глаза, окошко в дальней стене было залито темным багрянцем, и мне сразу стало ясно, что времени осталось совсем мало. За окном жил и дышал тот мир, который годами открывался мне только со стороны, а сейчас я находилась на той же Земле. Но уже знала, что больше сюда не приду. Отпущенный мне срок я потратила на любовь – против нее я оказалась бессильна, как не была бессильна даже перед лицом смерти; это было бессилие всего сущего, темный багрянец человеческой слабости, движение вслепую, когда на ощупь огибаешь углы, чтобы раскрыть объятия свету, – все, без чего не бывает открытия неизведанного.

Тело Рут обмякло. Опершись на локоть, я не сводила глаз со спящего Рэя. Совсем скоро мне предстояло его покинуть.

Прошло еще немного времени, и он проснулся. Я обвела пальцем его лицо:

– Тебе случается думать о мертвых, Рэй?

Он недоуменно моргнул:

– Вообще-то я учусь на медицинском факультете.

– Нет, трупы, болезни, омертвление тканей – это другое. Я имею в виду то, о чем утверждает Рут. Я имею в виду нас.

– Случается, – ответил он. – Мне давно не дает покоя этот вопрос.

– Знай: мы не так уж далеко, – сказала я. – Мы все время здесь. С нами можно разговаривать, о нас можно думать. И в этом нет ничего страшного, никакой трагедии.

– А еще разок обнять тебя можно? – Он отбросил одеяло и сел.

Тогда-то я и увидела какую-то тень в изножье чужого топчана. Смутную и неподвижную. Я убеждала себя, что это не более чем причудливая игра света, столбик пыли в лучах заката. Но когда Рэй коснулся меня рукой, я ничего не почувствовала.

Наклонившись, он поцеловал меня в плечо. Я и этого не почувствовала. Ущипнула себя под одеялом. Ничего.

Тем временем туманное облачко стало принимать какие-то очертания. Рэй выскользнул из постели, и я увидела, как эта каморка заполняется людьми.

– Рэй, – окликнула я, пока он еще не скрылся в ванной: хотела сказать «я по тебе скучаю», «не уходи», «спасибо тебе».

– Что?

– Непременно почитай дневники Рут.

– Будь спокойна, – сказал он.

Сквозь тени, столпившиеся в ногах топчана, я разглядела его улыбку. Его великолепную стройную фигуру, которая тут же скрылась в дверном проеме. Мимолетное, внезапное воспоминание.

Когда из ванной повалили клубы пара, я потянулась к старому детскому столику, на котором у Хэла валялись кипы счетов и каких-то записок. Мои мысли снова обратились к Рут: как же я проглядела приближение этого момента, этой фантастической возможности, о которой мечтала Рут с того самого дня, когда столкнулась со мной на школьной стоянке. Зато мне стало ясно другое: и на Земле, и на небесах я жила мечтами. Мечтала снимать диких животных, на первом курсе получить «Оскара», еще раз поцеловаться с Рэем Сингхом. И вот, пожалуйста!

На столике стоял телефон. Я сняла трубку. Недолго думая, набрала наш домашний номер, точно код замка, который пальцы вспоминают сами.

После третьего сигнала на другом конце провода ответили:

– Алло?

– Привет, Бакли, – сказала я.

– Кто говорит?

– Это я, Сюзи.

– Кто это?

– Сюзи, малыш, – твоя сестра.

– Ничего не слышно, – сказал он.

С минуту я просто смотрела на телефон, а потом ощутила их присутствие. В комнате стало тесно от безмолвных теней. Среди них были и дети, и взрослые. «Вы кто? И откуда взялись?» – вопрошала я, но мой голос не нарушал тишину. В этот миг я заметила странную перемену. Сидя на топчане, я наблюдала за прочими, а у столика, уронив голову на скрещенные руки, недвижно замерла Рут.

– Эй, кинь полотенце! – Рэй выключил душ.

Не получив ответа, он отдернул занавеску. Мне было слышно, как он выбрался из ванны и пошлепал к порогу. Опрометью бросился к Рут. Потряс ее за плечо, и она сонно подняла голову. Их глаза встретились. Ей не пришлось пускаться в объяснения. Он и сам понял, что я исчезла.

Помню, как мы (Линдси, я и Бакли) возвращались откуда-то с родителями по железной дороге, и наш поезд въехал в темный тоннель. Вторично покидать Землю – это примерно то же самое. Пункт назначения при всем желании не пропустишь, за окном знакомые места. Но если в первый раз меня отдирали от Земли с кровью, то теперь сопровождали, и я уже знала: нам предстоит долгий путь в дальние-дальние края. Вторично покинуть Землю оказалось проще, чем пробиться сюда с неба. В каморке за мастерской Хэла я повидала двух своих друзей, которые молча сжимали друг друга в объятиях, но еще не решались заговорить вслух о том, что между

ними произошло. Рут еще никогда в жизни не знала такой усталости и такого счастья. А Рэй начал мало-помалу осмысливать то, что случилось, и задумываться о будущих возможностях.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

На следующее утро запах домашних пирогов прокрался вверх по лестнице и просочился в комнату Рэя, лежавшего в постели с Рут. Их мир в одночасье изменился. И этим все сказано.

Прежде чем уйти из мастерской Хэла, они постарались уничтожить следы своего пребывания, а потом направились к Рэю домой и всю дорогу молчали. Ближе к полуночи Руана заглянула в комнату и, увидев, как они, полностью одетые, спят в обнимку, порадовалась, что у Рэя наконец-то появилась девушка – на вид не от мира сего, но лучше уж такая, чем вообще никакой.

Часа в три ночи Рэй заворочался, потом сел и посмотрел на Рут. При виде этих длинных, нескладных конечностей и великолепного тела, которое вчера было в его власти, на него нахлынуло благодарное тепло. Рука невольно потянулась, чтобы ее погладить, и в этот миг из окна на ковер упала полоса лунного света, стрелкой указав туда, где Рэй – я свидетельница – всегда любил сидеть над книгами. Его взгляд пробежал по лунной дорожке. Она вела точно к тому месту, где Рут бросила свою сумку.

Осторожно, чтобы не потревожить спящую Рут, он соскользнул с кровати. В сумке лежал дневник. Достав его, Рэй начал читать:

«На кончиках перьев воздух, у основания – кровь. Я подбираю косточки; скорблю, что они, как разбитое стекло, не знают света... и все же пытаюсь собрать эти осколки воедино, скрепить, чтобы убитые девочки ожили».

Он пролистал несколько страниц:

«Пенн-Стейшн, тесная ванная, борьба, удар о раковину. Женщина постарше».

«Квартира. Ц. –Ав. Муж и жена».

«Крыша на Мотт-стрит, девочка-подросток, застрелена».

«Время? Девочка в Ц. п. идет к зарослям. Белый кружевной воротничок, фасонный».

Рэя охватил невыносимый холод, но он, не поднимая головы, читал дальше, пока Рут не зашевелилась.

– Я должна тебе многое рассказать, – произнесла она.

Дежурная медсестра помогала моему отцу устроиться в кресле-каталке, пока мама и Линдси сутились в палате, собирая нарциссы, чтобы взять их домой.

– Сестра Элиот, – сказал он, – я всегда буду помнить вашу доброту, но надеюсь, мы с вами теперь долго не увидимся.

– Я и сама на это надеюсь. – Сестра Элиот повернулась к моим родным, которые неловко стояли в стороне. – Бакли, у мамы и Линдси руки заняты. Кресло поручается тебе.

– Особо не разгоняйся, Бак, – сказал мой папа.

Я смотрела, как они гуськом тянутся к лифту: впереди Бакли с моим папой, следом Линдси, а за ней мама, обе с охапками влажных нарциссов.

Когда они спускались в лифте, моя сестра начала изучать нежно-желтые горлышки цветов. Она вспомнила, как в день первой траурной церемонии Сэмюэл и Хэл наткнулись в поле на букетик желтых нарциссов. Откуда он там взялся – так никто и не узнал. По примеру Линдси моя мама тоже стала разглядывать цветы. Она ощущала прикосновение моего брата и понимала, что наш отец, который с изможденным, но довольным видом сидел в хромированном больничном кресле, радуется предстоящему возвращению домой. А когда они дошли до вестибюля и двери открылись, чтобы их выпустить, я уже знала, что им предназначено остаться одним. Вчетвером.

От чистки и резки яблок у Руаны уже распухли руки; за работой она отважилась произнести в уме слово, которого избегала много лет: развод. К этому ее исподволь подтолкнули неумелые, но крепкие объятия ее сына и Рут. Она уже не помнила, когда ложилась спать одновременно с мужем. Тот расхаживал по комнате, как призрак, а потом, как призрак, проскальзывал под одеяло, почти не сминая постель. Он никогда не распускал руки, в отличие от тех мужей, которых клеймят газеты и телевидение. Но его отсутствие ранило хуже побоев. Даже если он приходил домой, садился с ней за стол и съедал все, что бы она ни приготовила, его как будто не было рядом.

Услышав, что в ванной наверху включили воду, она решила для приличия выждать, прежде



чем позвать их к завтраку. Рано утром ей позвонила моя мама, чтобы поблагодарить за те сведения, которые получила от нее по телефону, когда была в Калифорнии, и Руана задумала по такому случаю испечь для нашей семьи пирог.

После того как Рут с Рэем получили по чашке кофе, она попросила сына, пока еще не слишком поздно, проводить ее к Сэлмонам и без лишнего шума оставить пирог у них на крыльце.

– Поскакали с пирогами! – вставила Рут.

Руана бросила на нее укоризненный взгляд.

– Не сердись, мам, – сказал Рэй, – вчера у нас был тяжелый день.

А про себя подумал: так она и поверила...

Повернувшись к плите, Руана достала один из двух испеченных пирогов и подала его к столу; из отверстий, проделанных в румяной корочке, поплыл изумительный аромат.

– Позавтракаете? – предложила она.

– Богиня! – воскликнула Рут.

Руана улыбнулась:

– Ешьте, сколько душе угодно, и одевайтесь. Можем поехать все вместе.

Поглядев на Рэя, Рут ответила:

– Вообще-то, у меня намечены кое-какие дела – я к вам попозже загляну.

Хэл привез барабаны, отрегулированные по высоте для моего брата. У них с бабушкой Линн было на этот счет полное единодушие: хотя до тринадцатилетия Бакли оставалась еще пара недель, он просто не находил себе места.

Сэмюел не поехал с Линдси и Бакли встречать моих родителей из больницы. Для них возвращение домой обещало быть вдвойне знаменательным. Моя мама неотлучно сидела с отцом двое суток. За это время мир изменился – и для них, и для всей нашей семьи.

Более того, теперь я видела, что перемены на этом не закончатся. Невзирая ни на что.

– Знаю, еще рановато, – сказала бабушка Линн; – Но тем не менее: что будете пить, мальчишки?

– Вроде бы нам обещали шампанское, – отозвался Сэмюел.

– Это позже, – возразила бабушка. – А пока могу предложить аперитив.

– Я пас, – сказал Сэмюел. – Хочу дождаться Линдси.

– А ты, Хэл?

– Нет, мне еще сегодня учить Бака стучать на ударных.

Бабушка Линн сильно сомневалась, что все знаменитые джазисты были трезвенниками, но спорить не стала.

– Что ж, тогда насладимся искристой водичкой со льдом.

Она вернулась на кухню. После смерти я прикипела к ней сильнее, чем могла себе представить в земной жизни. Не поручусь, что в тот момент она решила завязать с выпивкой; но теперь до меня дошло, что привычка заглядывать в рюмку составляла одну из черточек ее удивительного характера. По мне, если эта слабость была самым большим ее грехом, то и на здоровье.

Бабушка Линн достала из морозильника формочки со льдом и над раковиной извлекла кубики. Ровно семь штук в каждый бокал. Повернув кран, она немного выждала, чтобы вода стала как можно холоднее. Ее Абигайль вот-вот вернется домой. Ее сумасбродная Абигайль, ее любимица.

Но пока, глядя в окно, она могла поклясться, что возле дворовой крепости Бакли сидит девушка, одетая по моде ее юности, и смотрит на нее в упор. В следующее мгновение девушка исчезла. Бабушка тряхнула головой. Наверно, почудилось от переутомления. Лучше об этом помалкивать.

Когда папина машина свернула на подъездную аллею, у меня возникло сомнение: этого ли я ждала – чтобы моя семья направилась домой, а не ко мне? Чтобы все радовались друг другу в мое отсутствие?

При свете дня мой папа стал как-то ниже ростом и тоньше в кости, но его глаза светились благодарностью, чего не случалось многие годы.

А мама с каждой минутой подходила к мысли о том, что, возможно, она все-таки приживется дома.

Все четверо, как по команде, вышли из машины. Бакли, выбравшись с заднего сиденья,

бросился к моему отцу: тот мог бы обойтись без посторонней помощи, но Бакли, видно, хотел оградить его от мамы. Линдси, привыкшая все держать под контролем, следила за ним поверх капота. Она несла ответственность за семью – так же, как мой брат; так же, как мой отец. Повернув голову, она встретила мамин взгляд, устремленный на нее сквозь букет желтых нарциссов.

– Что-то не так? – спросила Линдси.

– Ты – копия папиной матери, – ответила моя мама.

– Не забыть бы сумки, – сказала в ответ моя сестра.

Они вдвоем подошли к багажнику, а Бакли повел папу к крыльцу;

Линдси уставилась в темное чрево багажника. У нее был один-единственный вопрос:

– Ты снова его бросишь?

– Я сделаю все, чтобы этого не произошло, – выговорила моя мама, – но обещать не могу.

Линдси медленно подняла голову и встретила ее вызывающий взгляд; точно такой же вызов был и в глазах повзрослевшей до срока девочки, чья жизнь потекла быстрее с того дня, когда полицейские объявили, что на земле слишком много крови, а значит, дочери/сестры/ребенка нет в живых.

– Мне все про тебя известно.

– Хорошо, что предупредила.

Моя сестра достала из багажника сумку. Вдруг они услышали радостный вопль. На крыльцо выскочил Бакли.

– Линдси! – Его серьезность как рукой сняло: это был жизнерадостный пухлый ребенок. – Иди посмотри, что мне привез Хэл!

Бакли ударил в барабан. И сразу, не останавливаясь, – еще, еще и еще. Через пять минут этой какофонии один лишь Хэл сохранял способность улыбаться. А все остальные заглянули в ближайшее будущее: там их ждал несмолкаемый грохот.

– Не пора ли освоить щеточки? – предложила бабушка Линн.

Хэл не возражал.

Моя мама протянула бабушке нарциссы и под тем предлогом, что ей надо в ванную, сразу же поднялась наверх. Все поняли, куда она пошла: в бывшую мою комнату.

Она стояла на пороге совсем одна, как на океанском берегу. Комната по-прежнему была оклеена бледно-лиловыми обоями. Все та же мебель, за исключением бабушкиного кресла.

– Я люблю тебя, Сюзи, – проговорила она.

Эти слова меня просто сразили, ведь в последнее время их повторял мне только отец, но в глубине души я, конечно, ждала их от мамы. Ей потребовалось немало времени, чтобы проверить, не сокрушит ли ее эта любовь, и я не поторапливала: уж чего-чего, а времени у меня было навалом.

На моем комодике она заметила фотографию, которую бабушка Линн вставила в золоченую рамку. Это была самая первая мамина фотография: сделанный мною тайный портрет Абигаиль, которая поднялась чуть свет и еще не успела подкрасить губы. Сюзи Сэлмон, начинающий фотоохотник, удачно поймала момент: женщина смотрит вдаль поверх туманной пригородной лужайки.

Она для виду зашла в ванную, с шумом включила воду и сдвинула полотенца. Ей с первого взгляда стало ясно, что эти полотенца, нелепого песочного цвета, да еще с вензелями – очередная нелепость, – могла купить только ее мать. Но в следующее мгновение моя мама уже насмеялась только над собой. Сама-то она в последние годы не оставляла на своем пути ничего, кроме выжженной земли. А мать – допустим, заглядывает в бутылку, зато умеет любить; хоть и с причудами, зато надежная, как скала. Не пора ли оставить в покое не только мертвых, но и живых – начать принимать их такими как есть?

Ни в ванной комнате, ни в теплой воде, ни в сливном отверстии меня не было; я не выглядывала из зеркала, не пряталась, ужавшись до микроскопических размеров, за щетинками зубных щеток Линдси и Бакли.

Сама не знаю по какой причине, но терзавшая меня тревога (воцарится ли в доме согласие? надолго ли воссоединились родители? найдет ли Бакли, кому излить душу? исцелится ли мой папа от своих недугов?) притупилась, а вместе с нею притупилось и желание непременно видеть скорбь моих близких. Впрочем, тревога до сих пор нет-нет да и нахлынет вновь. Как и скорбь. И так будет всегда.

В гостиной Хэл направлял запястье Бакли, а тот сжимал в руке проволочную щеточку для игры на ударных.

– Видишь, тут струна? Легонько махни щеткой, вот так.

Бакли послушно выполнил его указание, а потом устремил взгляд к Линдси, которая устроилась на диване.

– Это круто, Бак, – одобрила моя сестра.

– Как гремучая змея!

Хэлу понравилось такое сравнение.

– Точняк, – подтвердил он, а сам уже прикидывал, не сколотить ли на досуге собственный джаз-банд.

Мама спустилась вниз. Войдя в комнату, она встретила взгляд отца. Жестом показала, что она в полном порядке, просто надо привыкнуть к этому воздуху, как в горах.

– Эй, публика! – прокричала из кухни бабушка Линн. – По местам! Сейчас перед вами выступит Сэмюел.

Все засмеялись, но тут же опять замкнулись в себе, хотя желали совсем другого, – и на пороге возникла бабушка Линн в сопровождении Сэмюела. В руках у нее был поднос с бокалами для шампанского. Сэмюел мельком взглянул на Линдси.

– Линн мне поможет, – сказал он, – попросим ее наполнить бокалы.

– В этом деле ей нет равных, – вставила моя мама.

– Абигайль? – окликнула ее бабушка Линд.

– Да?

– Я тоже рада тебя видеть.

– Продолжай, Сэмюел, – сказал папа.

– Хочу сказать, мне очень приятно быть с вами вместе.

Но Хэл знал своего брата.

– Ох, темнишь, артист. А ну-ка, Бак, сбавь ему что-нибудь для храбрости.

На этот раз Хэл не стал его поучать, и Бакли, как умел, пару раз махнул щеточкой по струне.

– Хочу сказать, мне очень приятно, что миссис Сэлмон вернулась домой, и мистер Сэлмон тоже вернулся домой, а я имею честь жениться на их прекрасной дочери.

– Лучше не скажешь! – воскликнул папа.

Моя мама взяла поднос из рук бабушки Линн, и они сообща наполнили бокалы.

Глядя, как мри родные смакуют шампанское, я размышляла о том, что их жизнь ведет отсчет от моей Смерти: до и после, но когда Сэмюел, собравшись с духом, на виду у всех поцеловал Линдси, мне стало ясно, что их судьба круто взмывает вверх и теперь пойдет иными дорогами.

На месте пустоты, возникшей с моей гибелью, постепенно вырастали и соединялись милые косточки: одни хрупкие, другие – оплаченные немалыми жертвами, но большей частью дорогие сердцу. И я увидела вещи в ином свете: мне открылся мир, где нет меня. Обстоятельства, причиной которых стала моя смерть, – те самые косточки – обещали когда-нибудь обрасти плотью, стать единым телом. Ценой этому волшебному телу была моя жизнь.

Мой отец смотрел на стоявшую перед ним дочь. Вторая дочь, девочка-тень, исчезла.

Бакли заставил Хэла дать слово, что после обеда они начнут осваивать барабанную дробь, и все семеро потянулись через кухню в столовую, где Сэмюел и бабушка Линн уже расставили лучшие тарелки, чтобы подать бабушкины «фирменные деликатесы», наспех приготовленные из замороженных полуфабрикатов: спагетти и творожный торт.

– Кто-то под дверью ошивается, – сообщил Хэл, заметив в окне мужскую фигуру. – Зуб даю, это Рэй Сингх!

– Надо его пригласить, – сказала моя мама.

– Если успеем.

Мои папа с бабушкой остались сидеть за столом, а все остальные высыпали в прихожую.

– Рэй! – Хэл распахнул дверь и чудом не угодил ногой в пирог. – погоди!

Рэй обернулся. В машине, не заглушая двигатель, сидела его мать.

– Извини, что помешали. – Рэй обращался к Хэлу, а у того за спиной переминались Линдси, Сэмюел, Бакли и какая-то женщина, в которой Рэй не сразу признал миссис Сэлмон.

– Это Руана? – спросила моя мама. – Пусть непременно зайдет!  
– Прошу вас, не стоит. – Рэй подошел ближе; в голове у него мелькнуло: Видит ли это Сюзи?

Отделившись от остальных, Линдси и Сэмюел шагнули ему навстречу.  
А моя мама уже стояла у машины и, склоняясь к окну, беседовала с Руаной.  
Рэй увидел, что его мать выходит из машины, не сумев отказаться от приглашения.  
– Мы только съедим по кусочку пирога – и все, – на ходу говорила она моей маме.  
– Доктор Сингх, видимо, на работе? – спросила моя мама.  
– Как всегда, – ответила Руана, следя глазами за сыном, который поднялся на крыльцо вместе с Линдси и Сэмюелом. – Приходите как-нибудь ко мне: покурим забористые сигаретки.  
– Ловлю на слове, – сказала мама.  
– Рэй, добро пожаловать, садись к столу, – заговорил мой отец, увидев его на пороге.

Он питал особое чувство к этому пареньку, который был когда-то влюблен в его дочь. Между тем Бакли, пока его не опередили, поспешил плюхнуться в кресло рядом с моим отцом.

Линдси и Сэмюел взяли себе стулья из гостиной и пристроились у комода. Руану посадили между бабушкой Линн и моей мамой, а Хэл гордо восседал во главе стола.

А ведь они даже не узнают, когда я их покину, сообразила я; мало того, им невдомек, сколь зримым бывает мое присутствие. Бакли нередко со мной заговаривал, и я ему отвечала. Хотя, возможно, сама этого не чувствовала. Мое явление могло принимать любые формы, какие только им грезилось.

И тут передо мной вновь возникла она: в полном одиночестве она брела через кукурузное поле, притом что все остальные, кто был мне дорог, собрались вместе у нас в столовой. Она всегда будет меня чувствовать и помнить. В этом я не сомневалась, но уже ничего не могла поделать. В юные годы Рут была одержимой; в зрелые годы стала одержимой навек. Одно дело – случайность, другое – сознательный выбор. Историю моей жизни и смерти она сделала своей историей – любой бы так сказал, решишь она об этом поведать.

Руана и Рэй уже собирались уходить, когда Сэмюел упомянул особняк в неоготическом стиле, который они с Линдси обнаружили в зарослях у тридцатого шоссе.

Потом он стал расписывать его в подробностях, обращаясь к Абигайль, и даже признался, что именно в этом доме, где он сделал предложение Линдси, они намерены поселиться. Вдруг Рэй спросил:

– Не тот ли это особняк, где в дальней комнате прожжен потолок, а над входом обалденные окна?

– Тот самый, – подтвердил Сэмюел; тут мой отец встревожился. – Ничего страшного, мистер Сэлмон, его можно привести в порядок. Ручаюсь.

– Этот дом купил отец Рут, – сообщил Рэй.

Все на миг умолкли, а Рэй продолжал:

– Он взял кредит на покупку старых домов, которые не попадают под снос. Собирается их восстанавливать, – сказал Рэй.

– Ну и дела, – вырвалось у Сэмюела. И я растворилась.

## КОСТОЧКИ

Когда мертвые собираются вас покинуть, вы этого не замечаете. Ничего удивительного. В лучшем случае до вас доносится какой-то шепот, а может быть, угасающая волна шепотов. Я бы сравнила это вот с чем: на лекции – в аудитории или в зале – присутствует некая женщина, которая затаилась в последнем ряду. На нее никто не обращает внимания, и вдруг она решает выскользнуть за дверь. Но даже в этом случае ее замечает только тот, кто и сам сидит у выхода, как бабушка Линн; а остальные только улавливают дуновение ветерка в закрытом помещении.

Бабушка Линн умерла через несколько лет, но здесь мы с нею пока не встречались. Могу представить, как она оттягивается у себя в небесной сфере, попивая мятный джулеп с Теннесси Уильямсом и Дином Мартином. Придет желанное время – и наши пути непременно пересекутся.

Скажу честно: я по-прежнему украдкой слежу за своими близкими. Ничего не могу с собой поделать. А они по-прежнему меня вспоминают. И ничего не могут с собой поделать.

Линдси и Сэмюел после свадьбы сидели в пустом доме у тридцатого шоссе и пили шам-

панское. Разросшиеся ветви старых деревьев проникли в разбитое окно и образовали зеленый навес, который доживал последние деньки. Отец Рут согласился уступить особняк, но только при том условии, что Сэмюел, в качестве реставратора, отработает его стоимость. К концу лета мистер Коннорс, заручившись помощью Сэмюела и Бакли, расчистил участок и пригнал туда трейлер: днем там был его офис, а вечерами – читальня Линдси.

Поначалу они терпели неудобства из-за отсутствия водопровода и электричества. Мыться ездили к родителям – то к одним, то к другим. Однако Линдси с головой погрузилась в занятия, а Сэмюел с головой погрузился в поиски дверных ручек и выключателей, соответствующих стилю эпохи. Все поразились, когда Линдси при такой жизни забеременела.

– То-то я смотрю, тебя разнесло, – посмеивался Бакли.

– Кто бы говорил! – фыркала Линдси.

Мой отец мечтал, как вернется к старому увлечению – к парусникам в бутылках, и передаст этот интерес малышу. Он предвкушал радость и горечь этого занятия, которое всегда будет эхом напоминать обо мне.

Должна сказать, здесь красиво и безопасно – со временем вы и сами в этом убедитесь. Но небеса – это не просто защищенность и, уж конечно, не пустыня. Мы доставляем себе много радостей.

От наших дел живые преисполняются изумления и благодарности. Например, в какой-то год все посадки у Бакли в саду буйно пошли в рост. Эти непроходимые джунгли расцвели в один день. Я сделала это ради мамы: она часто смотрела в сад. Можно только поражаться, как после ее возвращения оживились и цветы, и травы, и сорняки. А сама она не уставала поражаться прихотям судьбы.

Мою одежду, как и бабушкину, отнесли на благотворительную распродажу.

Родители делились друг с другом мыслями обо мне. Быть вместе, думать и говорить о тех, кого нет, – это естественным образом вошло в их жизнь. А мой брат Бакли стучал на ударных – я и это слушала.

Рэй стал доктором Сингхом. «Наконец-то в семье появился настоящий доктор», – повторяла Руана.

Кстати, в его жизни возникало все больше ситуаций, от которых он перестал отмахиваться. Работая бок о бок с видными хирургами и теоретиками, чьи имена не сходили со страниц научных журналов, он все же стоял на особых позициях, утверждая, что незнакомцы-предвестники, которые иногда являются умирающим, не имеют отношения к микроинсультам; вспоминал, как называл Рут моим именем и, более того, занимался со мной любовью.

В минуты сомнений он звонил Рут. Все той же Рут, которая, не покидая Нижнего Ист-Сайда, переехала из своего чулана в другую живопырку. Все той же Рут, которая по-прежнему пыталась заносить в дневник, кого увидела и что при этом ощутила. Все той же Рут, которая жаждала, чтобы ей поверили: мертвые могут с нами говорить, среди живых мелькают духи – движутся, объединяются и смеются с нами. Они-то и составляют воздух, которым мы дышим.

Пространство моего нынешнего обитания я называю «широкие небеса»: здесь умещаются все мои простые желания, от самых скромных до самых возвышенных. Мой дед предпочитает называть это словом комфорт.

Здесь умещается немерено пирожных, подушек и ярких красок, а под этой мозаикой есть закутки, похожие на укромную комнату: идешь туда – и берешь кого-то за руку, и можешь ничего не говорить. Ничего не выдумывать. Ничего не требовать. Просто жить себе, пока это в радость. На широких небесах каждый гвоздик – с плоской шляпкой, каждый лист – с мягким молодым пушком, катальные горки такие, что дух захватывает: сначала летишь в пропасть, потом зависаешь, и наконец уносишься на мраморной доске в такие дали, о которых и не мечталось в твоей узкой небесной сфере.

Однажды мы разглядывали Землю вместе с дедом. Начали со штата Мэн, где птицы порхают с одной сосны на другую, выбирая самые высокие макушки и радуясь своим птичьим радостям: опуститься-взлететь, опуститься-взлететь. Потом мы дошли до Манчестера и посетили закусочную, которая запомнилась моему деду еще с той поры, когда он, часто бывая в разъездах, исколесил все Восточное побережье. За прошедшие полвека закусочная приобрела весьма сомнительный вид, и мы, оценив обстановку, сочли за лучшее убраться. Но стоило мне напоследок оглянуться, как я увидела его – мистера Гарви, который вылезал из скоростного автобуса.

Войдя в закусочную, он сразу направился к стойке и заказал кофе. На первый взгляд, в его внешности не было ничего примечательного, разве что воспаленные веки, но он перестал носить контактные линзы, а вглядываться сквозь толстые стекла очков никто не собирался.

Потрепанная жизнью буфетчица протянула ему обжигающий кофе в пластмассовой чашке; в это время у него за спиной, над входом, звякнул колокольчик, и в помещение ворвался колючий ветер.

На пороге появилась девчонка лет пятнадцати, которая ехала с ним в автобусе: сидя через несколько рядов от него, слушала плеер и мурлыкала знакомые мелодии. Мистер Гарви выждал у стойки, пока она сходит в туалет, а потом двинулся за ней к выходу.

Увязая в грязном снегу, он спешил к зданию автовокзала, где она собиралась укрыться под козырьком и сделать пару затяжек. Там он к ней и подрулил. Но она даже бровью не повела. Старый хрыч, маромой какой-то – а туда же. Но у него уже все было просчитано. Снег, холод. Кромка оврага. По другую сторону – непролазная чащоба. Он заговорил:

– Скорей бы доехать.

– Угу, – буркнула она.

– Одна путешествуешь?

Тут я заметила нечто – прямо у них над головами. Длинный частокол сосулек.

Девчонка загасила сигарету о каблук.

– Козел, – процедила она и побежала к автобусу. "В это мгновение с козырька упала сосулька. Холодная тяжесть ударила его по голове, он не удержался на ногах и сорвался с кромки оврага. Прошла не одна неделя, прежде чем снег подтаял, частично обнажив его труп.

А теперь хочу рассказать про совершенно необыкновенное создание.

Перед своим домом Линдси разбила сад. Я смотрела, как она пропалывает овальную, густо засаженную цветами клумбу. Пальцы в больших резиновых перчатках подрагивали, когда она перебирала в уме всех посетителей приходивших в течение дня к ней на прием: в ее обязанности входило обучать их игре в карты, которые сдала им жизнь, а также облегчать душевные муки. Мне вспомнилось, что в ее умной голове часто не находилось места для самых простых вещей. Она не сразу вспомнила, что во время нудных садовых работ я всегда вызывалась подстригать траву с внутренней стороны забора, чтобы удобнее было играть с Холидеем. Тут Линдси стала вспоминать Холидея, а я проследила за течением ее мыслей. Через несколько лет, когда они обживутся в доме и поставят забор, придет пора взять собаку – ребенок-то уже подрастет. Потом она припомнила, что теперь есть такие сборные ограждения, которые позволяют в считанные минуты точно подогнать планку к планке, не то что раньше, когда приходилось возиться с этим до одурения. Сэмюел, выйдя из дому, направился к ней. А на руках у него посапывала моя любимица, появившаяся на свет через десять лет после тех четырнадцати, что я провела на Земле: Абигаиль – Сюзанна. Для меня – малышка Сюзи. Сэмюел усадил ее на одеяло, поближе к цветам. И Линдси, моя сестренка, оставила меня в воспоминаниях, где мне и надлежало быть.

В пяти милях оттуда стоял небольшой домишко; хозяин вошел с улицы, протягивая жене тронутую ржавчиной цепочку с подвесками.

– Глянь-ка, что я нашел в промзоне, – сказал он. – Работяги говорят, там все бульдозерами перепахано.

Бояться, как бы не пропустить старую штольню, как та, куда машины провалились.

Жена налила воды из-под крана, а он все теребил в пальцах крошечный велосипедик и балетную туфельку, корзинку с цветами и наперсток. Когда она поставила банку на стол, он протянул ей на ладони коротенькую цепочку.

– Девочка-то, поди, совсем взрослая стала, – сказала жена.

Почти.

Да не совсем.

Желаю вам жить долго и счастливо.

## БЛАГОДАРНОСТИ

Хочу выразить признательность своим неравнодушным первым читателям: это Джудит Гроссмен, Уилтон Барнхардт, Джеффри Вулфф, Марго Лайвси, Фил Хэй и Мишель Латьоле. А

также участникам творческой мастерской Калифорнийского университета, город Ирвин.

Тем, кто опоздал к началу банкета, но принес самые потрясающие деликатесы: это Тил Минтон, Джой Йоханессен и Карен Джой Фаулер.

Профессионалам: Генри Даноу, Дженифер Карлсон, Биллу Контарди, Урсуле Дойл, Майклу Питчу, Асе Мачник, Райану Харбиджу, Лоре Квинн и Хезер Фейн.

Неизменная благодарность – Саре Бернс, Саре Крайтон и великолепному сообществу Макдауэлла.

Особые знаки отличия – моим сведущим информаторам: Ди Уильямс, Оррену Перлмену, д-ру Карлу Брайтону, а также команде консультантов – Баду и Джейн.

И моей верной троице, которая меня дружески поддерживала, придирчиво читала и перечитывала, тем самым давая мне силы, не хуже тапиоки и кофе, изо дня в день продолжать работу: Эйми Бендер, Лэтрин Черкович и Глену Дэвиду Голду.

А Лилии – «гав!»